

А.С. Пушкин

А.С.
Пушкин

4

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Т А.С.
рин

ТОМ 4

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1965

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Вл. Россельса.

Иллюстрации
художника С. Г. Бродского.

Золотая цень

РОМАН

I

«Дул ветер...», — написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвөг блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике «Эспаньолы». Это суденышко едва поднимало шесть тонн, на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы.

Все судно пропахло ужасом, и, лежа один в кубрике с окном, заткнутым тряпкой, при свете скраденной у шкипера Гро свечи, я занимался рассматриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практическим чтецом, а переплет я нашел.

На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами:

«Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки».

Ниже стояло:

«Дик Фармерон. Люблю тебя, Грета. Твой Д.».

На правой стороне человек, носивший имя Лазарь Норман, расписался двадцать четыре раза с хвостиками

и всеобъемлющими росчерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание Нормана и в самом низу оставил загадочные слова: «Что знаем мы о себе?»

Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит пчела — Грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с «Мелузины», напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов: «Я все знаю». Они высмеяли меня за то, что я читал книги, — прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.

Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки розовела вспухшая кожа. Я думал, так ли уж глупы эти слова «Я все знаю»; затем развеселился и стал хохотать — понял, что глупы. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в отверстие.

Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий как щелчки дождь бил в лицо. В мраке суежилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла «Мелузина»; там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о сказочной роскоши, подземных ходах и многом подобном. Я различал голоса Патрика и Моольса, двух рыжих свирепых чучел.

Моольс сказал:

— Он нашел клад.

— Нет, — возразил Патрик. — Он жил в комнате, где был потайной ящик; в ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта.

— А я слышал, — заговорил ленивый, укравший у меня складной нож Каррель-Гусиная шея, — что он каждый день выигрывал в карты по миллиону!

— А я думаю, что продал он душу дьяволу, — заявил Болинас, повар, — иначе так сразу не построил дворцов.

— Не спросить ли у «Головы с дыркой»? — осведомился Патрик (это было прозвище, которое они дали мне), — у Санди Пруэля, который все знает?

Гнусный — о, какой гнусный! — смех был ответом Патрику. Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков

в гавани. Он производил крепкое действие — в горле как будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, пуская дым через ноздри.

Мне следовало быть на палубе: второй матрос «Эспаньолы» ушел к любовнице, а шкипер и его брат сидели в трактире, — но было холодно и мерзко вверху. Наш кубрик был простой дощатой норой с двумя настилами из голых досок и сельдяной бочкой-столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только что слышанный разговор. Он встревожил меня, — как будете встревожены вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар-птица или расцвел розами старый пенёк.

Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках, с бледным, ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, окованным золотыми скрепами.

«Почему ему так повезло, — думал я, — почему?»

Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к шкиперу, — с 17 октября, когда я поступил на «Эспаньолу» — по 17 ноября, то есть по вчерашний день. Я сам записал на ней все вычеты из моего жалованья. Здесь были упомянуты: разбитая чашка с голубой надписью «Дорогому мужу от верной жены»; утопленное дубовое ведро, которое я же сам по требованию шкипера украл на палубе «Западного Зерна»; украденный кем-то у меня желтый резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук шкипера и разбитое — все мной — стекло каюты. Шкипер точно сообщал каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку.

Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалованье. Мне не приходилось ничего получить. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого времени упорно решал вопрос — «кто я — мальчик или мужчина?» Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове «мужчина» — мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, — она сказала: «Ну-ка, посторонись, мальчик», — то почему я думаю о всем большом: книгах, напимер, и о должности капитана, семье, ребя-

тишках, о том, как надо басом говорить: «Эй вы, мясо акулы!» Если же я мужчина,— что более всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: «Дай-ка прикурить, дядя!»— то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?

Мне было тяжело, холодно, неудобно. Выл ветер.— «Вой!»— говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь.— «Лей!»— говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно,— не только мой счет с шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь и умру, мое неприкайное тело...

II

Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху; но то не были голоса наших. Палуба «Эспаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было опуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно»,— ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине.— «Ну, кто там?!»— громче сказал первый,— в кубрике свет; эй, молодцы!»

Тогда я вылез и увидел — скорее различил во тьме — двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядываясь, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал:

— Мальчик, где шкипер?

Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал — густо, окладисто, с хрипотой,— что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя ад!»— или: «Пусть перелопачуются в моем мозгу все тросы, если я что-нибудь понимаю!»

Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные.

— В таком случае,— заявил спутник высокого человека,— не спуститься ли в кубрик? Эй, юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро.

Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на

один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса и слышен крик — песня — шепот: «Тайна — очарование! Тайна — очарование!» «Неужели н а ч а л о с ь?» — спрашивал я себя; мои колени дрожали.

Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей — они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, — и сидели согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок-палубу.

«Вот это люди!» — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились — каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, — увыл — имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбочивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах; у высоких сапогов с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги.

— Поговорим, молодой друг! — сказал старший. — Как ты можешь заметить, мы не мошенники.

— Клянусь громом! — ответил я. — Что ж, поговорим, черт побери!..

Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безмерную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду.

— Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись потому, что немного выпили. — И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза.

Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение «Эспаньолы», я хорошенько не понял, — так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного, неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на

поезд. Опоздав на поезд, опоздали благодаря этому на пароход «Стим», единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими; «Стим» уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем неотложное дело требует их на мыс Гардена или, как мы называли его, «Троячка» — по образу трех скал, стоящих в воде у берега.

— Сухопутная дорога, — сказал старший, которого звали Дюрок, — отнимает два дня, ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше... и ты повезешь нас на мыс Гардена, если хочешь заработать, — сколько ты хочешь получить, Санди?

— Так вам надо поговорить со шкипером, — сказал я и вызвался сходить в трактир, но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону.

— Вот твой заработок сегодняшней ночи, — сказал он, — здесь тридцать пять золотых. Я и мой друг Эстамп знаем руль и паруса и весь берег внутри залива, ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковый билет. Тогда вместо одной галоши у него будут две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой «спрыснуть» отплытие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула — стать к рулю. Вообще, будет так ловко с ним, как, надев на ноги мешок, танцевать.

— Разве вы его знаете? — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами.

— О нет! — сказал Эстамп. — Но мы... гм... слышали о нем. Итак, Санди, плывем.

— Плывем... О рай земной! — Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренно и со всем согласясь, так как все было

правда и Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут.

— В таком случае... Вы, конечно, знаете... Вы не поведете меня,— пробормотал я.

Все переменялось: дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в скиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса,— два косых паруса с подъемной реей, снял швартовы, поставил кливер и, когда Дюрок повернул руль, «Эспаньола» отошла от набережной, причем никто этого не заметил.

Мы вышли из гавани на крепком ветре, с хорошей килевой качкой, и как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг, верно, полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место, или нет? Не пойму».

— Верно, то,— должен сказать, брат,— это то самое место и есть,— вот тумба, а вот свороченная плита; рядом стоит «Мелузина»... да и вообще...

Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться.

Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задвывая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки, одна нога отставлена далеко, другая — под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня; в этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть в своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части (затем запирал), и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы.

— Клянусь брамселем,— сказал я,— славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?

— Что ж, это дело!— сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто.— Эстамп, не принести ли вам стакан водки?

— Отлично, дайте,— донесся ответ.— Я думаю, не опоздаем ли мы?

— А я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой,— крикнул, полуобернувшись, Дюрок.— Миновали ли мы Флиренский маяк?

— Маяк виден справа, проходим под бейдевинд.

Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал:

— Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус.

— В моей семье не было трусов,— сказал я с скромной гордостью. На самом деле, никакой семьи у меня не было.— Море и ветер— вот что люблю я!

Казалось, мой ответ удивил его, он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь.

— Ты, Санди, или большой плут, или странный характер,— сказал он, подавая мне папиросу,— знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?

— Вы должны любить,— ответил я.

— Почему?

— У вас такой вид.

— Никогда не суди по наружности,— сказал, улыбаясь, Дюрок.— Но оставим это. Знаешь ли ты, пылакая голова, куда мы плывем?

Я как мог взросло покачал головой и ногой.

— У мыса Гардена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем сто шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданныхностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время.

Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи.

— Ну, это как сказать,— ответил Дюрок рассеянно.— Боюсь, что нам будет не до тебя.— Он повернулся к окну и крикнул:— Иду вас сменить!

Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел

Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая заколеченные руки, сказал:

— Третья смена будет твоя. Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?

В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты!

— Что я сделаю?—переспросил я.—Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом.

— Вот как?!—сказал Эстамп.—А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей душеньке.

Я прсбормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька—вырезанная из журнала женская голова, страшно пленившая меня,—лежит на дне моего сундучка.

Эстамп выпил, стал рассеяннo и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит «Эспаньола», сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает и грязенькая, тесная, как курятник, каюта ему противна. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности, «Томми»,—и я басом поправил его, сказав:

— Санди, Санди мое имя, клянусь Лукрецией!

Я вычитал, не помню где, это слово, непогрешимо веря, что оно означает неизвестный остров. Захочет, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал: «Каково! Ее зовут Лукрецией, ах ты, волокита! Дюрок, слышите?—закричал он в окно.—Подругу Санди зовут Лукреция!»

Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый, поверхностный человек отважен и добр,—но в этот момент я ненавидел его наглые усики.

— Не дразните мальчика, Эстамп,—ответил Дюрок.

Новое унижение!—от человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего

я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню.

В это время Дюрок прокричал: «Поворот!» Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать»,— сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил: «Есть так держать!»

Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни; о том, что «надо точно узнать». Я должен был крепко держать румпель и стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало «Эспаньолу», как качель, поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы «Эспаньолу» бегом, держа веревку в зубах.

Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом.

— Ну что,— сказал он, хлопая меня по плечу,— вот мы подплываем. Смотри!

Слева, в тьме, стояла золотая сеть далеких огней.

— Так это и есть тот дом?— спросил я.

— Да. Ты никогда не бывал здесь?

— Нет.

— Ну, тебе есть что посмотреть.

Около получаса мы провели, обходя камни «Троячки». За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и, когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной, огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты.

Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет,— вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел

широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил роши.

Тем временем «Эспаньола» ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон; напротив,—резко, болезненно-весело и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу.

— Что Ганувер?—спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего.—Вы нас узнали? Надеюсь. Идите, Эстамп. Иди с нами и ты, Санди, ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устройте его всесторонне, затем вам предстоит путешествие.—И он объяснил, куда отвести судно.— Пока прощай, Санди! Вы готовы, Эстамп? Ну, тронемся и дай бог, чтобы все было благополучно.

Сказав так, он соединился с Эстампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня.

III

Из его рта, ворочавшего, как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий, приятный голосок, подобный струйке воды:

— Ты капитан, что ли? — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть.— У, какой синий! Замерз?

— Черт побери!—сказал я.— И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?

— Это какую же такую историю?

Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца.

— Какую же это такую историю? Пойдем-ка, поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя.

С этим его рот захлопнулся—словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним.

От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блеснул свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и, когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх; еще ступени — мы прошли дальше — указывали поворот влево, я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве, со всех сторон и над головой ярко озаренном большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем; три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где, казалось, некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит; пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды; здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь.

— Поймай-ка, — сказал Том, — я поговорю тут с одним человеком, — и отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю, — меня толкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом, и уже несколько человек крикнули ворчливо-поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девчонка, спеша, растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибой миндаля подлетел к моим ногам; в то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара — в другую и пробороzdили миндаль рыбьим хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока наконец в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том.

— Пойдем-ка,— сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко; мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов.

— Я думаю, нам не помешают,— сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три.— Ну-ка выпей, а там принесут, что тебе надо,— и Том передал мне бутылку.

Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное,— так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой; вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом, в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома:

— Ему, что ли?

Том не удостоил его ответом, а взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался.

— Ты в лохмотьях,— говорил он,— вот мы тебя нарядим. Хорошенький ты сделал рейс,— прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе.— Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь.

Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут, как из глины, лепить, что им вздумается. Оба мои пестуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову в бок, трудится над чем-то очень внимательно.

Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем.

— Ты все знаешь? — пробормотал он, озадаченный, и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо.— Санди! — кричал он, тряся злополучную мою руку.— А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем? Вот ловко! Джон, взгляни сюда, тут ведь написано бесстыднейшим образом: «Я все знаю»!

Я стоял, прижимая к груди рубашку, полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пестунов моих привлекали

кучу народа и давно уже шли взаимные, горячие объяснения — «в чем дело», — а я только поворачивался, взглядом разя насмешников: человек десять набилось в комнату. Стоял гам: «Вот этот! Все знает! Покажите-ка ваш диплом, молодой человек». — «Как варят соус тортю?» — «Эй, эй, что у меня в руке?» — «Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона?» — «Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты!» — Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом, положила меня на обе лопатки, пропищав: — «Папочка, не знаешь ты, сколько трижды три?»

Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, немного надо, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся — горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхолический и прекрасный одетый.

— Кто бросил деньги? — сухо спросил он.

Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история.

— В самом деле, есть у него на руке эти слова, — сказал Том, — покажи руку, Санди, что там, ведь с тобой просто шутили.

Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после.

— Соберите ему деньги, — сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. — Это вы написали сами?

— Я был бы последний дурак, — сказал я. — Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня.

— Так... а все-таки — может быть, хорошо все знать. — Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были, хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой
ной пене.

— Когда вы поужинаете,— сказал Поп,— пусть Том придет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек,— прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.

— При случае в грязь лицом не ударю,— сказал я, упрятывая свое богатство.

Поп посмотрел на меня, я — на него. Что-то мелькнуло в его глазах,— искра неизвестных соображений. «Это хорошо, да...» — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились; тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли,— я не понимал, хотя съел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю,— и что мне предстоит дальше?! Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что «если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую».

Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувство сопротивления и вопрос: «А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо, готовых подхватить «вилку», выйду и вернусь на «Эспаньола», где на всю жизнь случай этот так и останется «случаем», о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно «могшего быть» и «неразъясненного сущего». Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску и, действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии.

Однако ничего подобного пока мне не предстояло,— напротив, случай, или как там ни называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной,— а, как я сказал, помещение было без двери,— ее заменял сводчатый широкий проход,— несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор, непонятный, но интересный,—вернее, ~~случайно~~ понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие:

— Ну что, опять, говорят, свалился?!

— Было дело, попили. Спят его, как пить дать, или сам сопьется.

— Да уж спился.

— Ему пить нельзя, а все пьют, такая компания.

— А эта шельма Дигэ чего смотрит?

— А ей-то что?!

— Ну, как что! Говорят, они в большой дружбе или просто амур, а может быть, он на ней женится.

— Я слышал, как она говорит: «Сердце у вас здоровое; вы, говорит, очень здоровый человек, не то, что я».

— Значит — пей, значит, можно пить, а всем известно, что доктор сказал: «Вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком».

— Сердце с пороком, а завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?

— Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях.

— А что? Видел ты что-нибудь?

— Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрыты, но пройдешь все этажи, — нигде ничего нет.

— Да, поэтому это есть секрет.

— А зачем секрет?

— Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.

— Стану ли я еще тебя спрашивать?!

Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал:

— Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит. А видел — и он клянется — Кваль; Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая ухвертка, и лицо покрыла платком.

Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил:

— Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли, старику, заводить шашни. Кваль любит выдумывать.

Тут они вышли и подошли ко мне,— спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа, сказал:

— Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу.

Паркер был лакей,— я видел такую одежду, как у него, на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытым жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел вверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его и спросил. Он ответил:

— Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость.

Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь.

— Нет,— сказал он,— но я не в духе и буду **придираться** ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше **молчать** и не отставать от меня.

Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением.

Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченная линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взявшись по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино,— среди пересечения линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронuto чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии, в соединении с цветом и светом, могут улыбаться, останавливать, задержать вздох, изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов.

Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени

китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу лент и цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал:

— Санди, которого вы желали видеть, — вот он, — затем исчез. Я обернулся — его не было.

— Подойдите-ка сюда, Санди, — устало сказал кто-то. Я огляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом; они стояли, куря, подле камина и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет двадцати восьми, с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял Поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красива, и оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, то бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, — немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени.

— Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями? — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. — Они, как приехали на твоём корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер; садись, Санди, ко мне поближе.

Он указал кресло, в которое я и сел, — не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но наконец укрепился.

— Итак, — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — ты любишь «море и ветер»!

Я молчал.

— Не правда ли, Дигэ, какая сила в этих простых словах?! — сказал Ганувер молодой даме. — Они встречаются, как две волны.

Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один — нервный человек с черными баками, в

пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его белое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, брит и в очках.

— Волны и эскадрильи! — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня, роко-чущим басом. — Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны; цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!

Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные, только Дюрок остался, — с несколько мрачным лицом, — безучастным к этой шутке и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мною и Ганувером.

— Что ж, — сказал он, кладя мне на плечо руку, — Санди служит своему призванию, как может. Мы еще поплывем, а?

— Далеко поплывем, — сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник.

Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне, — легонько подсмеиваясь или серьезно — я не разобрал. Лишь некоторые слова, вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль», запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Эстампом.

Эстамп обратился ко мне, сказав:

— А помнишь, как ты меня напоил?

— Разве вы напивались?

— Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку. Признавайся, — «огненная вода», «клянусь Лукрецией», — вскричал он, — честное слово, он поклялся Лукрецией! К тому же, он «все знает» — честное слово!

Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился; я подметил каверзную улыбку Попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло.

Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет

со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется,—тем хуже для них: опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя, как часть некой истории, концы которой запряганы. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отпартовал:

— Если я что-нибудь «знаю», так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное,—здесь я разорвал Попа глазами на мелкие куски, как бумажку,—я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому.

Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.

— Он мне нравится,—сказал Ганувер,—однако не надо ссориться, Санди.

— Посмотри на меня,—сурово сказал Дюрк; я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю.—С тобой шутили и ничего более. Пойми это!

Я отвернулся, взглянул на Эстампа, затем на Попа. Эстамп, нисколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «Ба!» — и заговорил с неизвестным в очках. Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.

— Экий вы горячий, Санди,—сказал он.—Ну, здесь нет ничего особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра.

За все это время мне, как птице на ветке, был чуть замечен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон выражаемой лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедшей с годами в способность верно угадывать отношение к себе впервые встречаемых людей,—но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрк, Поп и Эстамп отделены от всех, кроме Гануве-

ра, особым, неизвестным мне, настроением и что, с другой стороны,— дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний,— значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, к которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи состояний отдельных людей и групп теперешнее ощущение хранит верно.

Я впал в мрачность от слов Попа; он уже отошел.

— С вами говорит Ганувер,— сказал Дюрок; встав, я подошел к качалке.

Теперь я лучше рассмотрел этого человека, с блестящими, черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, может быть, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками:

— Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу, в библиотеку, там ты будешь разбирать...— он не договорил, что разбирать.— Нравится он вам, Поп? Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну, иди. Не бери себе в поверенные вино, милый ди-Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй; все в порядке.

Я тронулся, Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дигэ:

— Этот молодой человек не в меру строптив.

Я не знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Гануверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатики.

— Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе, эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы.

Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог

бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо-красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо.

IV

Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках — так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но, кроме «туда», «сюда», не говорил ничего. Очутившись в библиотеке — круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле, — мы стали друг к другу лицом и уставились смотреть, — каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык.

— Вы отличились, — сказал он, — похитили судно; славная штука, честное слово!

— Едва ли я рисковал, — ответил я, — мой шкипер, дядюшка Гро, тоже, должно быть, не в накладе. А скажите, почему они так торопились?

— Есть причины! — Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. — Не будем говорить сегодня о библиотеке, — продолжал он, когда я уселся. — Правда, что я за эти дни все запустил, — материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... вы... одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?

— Как же, — сказал я, радуясь, что могу, наконец, удивить этого изысканного юношу. — Я читал много книг. Возьмем, например, «Роб-Роя» или «Ужас таинственных гор»; потом «Всадник без головы»...

— Простите, — перебил он, — я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу, или, лучше, — послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату.

— Но где же я и что это за дом?

— Не бойтесь, вы в хороших руках,— сказал Поп.— Имя хозяина Эверест Ганувер, я — его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом.

— Может ли быть,— вскричал я,— что болтовня на «Мелузине» сушая правда?

Я рассказал Попу о вечернем разговоре матросов.

— Могу вас заверить,— сказал Поп,— что относительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменой судьбы.

«Творится невероятное»,— подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери.

— Здесь помещаюсь я,— сказал Поп, указывая одну дверь и, открыв другую, прибавил: — А вот ваша комната. Не робейте, Санди, мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах,— сказал он, видя, что я, смущенный, отстал.— Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги (а я как раз так и думал)? Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо.

Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкапом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за Попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро.

— Я думаю, вы устроитесь,— сказал Поп, оглядывая помещение.— Несклько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра.

— О да,— сказал я, нервно хихикнув.— Пожалуй, что так. И чемодан и все прочее.

— У вас много вещей? — благосклонно спросил он.

— Как же! — ответил я.— Одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти.

— Пять?..— Он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка.— Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить: если вы потянете шнур один раз,— по лифту, устроенному в стене, поднимется завтрак. Два раза — обед, три раза — ужин; чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном.— Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку: — Алло! Что? Ого, да, здесь новый жилец.— Поп обернулся ко мне.— Что вы желаете?

— Пока ничего,— сказал я с стесненным дыханием.— Как же едят в стене?

— Боже мой! — Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12.— Я должен идти. В стене не едят, конечно, но... но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно, как для вас, так и для слуг... Решительно ужоу, Санди. Итак, вы — на месте, и я спокоен. До завтра.

Поп быстро вышел; еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги.

V

Итак, я остался один.

Было от чего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул; перевел дыхание. Потикивание часов вело многозначительный разговор с тишиной.

Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история».

Обдумать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва появлялась связанная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. Черт побери! — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жажда вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: — Кресло, диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало.— Я заглянул в зеркало. Там металось подобие чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением моей душе. Но было тихо.

Я еще не переживал такой тишины — отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, — тридцать пять золотых монет, — но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затей, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне интересными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения.

Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкапов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавший: «Никого нет», — и голос мужчины, подтвердивший это угромым мычанием. Я испугался — метнулся, прижавшись к стене между двух шкапов, где еще не был виден, но, если бы вошедшие сделали пять шагов в эту сторону, — новый помощник библиотекаря, Санди Пруэль, явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкапе, очень большом, с глухой дверью без стекол была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкапа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хотя стать за ее прикрытием, если шкап окажется полон. Шкап должен был быть полон, — в этом я давал себе судорожный отчет, и, однако, он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкап моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было

ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрожа, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей.

Женщина была Дигэ,— с другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать, по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина — догадаться не составляло особого труда: мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэй и Дигэ.

— Я хочу взять книгу,— сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.

— Но здесь, действительно, нет никого,— проговорил Галуэй.

— Да. Так вот,— она, словно продолжала оборванный разговор,— это непременно случится.

— Ого!

— Да. В бледных тонах. В виде паутинных душевных прикосновений. Негреющее осеннее солнце.

— Если это не самомнение.

— Я ошибаюсь?! Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него.

— Так. Дальше! — сказал Галуэй.— А обещание?

— Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томсону.— Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня.— Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу... на всякий случай... Прелестное издание,— продолжала Дигэ тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон: — Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят... эти... эти.

— Кажется, старые друзья; кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде,— сказал Галуэй.— Что могут они сделать, во всяком случае?!

— Ничего, но это сбивает.

Далее я не расслышал.

— Заметь. Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?

— Идиот!

— Я задал неделовой вопрос, только и всего.

— Если хочешь знать. Даже скажу больше,— не будь я так хорошо вышколена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб,— страстишка. Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втюритесь совершенно невыгодно.

— В таком случае,— заметил Галуэй,— я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томсону?

— То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка «Вас-ис-дас». Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.

— Он влопается.

— Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего,— по своей линии.

— Идем. Что ты взяла?

— Я поищу, нет ли... Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги.

— Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя.

Дигэ перешла часть пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылушил из непонятого все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода — куда! — хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии, с смелой надеждой, что пространство расширится,— безрезультатно. Наконец, я повернул ее влево. И произошло,— ну, не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? — произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкапа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я

скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал, коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

VI

Такое сожжение кораблей немедленно отзывалось в сердце и уме,— сердце перевернулось, и я увидел, что поступил опрометчиво. Пробовать снова открыть стену библиотеки не было никаких оснований,— перед глазами моими был тупик, выложенный квадратным камнем, который не понимал, что такое «Сезам», и не имел пунктов, вызывающих желание нажать их. Я сам захлопнул себя. Но к этому огорчению примешивался возвышенный полустрах (вторую половину назовем ликование)— быть одному в таинственных запретных местах. Если я чего опасался, то единственно—большого труда выбраться из тайного к явному; обнаружение меня здесь хозяевами этого дома я немедленно смягчил бы рассказом о подслушанном разговоре и вытекающем отсюда желании скрыться. Даже не очень сметливый человек, услышав такой разговор, должен был насторожиться подозрительно. Эти люди, ради целей,— откуда мне знать — каких? — беседовали секретно, посмеиваясь. Надо сказать, что заговоры вообще я считал самым нормальным явлением и был бы очень неприятно задет отсутствием их в таком месте, где обо всем надо догадываться; я испытывал огромное удовольствие,— более,— глубокое интимное наслаждение, но оно, благодаря крайне напряженному сцеплению обстоятельств, втянувших меня сюда, давало себя знать, кроме быстрого вращения мыслей, еще дрожью рук и колен; даже когда я открывал, а потом закрывал рот, зубы мои лязгали, как медные деньги. Немного постояв, я осмотрел еще раз этот тупик, пытаюсь установить, где и как отделяется часть стены, но не заметил никакой щели. Я приложил ухо, не слыша ничего, кроме трений о камень самого уха, и, конечно, не постукал. Я не знал, что происходит в библиотеке. Быть может, я ждал недолго, может быть,

прошло лишь пять, десять минут, но, как это бывает в таких случаях, чувства мои опередили время, насчитывая такой срок, от которого нетерпеливой душе естественно переходить к действию. Всегда, при всех обстоятельствах, как бы согласно я ни действовал с кем-нибудь, я оставлял кое-что для себя и теперь тоже подумал, что надо воспользоваться свободой в собственном интересе, вдосталь насладиться исследованиями. Как только искушение завиляло хвостом, уже не было для меня удержу стремиться всем существом к сногшибательному соблазну. Издавна страстью моей было бродить в неизвестных местах, и я думаю, что судьба многих воров обязана тюремной решеткой вот этому самому чувству, которому все равно, — чердак или пустырь, дикие острова или неизвестная чужая квартира. Как бы там ни было, страсть проснулась, заиграла, и я решительно поспешил прочь.

Коридор был в ширину с полметра да еще, пожалуй, и дюйма четыре сверх того; в высоту же достигал четырех метров; таким образом, он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в дальний конец которой было так же странно и узко смотреть, как в глубокий колодезь. По разным местам этого коридора, слева и справа, виднелись темные вертикальные черты — двери или сторонние проходы, стынущие в немом свете. Далекий конец звал, и я бросился навстречу скрытым чудодейственным таинствам.

Стены коридора были выложены снизу до половины коричневым кафелем, пол — серым и черным в шашечном порядке, а белый свод, как и остальная часть стен до кафеля, на правильном расстоянии друг от друга блестел выгнутыми круглыми стеклами, прикрывающими электрические лампы. Я прошел до первой вертикальной черты слева, принимая ее за дверь, но вблизи увидел, что это узкая арка, от которой в темный, неведомой глубины низ сходит узкая витая лестница с сквозными чугунными ступенями и медными перилами. Оставив исследование этого места, пока не обегу возможно большего пространства, чтобы иметь сколько-нибудь общий взгляд для обсуждения похождений в дальнейшем, я поторопился достигнуть отдаленного конца коридора, мельком взглядывая на открывающиеся по сторонам ниши, где находил лестницы, подобные первой, с той разницей, что некоторые из них вели вверх. Я не ошибусь, если обозначу все расстояние от конца до конца прохода в 250 футов, и когда я пронесся по всему расстоянию, то,

обернувшись, увидел, что в конце, оставленном мной, ничто не изменилось, следовательно, меня не собирались ловить.

Теперь я находился у пересечения конца прохода другим, совершенно подобным первому, под прямым углом. Как влево, так и вправо открывалась новая однообразная перспектива, все так же неправильно помеченная вертикальными чертами боковых ниш. Здесь мной овладело, так сказать, равновесие намерения, потому что ни в одной из предстоящих сторон или крыльев поперечного прохода не было ничего отличающего их одну от другой, ничего, что могло бы обусловить выбор,— они были во всем и совершенно равны. В таком случае довольно оброненной на полу пуговицы или иного подобного пустяка, чтобы решение «куда идти» выскочило из вязкого равновесия впечатлений. Такой пустяк был бы толчком. Но, посмотрев в одну сторону и обернувшись к противоположной, можно было одинаково легко представить правую сторону левой, левую правой или наоборот. Странно сказать, я стоял неподвижно, озираясь и не подозревая, что некогда осел между двумя стогами сена огорчался, как я. Я словно прирос. Я делал попытки двигаться то в одну, то в другую сторону и неизменно останавливался, начиная решать снова то, что еще никак не было решено. Возможно ли изобразить эту физическую тоску, это странное и тупое раздражение, в котором я отдавал себе отчет даже тогда; колеблясь беспомощно, я чувствовал, как начинает подкрадываться, уже затемняя мысли, страх, что я останусь стоять всегда. Спасение было в том, что я держал левую руку в кармане куртки, вертя пальцами горсть монет. Я взял одну из них и бросил ее налево, с целью вызвать решительное усилие; она покатилась; и я отправился за ней только потому, что надо было ее поднять. Догнав монету, я начал одолевать второй коридор с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел, так расстроясь, что еще слышал сердцебиение.

Однако придя в этот конец, я увидел, что занимаю положение замысловатее прежнего,—ход замыкался в тупик, то есть был ровно обрезан совершенно глухой стеной. Я повернул вспять, рассматривая стенные отверстия, за которыми, как и прежде, можно было различить опускающиеся в тень ступени. Одна из ниш имела не железные, а каменные ступени, числом пять; они вели к глухой, плотно закрытой двери, однако когда я ее толкнул, она подалась, впустив меня

в тьму. Зажегши спичку, увидел я, что стою на нешироком пространстве четырех стен, обведенных узкими лестницами, с меньшими наверху площадками, примыкающими к проходным аркам. Высоко вверх тянулись другие лестницы, соединенные перекрестными мостиками.

Цели и ходы этих сплетений я, разумеется, не мог знать, но имея как раз теперь обильный выбор всяческих направлений, подумал, что хорошо было бы вернуться. Эта мысль стала особенно заманчива, когда спичка потухла. Я истратил вторую, но не забыл при этом высмотреть включатель, который оказался у двери, и повернул его. Таким образом, обеспечив свет, я стал снова смотреть вверх, но здесь, обронив коробку, нагнулся. Что это??! Чудовища сошлись ко мне из породившей их тайны или я головокружительно схожу с ума? Или бред овладел мной?

Я так затрясся, мгновенно похолодев в муке и тоске ужаса, что, бессильный выпрямиться, уперся руками в пол и грохнулся на колени, внутренне визжа, так как не сомневался, что провалюсь вниз. Однако этого не случилось. У моих ног я увидел разбросанные бессмысленные глаза существ с мордами, напоминающими страшные маски. Пол был прозрачен. Воткнувшись под ним вверх к самому стеклу, торчало устремленное на меня множество глаз с зловещей окраской; круг странных контурных вывертов, игл, плавников, жабр, колючек; иные, еще более диковинные, всплывали снизу, как утыканные гвоздями пузыри или ромбы. Их медленный ход, неподвижность, сонное шевеление, среди которого вдруг прорезывало зеленую полутьму некое гибкое, вертлявое тело, отскакивая и кидаясь как мяч,— все их движения были страшны и дики. Цепenea, чувствовал я, что повалюсь и скончаюсь от перерыва дыхания. На счастье мое, взорванная таким образом мысль поспешила соединить указания вещественных отношений, и я сразу понял, что стою на стеклянном потолке гигантского аквариума, достаточно толстом, чтобы выдержать падение моего тела.

Когда смятение улеглось, я, высунув язык рыбам в виде мести за их пучеглазое наваждение, растянулся и стал жадно смотреть. Свет не проникал через всю массу воды; значительная часть ее — нижняя — была затенена внизу, отделяя вверху уступы искусственных гротов и коралловых разветвлений. Над этим пейзажем шевелились медузы и неизвестно что, подобное висячим растениям,

привешенным к потолку. Подо мной всплывали и погружались фантастические формы, светя глазами и блестя заостренными со всех сторон панцирями. Я теперь не боялся; вдоволь насмотревшись, я встал и пробрался к лестнице; шагая через ступеньку, поднялся на ее верхнюю площадку и вошел в новый проход.

Как было светло там, где я шел раньше, так было светло и здесь, но вид прохода существенно отличался от скрещений нижнего коридора. Этот проход, имея мраморный пол из серых с синими узорами плит, был значительно шире, но заметно короче; его совершенно гладкие стены были полны шнуров, тянувшихся по фарфоровым скрепам, как струны, из конца в конец. Потолок шел стрельчатыми розетками; лампы, блестя в центре клинообразных выемок свода, были в оправе красной меди. Ничем не задерживаясь, я достиг загораживающей проход створчатой двери не совсем обычного вида; она была почти квадратных размеров, а половины ее раздвигались, уходя в стены. За ней оказался род внутренности большого шкапа, где можно было стать троим. Эта клетка, выложенная темным орехом, с небольшим зеленым диванчиком, как показалось мне, должна составлять некий ключ к моему дальнейшему поведению, хотя и загадочный, но все же ключ, так как я никогда не встречал диванчиков там, где, видимо, не было в них нужды; но раз он стоял, то стоял, конечно, ради прямой цели своей, то есть, чтоб на него сели. Не трудно было сообразить, что сидеть здесь, в тупике, должно лишь ожидая — кого? или чего? — мне это предстояло узнать. Не менее внушителен был над диванчиком ряд белых костяных кнопок. Исходя опять-таки из вполне разумного соображения, что эти кнопки не могли быть устроены для вредных или вообще опасных действий, так что, нажимая их, я могу ошибиться, но никак не рискую своей головой, — я поднял руку, намереваясь произвести опыт...

Совершенно естественно, что в моменты действия с известным воображение торопится предугадать результат, и я, уже нацелив палец, остановил его тыкающее движение, внезапно подумав: не раздастся ли тревога по всему дому, не загремит ли оглушительный звон? Хлопанье дверей, топот бегущих ног, крики: — «где? кто? эй! сюда!» — представились мне так отчетливо в окружающей меня совершенной тишине, что я сел на диванчик и закурил.

«Н-да-с! — сказал я. — Мы далеко ушли, дядюшка Гро, а ведь как раз в это время вы подняли бы меня с жалкого лежа и, согрев тумакон, приказали бы идти стучать в темное окно трактира «Заверни к нам», чтоб дали бутылку»... Меня восхищало то, что я ничего не понимаю в делах этого дома, в особенности же совершенная неизвестность, как и что произойдет через час, день, минуту, — как в игре. Маятник мыслей моих делал чудовищные размахи, и ему подвергались всяческие картины, вплоть до появления карликов. Я не отказался бы увидеть процессию карликов — седобородых, в колпаках и мантиях, крадущихся вдоль стены с хитрым огнем в глазах. Тут стало мне жутко; решившись, я встал и мужественно нажал кнопку, ожидая, не откроется ли стена сбоку. Немедленно меня качнуло, клетка с диванчиком поехала вправо так быстро, что мгновенно скрылся коридор и начали мелькать простенки, то запирая меня, то открывая иные проходы, мимо которых я стал кружиться безостановочно, ухватясь за диван руками и тупо смотря перед собой на смену препятствий и перспектив.

Все это произошло в том категорическом темпе машины, против которого ничто не в состоянии спорить внутри вас, так как протестовать бессмысленно. Я кружился, описывая замкнутую черту внутри обширной трубы, полной стен и отверстий, правильно сменяющих одно другое, и так быстро, что не решался высочить в какой-нибудь из беспощадно исчезающих коридоров, которые, являсь на момент вровень с клеткой, исчезали, как исчезали, в свою очередь, разделяющие их глухие стены. Вращение было заведено, по-видимому, надолго, так как не уменьшалось и, раз начавшись, пошло гулять, как жернов в ветреный день. Зная способ остановить это катание вокруг самого себя, я немедленно окончил бы наслаждаться сюрпризом, но из девяти кнопок, еще не испробованных мной, каждая представляла шараду. Не знаю, почему представление об остановке связалось у меня с нижней из них, но, решив после того, как начала уже кружиться голова, что невозможно вертеться всю жизнь, — я со злобой прижал эту кнопку, думая, — «будь что будет». Немедленно, не останавливая вращения, клетка поползла вверх, и я был вознесен высоко по винтовой линии, где моя тюрьма остановилась, продолжая вертеться в стене с ровно таким же количеством простенков и коридоров. Тогда я нажал третью

по счету сверху,— и махнул вниз, но, как заметил, выше, чем это было вначале, и так же неумолимо вертелся на этой высоте, пока не стало тошнить. Я всполошился. По-очередно, почти не сознавая, что делаю, я начал нажимать кнопки как попало, носясь вверх и вниз с проворством парового молота, пока не ткнул — конечно, случайно — ту кнопку, которую требовалось задеть прежде всего. Клетка остановилась как вкопанная против коридора на неизвестной высоте, и я вышел, пошатываясь.

Теперь, зная я, как направить обратно вращающийся лифт, я немедленно вернулся бы стучать и ломиться в стену библиотеки, но был не в силах пережить вторично вертящийся плен и направился, куда глаза глядят, надеясь встретить хотя какое-нибудь открытое пространство. К тому времени я очень устал. Ум мой был помрачен: где я ходил, как спускался и поднимался, встречая то боковые, то пересекающие ходы,— не дано теперь моей памяти восстановить в той наглядности, какая была тогда; я помню лишь тесноту, свет, повороты и лестницы, как одну сверкающую запутанную черту. Наконец, набив ноги так, что пятки горели, я сел в густой тени короткого бокового углубления, не имевшего выхода, и уставился в противоположную стену коридора, где светло и пусто переживала эту безумную ночь яркая тишина. Назойливо, до головной боли был напряжен тоскующий слух мой, воображая шаги, шорох, всевозможные звуки, но слышал только свое дыхание.

Вдруг далекие голоса заставили меня вскочить — шло несколько человек, с какой стороны,— разобрать я еще не мог; наконец шум, становясь слышнее, стал раздаваться справа. Я установил, что идут двое, женщина и мужчина. Они говорили немногословно, с большими паузами; слова смутно перелетали под сводом, так что нельзя было понять разговор. Я прижался к стене, спиной в сторону приближения, и скоро увидел Ганувера рядом с Дигэ. Оба они были возбуждены. Не знаю, показалось мне это или действительно было так, но лицо хозяина светилось нервной каленой бледностью, а женщина держалась остро и легко, как нож, поднятый для удара.

Естественно, опасаясь быть обнаруженным, я ждал, что они проследуют мимо, хотя искушение выйти и заявить о себе было сильно,— я надеялся остаться снова один, на свой риск и страх и, как мог глубже, ушел в тень. Но,

пройдя тупик, где я скрывался, Дигэ и Ганувер остановились — остановились так близко, что, высунув из-за угла голову, я мог видеть их почти против себя.

Здесь разыгралась картина, которой я никогда не забуду.

Говорил Ганувер.

Он стоял, упираясь пальцами левой руки в стену и смотря прямо перед собой, изредка взглядывая на женщину совершенно большими глазами. Правую руку он держал приподнято, поводя ею в такт слов. Дигэ, меньше его ростом, слушала, слегка отвернув наклоненную голову с печальным выражением лица, и была очень хороша теперь, — лучше, чем я видел ее в первый раз; было в ее чертах человеческое и простое, но как бы обязательное, из вежливости или расчета.

— В том, что неосвязаемо, — сказал Ганувер, продолжая о неизвестном. — Я как бы нахожусь среди множества незримых присутствий. — У него был усталый грудной голос, вызывающий внимание и симпатию. — Но у меня словно завязаны глаза, и я пожимаю, — беспрерывно жму множество рук, — до утомления жму, уже перестав различать, жестка или мягка, горяча или холодна рука, к которой я прикасаюсь; между тем я должен остановиться на одной и боюсь, что не угадаю ее.

Он умолк. Дигэ сказала:

— Мне тяжело слышать это.

В словах Ганувера (он был еще хмелен, но держался твердо) сквозило необъяснимое горе. Тогда со мной произошло странное, вне воли моей, нечто, не повторявшееся долго, лет десять, пока не стало натурально свойственным, — это состояние, которое сейчас опишу. Я стал представлять ощущения беседующих, не понимая что держу это в себе, между тем я вбирал их как бы со стороны. В эту минуту Дигэ положила руку на рукав Ганувера, соразмеряя длину паузы, ловя, так сказать, нужное, не пропустив должного биения времени, после которого, как ни незаметно мала эта духовная мера, говорить будет уже поздно, но и на волос раньше не должно быть сказано. Ганувер молча продолжал видеть то множество рук, о котором только что говорил, и думал о руках вообще, когда его взгляд остановился на белой руке Дигэ с представлением пожатия. Как ни был краток этот

взгляд, он немедленно отозвался в воображении Дигэ физическим прикосновением ее ладони к таинственной невидимой струне: разом поймав такт, она сняла с рукава Ганувера свою руку и, протянув ее вверх ладонью, сказала ясным убедительным голосом:

— Вот эта рука!

Как только она это сказала— мое тройное ощущение за себя и других кончилось. Теперь я видел и понимал только то, что видел и слышал. Ганувер, взяв руку женщины, медленно всматривался в ее лицо, как ради опыта читаем мы на расстоянии печатный лист— угадывая, местами прочтя или пропуская слова, с тем, что, связав угаданное, поставим тем самым в линию смысла и то, что не разобрали. Потом он нагнулся и поцеловал руку— без особого увлечения, но очень серьезно, сказав:

— Благодарю. Я верно понял вас, добрая Дигэ, и я не выхожу из этой минуты. Отдадимся течению.

— Отлично,— сказала она, развеселясь и краснея,— мне очень, очень жаль вас. Без любви... это странно и хорошо.

— Без любви,— повторил он,— быть может, она придет... Но и не придет— если что...

— Ее заменит близость. Близость вырастает потом. Это я знаю.

Наступило молчание.

— Теперь,— сказал Ганувер,— ни слова об этом. Все в себе. Итак, я обещал вам показать зерно, из которого вышел. Отлично. Я— Аладин, а эта стена— ну, что вы думаете,— что это за стена?— Он как будто развеселился, стал улыбаться.— Видите ли вы здесь дверь?

— Нет, я не вижу здесь двери,— ответила, забавляясь ожиданием, Дигэ.— Но я знаю, что она есть.

— Есть,— сказал Ганувер.— Итак...— Он поднял руку, что-то нажал, и невидимая сила подняла вертикальный стеной пласт, открыв вход. Как только мог, я вытянул шею и нашел, что она гораздо длиннее, чем я до сих пор думал. Выпучив глаза и выставив голову, я смотрел внутрь нового тайника, куда вошли Ганувер и Дигэ. Там было освещено. Как скоро я убедился, они вошли не в проход, а в круглую комнату; правая часть ее была от меня скрыта,— по той косой линии направления, как я смотрел, но левая сторона и центр, где остановились эти два челове-

ка, предстали недалеко от меня, так что я мог слышать весь разговор.

Стены и пол этой комнаты — камеры без окон — были обтянуты лиловым бархатом, с узором по стене из тонкой золотой сетки с клетками шестигранной формы. Потолка я не мог видеть. Слева у стены на узорном золотистом столбе стояла черная статуя: женщина с завязанными глазами, одна нога которой воздушно касалась пальцами колеса, украшенного по сторонам оси крыльями, другая, приподнятая, была отнесена назад. Внизу свободно раскинутыми петлями лежала сияющая желтая цепь средней якорной толщины, каждое звено которой было, вероятно, фунтов в двадцать пять весом. Я насчитал около двенадцати оборотов, длиной каждый от пяти до семи шагов, после чего должен был с болью закрыть глаза, — так сверкал этот великолепный трос, чистый, как утренний свет, с жаркими бесцветными точками по месту игры лучей. Казалось, дымится бархат, не вынося ослепительного горения. В ту же минуту тонкий звон начался в ушах, назойливый, как пение комара, и я догадался, что это — золото, чистое золото, брошенное к столбу женщины с завязанными глазами.

— Вот она, — сказал Ганувер, засовывая руки в карманы и толкая носком тяжело отодвинувшееся двойное кольцо. — Сто сорок лет под водой. Ни ржавчины, ни ракушек, как и должно быть. Пирон был затейливый буканьер. Говорят, что он возил с собой поэта Касторуччио, чтобы тот описывал стихами все битвы и попойки; ну, и красавиц, разумеется, когда они попадались. Эту цепь он выковывал в 1777 году, за пять лет перед тем, как его повесили. На одном из колец, как видите, сохранилась надпись: «6 апреля 1777 года, волей Иеронима Пирона».

Дигэ что-то сказала Я слышал ее слова, но не понял. Это была строка или отрывок стихотворения.

— Да, — объяснил Ганувер, — я был, конечно, беден. Я давно слышал рассказ, как Пирон отрубил эту золотую цепь вместе с якорем, чтобы удрать от английских судов, настигших его внезапно. Вот и следы, — видите, здесь рубили, — он присел на корточки и поднял конец цепи, показывая разрубленное звено. — Случай или судьба, как хотите, заставили меня купаться очень недалеко отсюда, рано утром. Я шел по колено в воде, все дальше от берега, на глубину и споткнулся, задев что-то твердое большим

пальцем ноги. Я наклонился и вытащил из песка, подняв муть, эту сияющую тяжеловесную цепь до половины груди, но, обессилев, упал вместе с ней. Одна только гагара, покачиваясь в зыби, смотрела на меня черным глазом, думая, может быть, что я поймал рыбину. Я был блаженно пьян. Я снова зарыл цепь в песок и приметил место, выложив на берегу ряд камней, по касательной моему открытию линии, а потом перенес находку к себе, работая пять ночей.

— Один?! Какая сила нужна!

— Нет, вдвоем,— сказал Ганувер, помолчав.— Мы распиливали ее на куски по мере того, как вытягивали, обыкновенной ручной пилой. Да, руки долго болели. Затем переносили в ведрах, сверху присыпав ракушками. Длилось это пять ночей, и я не спал эти пять ночей, пока не разыскал человека настолько богатого и надежного, чтобы взять весь золотой груз в заклад, не проболтавшись при этом. Я хотел сохранить ее. Моя... Мой компаньон по перетаскиванию танцевал ночью, на берегу, при лунном...

Он замолчал. Хорошая, задумчивая улыбка высекала свет в его расстроенном лице, и он стер ее, проведя от лба вниз ладонью.

Дигэ смотрела на Ганувера молча, прикусив губу. Она была очень бледна и, опустив взгляд к цепи, казалось, отсутствовала, так не к разговору выглядело ее лицо, похожее на лицо слепой, хотя глаза отбрасывали тысячи мыслей.

— Ваш... компаньон,— сказала она очень медленно,— оставил всю цепь вам?

Ганувер поднял конец цепи так высоко и с такой силой, какую трудно было предположить в нем, затем опустил.

Трос грохнулся тяжелой струей.

— Я не забывал о нем. Он умер,— сказал Ганувер,— это произошло неожиданно. Впрочем, у него был странный характер. Дальше было так. Я поручил верному человеку распоряжаться как он хочет моими деньгами, чтоб самому быть свободным. Через год он телеграфировал мне, что возросло до пятнадцати миллионов. Я путешествовал в это время. Путешествуя в течение трех лет, я получил несколько таких извещений. Этот человек пас мое стадо и умножал его с такой удачей, что перевалило за пятьдесят. Он вывалял мое золото, где хотел — в нефти, каменном

угле, биржевом поту, судостроении и... я уже забыл, где. Я только получал телеграммы. Как это вам нравится?

— Счастливая цепь,— сказала Дигэ, нагибаясь и пробуя приподнять конец троса, но едва пошевелила его.— Не могу.

Она выпрямилась. Ганувер сказал:

— Никому не говорите о том, что видели здесь. С тех пор как я выкупил ее и спаял, вы — первая, которой показываю. Теперь пойдем. Да, выйдем, и я закрою эту золотую змею.

Он повернулся, думая, что она идет, но, взглянув и уже отойдя, позвал снова:

— Дигэ!

Она стояла, смотря на него пристально, но так рассеянно, что Ганувер с недоумением опустил протянутую к ней руку. Вдруг она закрыла глаза,— сделала усилие, но не двинулась. Из-под ее черных ресниц, поднявшихся страшно тихо, дрожа и сверкая, выполз помраченный взгляд—странный и глухой блеск; только мгновение сиял он. Дигэ опустила голову, тронула глаза рукой и, вздохнув, выпрямилась, пошла, но пошатнулась, и Ганувер поддержал ее, вглядываясь с тревогой.

— Что с вами?—спросил он.

— Ничего, так. Я... я представила трупы; людей, связанных к цепи; пленников, когорых опускали на дно.

— Это делал Морган,—сказал Ганувер,—Пирон не был столь жесток, и легенда рисует его скорее пьяницей-чудаком, чем драконом.

Они вышли, стена опустилась и стала на свое место, как если бы никогда не была потревожена. Разговаривавшие ушли в ту же сторону, откуда явились. Немедленно я вознамерился взглянуть им вслед, но... хотел ступить и не мог. Ноги окоченели, не повиновались. Я как бы отсидел их в неудобном положении. Вертясь на одной ноге, я поднимал кое-как другую и переставил ее, она была тяжела и опустилась как на подушку, без ощущения. Проволочив к ней вторую ногу, я убедился, что могу идти так со скоростью десяти футов в минуту. В глазах стоял золотой блеск, волнами поражая зрачки. Это состояние околдованности длилось минуты три и исчезло также внезапно, как появилось. Тогда я понял, почему Дигэ закрыла глаза, и вспомнил чей-то рассказ о мелком чиновнике-французе в подвалах Национального банка, который, походив среди

груд золотых болванок, не мог никак уйти, пока ему не дали стакан вина.

— Так вот что,— бессмысленно твердил я, выйдя наконец из засады и бродя по коридору. Теперь я видел, что был прав, пустившись делать открытия. Женщина заберет Ганувера, и он на ней женится. Золотая цепь извивалась предо мной, ползая по стенам, путалась в ногах. Надо узнать, где он купался, когда нашел трос; кто знает — не осталось ли там и на мою долю? Я вытащил свои золотые монеты. Очень, очень мало! Моя голова кружилась. Я блуждал, с трудом замечая, где, как поворачиваю, иногда словно проваливался, плохо сознавал, о чем думаю, и шел, сам себе посторонний, уже устав надеяться, что наступит конец этим скитаниям в тесноте, свете и тишине. Однако моя внутренняя тревога была, надо думать, сильна, потому что сквозь бред усталости и выжженного ею волнения я остановился,— резко, как над пропастью, представил, что я заперт и заблудился, а ночь длится. Не страх, но совершенное отчаяние, полное бесконечного равнодушия к тому, что меня здесь накроют, владело мной, когда, почти падая от изнурения, подкравшегося всесильно, я остановился у тупика, похожего на все остальные, лег перед ним и стал бить в стену ногами так, что эхо, завыв гулом, пошло гротать по всем пространствам, вверх и вниз.

VII

Я не удивился, когда стена сошла с своего места и в яркой глубине обширной, роскошной комнаты я увидел Попа, а за ним — Дюрока в пестром халате. Дюрок поднял, но тотчас опустил револьвер, и оба бросились ко мне, втаскивая меня за руки, за ноги, так как я не мог встать. Я опустился на стул, смеясь и изо всей силы хлопая себя по колену.

— Я вам скажу,— проговорил я,— они женятся! Я видел! Та молодая женщина и ваш хозяин. Он был подвыпивши. Ей-богу! Поцеловал руку. Честь честью! Золотая цепь лежит там, за стеной, сорок поворотов через сорок проходов. Я видел. Я попал в шкаф и теперь судите, как хотите, но вам, Дюрок, я буду верен и баста!

У самого своего лица я увидел стакан с вином. Стекло лязгало о зубы. Я выпил вино, во тьме свалившего-

ся на меня сна еще не успев разобрать, как Дюрок сказал:

— Это ничего, Поп! Санди получил свою порцию; он утолил жажду необычайного. Бесполезно говорить с ним теперь.

Казалось мне, когда я очнулся, что момент потери сознания был краток, и шкипер немедленно стащит с меня куртку, чтоб холод заставил быстрее вскочить. Однако не исчезло ничто за время сна. Дневной свет заглядывал в щели гардин. Я лежал на софе. Попа не было. Дюрок ходил по ковру, нагнув голову, и курил.

Открыв глаза и осознав отлетевшее, я снова закрыл их, придумывая, как держаться, так как не знал, обдадут меня бранью или все благополучно сойдет. Я понял все-таки, что лучшее — быть самим собой. Я сел и сказал Дюроку, в спину:

— Я виноват.

— Санди,— сказал он, встрепenuвшись и садясь рядом,— виноват-то ты виноват. Засыпая, ты бормотал о разговоре в библиотеке. Это для меня очень важно, и я поэтому не сержусь. Но слушай: если так пойдет дальше, ты действительно будешь все знать. Рассказывай, что было с тобой.

Я хотел встать, но Дюрок толкнул меня в лоб ладонью, и я опять сел. Дикая сон клубился еще во мне. Он стягивал клещами суставы и выламывал скулы зевотой; и сладость, не утоленная сладость мякла во всех членах. По-спешно собрав мысли, а также закулив, что было моей утренней привычкой, я рассказал, припоминая, как точнее, разговор Галуэя с Дигэ. Ни о чем больше так не спрашивал и не переспрашивал меня Дюрок, как об этом разговоре.

— Ты должен благодарить счастливый случай, который привел тебя сюда,— заметил он наконец очень, по-видимому, озабоченный,— впрочем, я вижу, что тебе везет. Ты выпался?

Дюрок не расслышал моего ответа: задумавшись, он тревожно тер лоб; потом встал, снова начал ходить. Каминные часы указывали семь с половиной. Солнце резнуло накуренный воздух из-за гардины тонким лучом. Я сидел, осматриваясь. Великолешие этой комнаты, с зеркалами в рамках слоновой кости, мраморной облицовкой окон, резной, затейливой мебелью, цветной шелк, улыбки кра-

соты в сияющих золотом и голубой далью картинах, ноги Дюрока, ступающие по мехам и коврам,— все это было чрезмерно для меня, оно утомляло. Лучше всего дышалось бы мне теперь жмурясь под солнцем на острый морской блеск. Все, на что я смотрел, восхищало, но было непривычно.

— Мы поедем, Санди,— сказал, перестав ходить, Дюрок,— потом... но что предисловие: хочешь отправиться в экспедицию?..

Думая, что он предлагает Африку или другое какое место, где приключения неистощимы, как укусы комаров среди болот, я сказал со всей поспешностью:

— Да! Тысячу раз — да! Клянусь шкурой леопарда, я буду всюду, где вы.

Говоря это, я вскочил. Может быть, он угадал, что я думаю, так как устало рассмеялся.

— Не так далеко, как ты, может быть, хочешь, но — в «страну человеческого сердца». В страну, где темно.

— О, я не понимаю вас,— сказал я, не отрываясь от его сжатого, как тиски, рта, надменного и снисходительного, от серых резких глаз под суровым лбом.— Но мне, право, все равно, если это вам нужно.

— Очень нужно,— потому что мне кажется,— ты можешь пригодиться, и я уже вчера присматривался к тебе. Скажи мне, сколько времени надо плыть к Сигнальному Пустырю?

Он спрашивал о предместьи Лисса, называвшемся так со старинных времен, когда города почти не было, а на каменных столбах мыса, окрещенного именем «Сигнальный Пустырь» горели ночью смоляные бочки, зажигавшиеся с разрешения колониальных отрядов, как знак, что суда могут войти в Сигнальную бухту. Ныне Сигнальный Пустырь был довольно населенное место со своей таможней, почтой и другими подобными учреждениями.

— Думаю,— сказал я,— что полчаса будет достаточно, если ветер хорош. Вы хотите ехать туда?

Он не ответил, вышел в соседнюю комнату и, провзясь там порядочно времени, вернулся, одетый как прибрежный житель, так что от его светского великолепия осталось одно лицо. На нем была кожаная куртка с двойными обшлагами, красный жилет с зелеными стеклянными пуговицами, узкая лакированная шляпа, напоминающая опрокинутый на сковороду котелок; вокруг шеи — клетча-

тый шарф, а на ногах — поверх коричневых, верблюжьего сукна брюк, — мягкие сапоги с толстой подошвой. Люди в таких вот нарядах, как я видел много раз, держат за жилетную пуговицу какого-нибудь раскрашенного вином капитана, стоя под солнцем на набережной среди протянутых канатов и рядов бочек, и рассказывают ему, какие есть выгодные предложения от фирмы «Купи в долг» или «Застрахуй без нужды».

Пока я дивился на него, не смея, конечно, улыбнуться или отпустить замечание, Дюрок подошел к стене между окон и потянул висячий шнурок. Часть стены тотчас вывалилась полукругом, образовав полку с углублением за ней, где вспыхнул свет; за стеной стало жужжать, и я не успел толком сообразить, что произошло, как вровень с упавшей полкой поднялся из стены род стола, на котором были чашки, кофейник с горящей под ним спиртовой лампочкой, булки, масло, сухари и закуски из рыбы и мяса, приготовленные, должно быть, руками кухонного волшебного духа, — столько поджаристости, масла, шипенья и аромата я ощутил среди белых блюд, украшенных рисунком зеленоватых цветов. Сахарница напоминала серебряное пирожное. Ложки, щипцы для сахара, салфетки в эмалированных кольцах и покрытый золотым плетеньем из мельчайших виноградных листьев карминовый графин с коньяком — все явилось, как солнце из туч. Дюрок стал переносить посланное магическими существами на большой стол, говоря:

— Здесь можно обойтись без прислуги. Как видишь, наш хозяин устроился довольно затейливо, а в данном случае просто остроумно. Но поторопимся.

Видя, как он быстро и ловко ест, наливая себе и мне из трепещущего по скатерти розовыми зайчиками графина, я сбился в темпе, стал ежеминутно ронять то нож, то вилку; одно время стеснение едва не замучило меня, но аппетит превозмог, и я управился с едой очень быстро, применив ту уловку, что я будто бы тороплюсь больше Дюрока. Как только я перестал обращать внимание на свои движения, дело пошло как нельзя лучше, я хватал, жевал, глотал, отбрасывал, запивал и остался очень доволен собой. Жуя, я не переставал обдумывать одну штуку, которую не решался сказать, но сказать очень хотел и, может быть, не сказал бы, но Дюрок заметил мой упорный взгляд.

— В чем дело? — сказал он рассеянно, далекий от меня, где-то в своих горных вершинах.

— Кто вы такой?— спросил я и про себя ахнул. «Сорвалось-таки!— подумал я с горечью.— Теперь держись, Санди!»

— Я?!— сказал Дюрок с величайшим изумлением, устремив на меня взгляд серый как сталь. Он расхохотался и, видя, что я оцепенел, прибавил:— Ничего, ничего! Однако я хочу посмотреть, как ты задашь такой же вопрос Эстампу. Я отвечу твоему простосердечию. Я— шахматный игрок.

О шахматах я имел смутное представление, но поневоле удовлетворился этим ответом, смешав в уме шашечную доску с игральными костями и картами. «Одним словом— игрок!»— подумал я, ничуть не разочаровавшись ответом, а, напротив, укрепив свое восхищение. Игрок— значит молодчинище, хват, рискованный человек. Но, будучи поощрен, я вознамерился спросить что-то еще, как портьера откинулась, и вошел Поп.

— Герои спят,— сказал он хрипло; был утомлен с бледным, бессонным лицом и тотчас тревожно уставился на меня.— Вторые лица все на ногах. Сейчас придет Эстамп. Держу пари, что он отправится с вами. Ну, Санди, ты отколол штуку, и твое счастье, что тебя не заметили в тех местах. Ганувер мог тебя просто убить. Боже сохрани тебя болтать обо всем этом! Будь на нашей стороне, но молчи, раз уж попал в эту историю. Так что же было с тобой вчера?

Я опять рассказал о разговоре в библиотеке, о лифте, аквариуме и золотой цепи.

— Ну, вот видите!— сказал Поп Дюроку.— Человек с отчаяния способен на все. Как раз третьего дня он сказал при мне этой самой Дигэ: «Если все пойдет в том порядке, как идет сейчас, я буду вас просить сыграть самую эффектную роль». Ясно, о чем речь. Все глаза будут обращены на нее, и она своей автоматической, узкой рукой соединит ток.

— Так. Пусть соединит!— сказал Дюрок.— Хотя... да, я понимаю вас.

— Конечно!— горячо подхватил Поп.— Я положительно не видел такого человека, который так верил бы, был бы так убежден. Посмотрите на него, когда он один. Жутко станет. Санди, отправляйтесь к себе. Впрочем, вы опять запутаетесь.

— Оставьте его,— сказал Дюрок,— он будет нужен.

— Не много ли? — Поп стал водить глазами от меня к Дюроку и обратно. — Впрочем, как знаете.

— Что за советы без меня? — сказал, появляясь, сверкающий чистотой Эстамп. — Я тоже хочу. Куда это вы собрались, Дюрок?

— Надо попробовать. Я сделаю попытку, хотя не знаю, что из этого выйдет.

— А! Вылазка в трепещущие траншеи! Ну, когда мы появимся — два таких молодца, как вы да я, — держу сто против одиннадцати, что не устоит даже телеграфный столб! Что? Уж ели? И выпили? А я еще нет? Как вижу, — капитан с вами и суетумудрствует. Здорово, капитан Санди! Ты, я слышал, закладывал всю ночь мины в этих стенах?!

Я фыркнул, так как не мог обидеться.

Эстамп присел к столу, хозяйничая и накладывая в рот, что попало, также облегчая графин. — Послушайте, Дюрок, я с вами!

— Я думал, вы останетесь пока с Ганувером, — сказал Дюрок. — Вдобавок при таком щекотливом деле...

— Да, — вовремя вернуть слово!

— Нет. Мы можем смутить...

— И развеселить! За здоровье этой упрямой гусеницы!

— Я говорю серьезно, — настаивал Дюрок, — мне больше нравится мысль провести дело не так шумно.

— ...как я ем! — Эстамп поднял упавший нож.

— Судя по всему, что я знаю, — вставил Поп, — Эстамп очень вам пригодится.

— Конечно! — вскричал молодой человек, подмигивая мне. — Вот и Санди вам скажет, что я прав. Зачем мне вламываться в **ваш** деликатный разговор? Мы с Санди присядем где-нибудь в кусточках, мух будем ловить... ведь так, Санди?

— Если вы говорите серьезно, — ответил я, — я скажу вот что: раз дело опасное, всякий человек может быть только полезен.

— Что? Дюрок, слышите голос капитана? Как он это изрек!

— А почему вы думаете об опасности? — серьезно спросил Поп.

Теперь я ответил бы, что опасность была необходима для душевного моего спокойствия. «Пылающий мозг и хо-

лодная рука» — как поется в песне о Пелегрине. Я сказал бы еще, что от всех этих слов и недомолвок, приготовлений, переодеваний и золотых цепей веет опасностью точно так же, как от молока — скукой, от книги — молчанием, от птицы — полетом, но тогда все неясное было мне ясно без доказательств.

— Потому что такой разговор, — сказал я, — и клянусь гандшпугом, нечего спрашивать того, кто меньше всех знает. Я спрашивать не буду. Я сделаю свое дело, сделаю все, что вы хотите.

— В таком случае вы переоденетесь, — сказал Дюрк Эстампу. — Идите ко мне в спальню, там есть кое-что. — И он увел его, а сам вернулся и стал говорить с Попом на языке, которого я не знал.

Не знаю, что будут они делать на Сигнальном Пустыре, я тем временем побывал там мысленно, как бывал много раз в детстве. Да, я там дрался с подростками и ненавидел их манеру тыкать в глаза растопыренной пятерней. Я презирал эти жестокие и бесчеловечные уловки, предпочитая верный, сильный удар в подбородок всем тонкостям хулиганского измышления. О Сигнальном Пустыре ходила поговорка: «На пустыре и днем — ночь». Там жили худые, жилистые бледные люди с бесцветными глазами и перекошенным ртом. У них были свои нравы, мировоззрения, свой странный патриотизм. Самые ловкие и опасные воры водились на Сигнальном Пустыре, там же процветали пьянство, контрабанда и шайки — целые товарищества взрослых парней, имевших каждое своего предводителя. Я знал одного матроса с Сигнального Пустыря — это был одутловатый человек с глазами в виде двух острых треугольников; он никогда не улыбался и не расставался с ножом. Установилось мнение, которое никто не пытался опровергнуть, что с этими людьми лучше не связываться. Матрос, о котором я говорю, относился презрительно и с ненавистью ко всему, что не было на Пустыре, и, если с ним спорили, неприятно бледнел, улыбаясь так жутко, что пропадала охота спорить. Он ходил всегда один, медленно, едва покачиваясь, руки в карманы, пристально оглядывая и провожая взглядом каждого, кто сам задерживал на его припухшем лице свой взгляд, как будто хотел остановить, чтобы слово за слово начать свару. Вечным припевом его было: «У нас там...», «Мы не так», «Что нам до этого», — и все такое, отчего казалось, что он родился за тысячи миль от Лисса, в упрямой стране

дураков, где, выпячивая грудь, ходят хвастуны с ножами за пазухой.

Немного погодя явился Эстамп, разряженный в синий китель и синие штаны кочегара, в потрепанной фуражке; он прямо подошел к зеркалу, оглядев себя с ног до головы.

Эти переодевания очень интересовали меня, однако смелости не хватило спросить, что будем мы делать трое на Пустыре. Казалось, предстоят отчаянные дела. Как мог, я держался сурово, нахмуренно поглядывая вокруг с значительным видом. Наконец Поп объявил, что уже девять часов, а Дюрок — что надо идти, и мы вышли в светлую тишину пустынных, великолепных стен, прошли сквозь набегающие сияния перспектив, в которых терялся взгляд; потом вышли к винтовой лестнице. Иногда в большом зеркале я видел себя, то есть невысокого молодого человека, с гладко зачесанными назад темными волосами. По-видимому, мой наряд не требовал перемены, он был прост: куртка, простые новые башмаки и серое кепи.

Я заметил, когда пожил довольно, что наша память лучше всего усваивает прямое направление, например, улицу; однако представление о скромной квартире (если она не ваша), когда вы побывали в ней всего один раз, а затем пытаетесь припомнить расположение предметов и комнат, — есть наполовину собственные ваши упражнения в архитектуре и обстановке, так что, посетив снова то место, вы видите его иначе. Что же сказать о гигантском здании Ганувера, где я, разрываемый непривычкой и изумлением, метался как стрекоза среди огней ламп, — в сложных и роскошных пространствах? Естественно, что я смутно запомнил те части здания, где была нужда самостоятельно вникать в них, там же, где я шел за другими, я запомнил лишь, что была путаница лестниц и стен.

Когда мы спустились по последним ступеням, Дюрок взял от Попа длинный ключ и вставил его в замок узорной железной двери; она открылась на полутемный канал с каменным сводом. У площадки, среди других лодок, стоял парусный бот, и мы влезли в него. Дюрок торопился; я, правильно заключив, что предстоит спешное дело, сразу взял весла и развязал парус. Поп передал мне револьвер; спрятав его, я раздулся от гордости, как гриб после дождя. Затем мои начальники махнули друг другу руками. Поп ушел, и мы вышли на веслах в тесноте сырых стен на чистую воду, пройдя под конец каменную арку, заросшую кустами.

Я поднял парус. Когда бот отошел от берега, я догадался, отчего выплыли мы из этой крысиной гавани, а не от пристани против дворца: здесь нас никто не мог видеть.

VIII

В это жаркое утро воздух был прозрачен, поэтому про- тив нас ясно виднелась линия строений Сигнального Пу- стыря. Бот взял с небольшим ветром приличный ход. Эс- тамп правил на точку, которую ему указал Дюрок; затем все мы закурили, и Дюрок сказал мне, чтобы я крепко мол- чал не только обо всем том, что может произойти в Пусты- ре, но чтобы молчал даже и о самой поездке.

— Выворачивайся как знаешь, если кто-нибудь приста- нет с расспросами, но лучше всего скажи, что был отдель- но, гулял, а про нас ничего не знаешь.

— Солгу, будьте спокойны,— ответил я,— и вообще по- ложитесь на меня окончательно. Я вас не подведу.

К моему удивлению, Эстамп меня более не дразнил. Он с самым спокойным видом взял спички, которые я ему вер- нул, даже не подмигнул, как делал при всяком удобном слу- чае; вообще он был так серьезен, как только возможно для его характера. Однако ему скоро надоело молчать, и он стал скороговоркой читать стихи, но, заметив, что никто не сме- ется, вздохнул, о чем-то задумался. В то время Дюрок рас- спрашивал меня о Сигнальном Пустыре.

Как я скоро понял, его интересовало знать, чем зани- маются жители Пустыря и верно ли, что об этом месте от- зываются неодобрительно.

— Отъявленные головорезы,— с жаром сказал я,— мо- шенники, не приведи бог! Опасное население, что и гово- рить.— Если я сократил эту характеристику в сторону устрашительности, то она была все же на три четверти правдой, так как в тюрьмах Лисса восемьдесят процентов арестантов родились на Пустыре. Большинство гулящих девок являлось в кабаки и кофейные оттуда же. Вообще, как я уже говорил, Сигнальный Пустырь был ~~территорией~~ жестоких традиций и странной ревности, в силу которой всякий нежитель Пустыря являлся подразумеваемым и естественным врагом. Как это произошло и откуда повело начало, трудно сказать, но ненависть к городу, горожанам в сердцах жителей Пустыря пустила столь глубокие корни,

что редко кто, переехав из города в Сигнальный Пустырь, мог там ужиться. Я там три раза дрался с местной молодежью без всяких причин только потому, что я был из города и парни «задирали» меня.

Все это с небольшим умением и без особой грации я изложил Дюроку, недоумевая, какое значение могут иметь для него сведения о совершенно другом мире, чем тот, в котором он жил.

Наконец, он остановил меня, начав говорить с Эстампом. Было бесполезно прислушиваться, так как я понимал слова, но не мог осветить их никаким достоверным смыслом. «Запутанное положение», — сказал Эстамп. — «Которое мы распутаем», — возразил Дюрок. — «На что вы надеетесь?» — «На то же, на что надеялся он». — «Но там могут быть причины серьезнее, чем вы думаете». — «Все узнаем!» — «Однако, Дигэ...» — Я не расслышал конца фразы. — «Эх, молоды же вы!» — «Нет, правда, — настаивал на чем-то Эстамп, — правда то, что нельзя подумать». — «Я судил не по ней, — сказал Дюрок, — я, может быть, ошибся бы сам, но психический аромат Томсона и Галуэя довольно ясен».

В таком роде размышлений вслух о чем-то хорошо им известном разговор этот продолжался до берега Сигнального Пустыря. Однако я не разыскал в разговоре никаких объяснений происходящего. Пока что об этом некогда было думать теперь, так как мы приехали и вышли, оставив Эстампа стеречь лодку. Я не заметил у него большой охоты к бездействию. Они условились так: Дюрок должен прислать меня, как только выяснится дальнейшее положение неизвестного дела, с запиской, прочтя которую Эстамп будет знать, оставаться ли ему сидеть в лодке или присоединиться к нам.

— Однако почему вы берете не меня, а этого мальчика? — сухо спросил Эстамп. — Я говорю серьезно. Может произойти сдвиг в сторону рукопашной, и вы должны признать, что на весах действия я кое-что значу.

— По многим соображениям, — ответил Дюрок. — В силу этих соображений, пока что я должен иметь послушного живого подручного, но не равноправного, как вы.

— Может быть, — сказал Эстамп. — Санди, будь послушен. Будь жив. Смотри у меня!

Я понял, что он в досаде, но пренебрег, так как сам чувствовал бы себя тускло на его месте.

— Ну, идем, — сказал мне Дюрок, и мы пошли, но должны были на минуту остановиться.

Берег в этом месте представлял каменистый спуск, с домами и зеленью наверху. У воды стояли опрокинутые лодки, сушились сети. Здесь же бродило несколько человек, босиком, в соломенных шляпах. Стоило взглянуть на их бледные заросшие лица, чтобы немедленно замкнуться в себе. Оставив свои занятия, они стали на некотором от нас расстоянии, наблюдая, что мы такое и что делаем, и тихо говоря между собой. Их пустые, прищуренные глаза выражали явную неприязнь.

Этамп, отплыв немного, стал на якорь и смотрел на нас, свесив руки между колен. От группы людей на берегу отделился долговязый человек с узким лицом; он, помахав рукой, крикнул:

— Откуда, приятель?

Дюрок миролюбиво улыбнулся, продолжая молча идти, рядом с ним шагал я. Вдруг другой парень, с придурковатым, наглым лицом, стремительно побежал на нас, но, не добежав шагов пяти, замер как вкопанный, хладнокровно сплюнул и поскакал обратно на одной ноге, держа другую за пятку.

Тогда мы остановились. Дюрок повернул к группе оборванцев и, положив руки в карманы, стал молча смотреть. Казалось, его взгляд разогнал сборище. Поохотав между собой, люди эти вернулись к своим сетям и лодкам, делая вид, что более нас не замечают. Мы поднялись и вошли в пустую узкую улицу.

Она тянулась меж садов и одноэтажных домов из желтого и белого камня, нагретого солнцем. Бродили петухи, куры с дворов, из-за низких песчаниковых оград слышались голоса — смех, брань, надоедливый, протяжный зов. Лаяли собаки, петухи пели. Наконец стали попадаться прохожие: крючковатая старуха, подростки, пьяный человек, шедший, опустив голову, женщины с корзинами, мужчины на подводах. Встречные взглядывали на нас слегка расширенными глазами, проходя мимо, как всякие другие прохожие, но, миновав некоторое расстояние, останавливались; обернувшись, я видел их неподвижные фигуры, смотрящие вслед нам сосредоточенно и угрюмо. Свернув в несколько переулков, где иногда переходили по мостикам над оврагами, мы остановились у тяжелой калитки. Дом был внутри двора; спереди же, на каменной ограде, через которую я

мог заглянуть внутрь, висели тряпки и циновки, сушившиеся под солнцем.

— Вот здесь,— сказал Дюрок, смотря на черепичную крышу,— это тот дом. Я узнал его по большому дереву во дворе, как мне рассказывали.

— Очень хорошо,— сказал я, не видя причины говорить что-нибудь другое.

— Ну, идем,— сказал Дюрок,— и я ступил следом за ним во двор.

В качестве войска я держался на некотором расстоянии от Дюрока, а он прошел к середине двора и остановился, оглядываясь. На камне у одного порога сидел человек, чиня бочонок; женщина развешивала белье. У помойной ямы тушился, крихтя, мальчик лет шести,— увидев нас, он встал и мрачно натянул штаны.

Но лишь мы явились, любопытство обнаружилось ментально. В окнах показались забавные головы; женщины, раскрыв рот, выскочили на порог и стали смотреть так настойчиво, как смотрят на почтальона.

Дюрок, осмотревшись, направился к одноэтажному флигелю в глубине двора. Мы вошли под тень навеса, к трем окнам с белыми занавесками. Огромная рука приподняла занавеску, и я увидел толстый, как у быка, глаз, расширивший сонные веки при виде двух чужих.

— Сюда, приятель? — сказал глаз.— Ко мне, что ли?

— Вы — Варрен? — спросил Дюрок.

— Я — Варрен; что хотите?

— Ничего особенного,— сказал Дюрок самым спокойным голосом.— Если здесь живет девушка, которую зовут Молли Варрен, и если она дома, я хочу ее видеть.

Так и есть! Так я и знал, что дело идет о женщине,— пусть она девушка, все едино! Ну, скажите, отчего это у меня было совершенно непоколебимое предчувствие, что как только уедем, явится женщина? Недаром слова Эстампа «упрямая гусеница» заставили меня что-то подозревать в этом роде. Только теперь я понял, что угадал то, чего ждал.

Глаз сверкнул, изумился и потеснился дать место второму глазу, оба глаза не предвещали, судя по выражению их, радостной встречи. Рука отпустила занавеску, кивнув пальцем.

— Зайдите-ка,— сказал этот человек сдавленным ненатуральным голосом, тем более неприятным, что он был адски спокоен.— Зайдите, приятель!

Мы прошли в небольшой коридор и стукнули в дверь налево.

— Войдите,— повторил нежно тот же спокойный голос, и мы очутились в комнате. Между окном и столом стоял человек в нижней рубашке и полосатых брюках,— человек так себе, среднего роста, не слабый, по-видимому, с темными гладкими волосами, толстой шеей и перебитым носом, конец которого торчал как сучок. Ему было лет тридцать. Он заводил карманные часы, а теперь приложил их к уху.

— Молли? — сказал он.

Дюрок повторил, что хочет видеть Молли.

Баррен вышел из-за стола и стал смотреть в упор на Дюрока.

— Бросьте вашу мысль,— сказал он.— Оставьте вашу затею. Она вам не пройдет даром.

— Затея у меня нет никаких, но есть только поручение для вашей сестры.

Дюрок говорил очень вежливо и был совершенно спокоен. Я рассматривал Баррена. Его сестра представилась мне похожей на него, и я стал угрюм.

— Что это за поручение? — сказал Баррен, снова беря часы и бесцельно прикладывая их к уху.— Я должен посмотреть, в чем дело.

— Не проще ли,— возразил Дюрок,— пригласить девушку?

— А в таком случае не проще ли вам выйти вон и хлопнуть дверь за собой! — проговорил Баррен, начиная тяжело дышать. В то же время он подступил ближе к Дюроку, бегая взглядом по его фигуре.— Что это за маскарад? Вы думаете, я не различу кочегара или матроса от спесивого идиота, как вы? Зачем вы пришли? Что вам надо от Молли?

Видя, как страшно побледнел Дюрок, я подумал, что тут и конец всей истории и наступит время палить из револьвера, а потому приготовился. Но Дюрок только вздохнул. На один момент его лицо осунулось от усилия, которое сделал он над собой, и я услышал тот же ровный, глубокий голос:

— Я мог бы ответить вам на все или почти на все ваши вопросы, но теперь не скажу ничего. Я вас спрашиваю только: дома Молли Баррен?

Он сказал последние слова так громко, что они были бы слышны через полуоткрытую в следующую комнату

дверь,— если бы там был кто-нибудь. На лбу Варрена появился рисунок жил.

— Можете не говорить! — закричал он. — Вы подославы, и я знаю кем — этим выскочкой, миллионером из ямы! Однако проваливайтесь! Молли нет. Она уехала. Попробуйте только производить розыски, и, клянусь черепом дьявола, мы вам переломаем все кости.

Потрясая рукой, он вытянул ее свирепым движением. Дюрок быстро взял руку Варрена выше кисти, нагнул вниз, и... и я неожиданно увидел, что хозяин квартиры с яростью и мучением в лице брякнулся на одно колено, хватаясь другой рукой за руку Дюрока. Дюрок взял эту другую руку Варрена и тряхнул его — вниз, а потом — назад. Варрен упал на локоть, сморщившись, закрыв глаза и прикрывая лицо.

Дюрок потер ладонь о ладонь, затем взглянул на продолжавшего лежать Варрена.

— Это было необходимо, — сказал он, — в другой раз вы будете осторожнее. Санди, идем!

Я выбежал за ним с обожанием, с восторгом зрителя, получившего высокое наслаждение. Много я слышал о силачах, но первый раз видел сильного человека, казавшегося не сильным, — не таким сильным. Я весь горел, ликовал, ног под собой не слышал от возбуждения. Если таково начало нашего похода, то что же предстоит впереди?

— Боюсь, не сломал ли я ему руку, — сказал Дюрок, когда мы вышли на улицу.

— Она срастется! — вскричал я, не желая портить впечатления никакими соображениями. — Мы ищем Молли?

Момент был таков, что сблизил нас общим возбуждением, и я чувствовал, что имею теперь право кое-что знать. То же, должно быть, признавал и Дюрок, потому что просто сказал мне как равному:

— Происходит запутанное дело: Молли и Ганувер давно знают друг друга, он очень ее любит, но с ней что-то произошло. По крайней мере на завтрашнем празднике она должна была быть, однако от нее нет ни слуха ни духа уже два месяца, а перед тем она написала, что отказывается быть женой Ганувера и уезжает. Она ничего не объяснила при этом.

Он так законченно выразился, что я понял его нежелание приводить подробности. Но его слова вдруг согрели меня внутри и переполнили благодарностью.

— Я вам очень благодарен,— сказал я как можно тише.
Он повернулся и рассмеялся:

— За что? О, какой ты дурачок, Санди! Сколько тебе лет?

— Шестнадцать,— сказал я,— но скоро будет уже семнадцать.

— Сразу видно, что ты настоящий мужчина,— заметил он, и, как ни груба была лесть, я крикнул, ошарашенный свыше меры. Теперь Дюрок мог, не опасаясь непослушания, приказать мне обойти на четвереньках вокруг залива.

Едва мы подошли к углу, как Дюрок посмотрел назад и остановился. Я стал тоже смотреть. Скоро из ворот вышел Варрен. Мы спрятались за углом, так что он нас не видел, а сам был виден нам через ограду, сквозь ветви. Варрен посмотрел в обе стороны и быстро направился через мостик поперек оврага к поднимающемуся на той стороне переулку.

Едва он скрылся, как из этих же ворот выбежала босонгая девушка с завязанной платком щекой и спешно направилась в нашу сторону. Ее хитрое лицо отражало разочарование, но, добежав до угла и увидев нас, она застыла на месте, раскрыв рот, потом метнула искоса взглядом, прошла лениво вперед и тотчас вернулась.

— Вы ищете Молли? — сказала она таинственно.

— Вы угадали,— ответил Дюрок, и я тотчас сообразил, что нам подвернулся шанс.

— Я не угадала, я слышала,— сказала эта скуластая барышня (уже я был готов взречь от тоски, что она скажет: «Это — я, к вашим услугам»), двигая перед собой руками, как будто ловила паутину,— так вот, что я вам скажу: ее здесь действительно нет, а она теперь в бордингаузе, у своей сестры. Идите,— девица махнула рукой,— туда по берегу. Всего вам одну милю пройти. Вы увидите синюю крышу и флаг на мачте. Варрен только что убежал и уж наверно готовит пакость, поэтому торопитесь.

— Благодарю, добрая душа,— сказал Дюрок.— Еще, значит, не все против нас.

— Я не против,— возразила особа,— а даже наоборот. Они девушкой вертят, как хотят; очень жаль девочку, потому что, если не вступить, ее слопают.

— Слопают? — спросил Дюрок.

— А вы не знаете Лемарена? — вопрос прозвучал громовым упреком.

— Нет, не знаем.

— Ну, тогда долго рассказывать. Она сама расскажет. Я уйду, если меня увидят с вами...

Девушка всколыхнулась и исчезла за угол, а мы, немедленно следуя ее указанию, и так скоро, как только позволяло дыхание, кинулись на ближайший спуск к берегу, где, как увидели, нам предстоит обогнуть небольшой мыс — в правой стороне от Сигнального Пустыря.

Могли бы мы, конечно, расспросив о дороге, направиться ближайшим путем, по твердой земле, а не по скользкому гравию, но, как правильно указал Дюрок, в данном положении было невыгодно, чтобы нас видели на дорогах.

Справа по обрыву стоял лес, слева блестело утреннее красивое море, а ветер дул на счастье в затылок. Я был рад, что иду берегом. На гравии бежали, шумя, полосы зеленой воды, отливаясь затем назад шепчущей о тишине пеной. Обогнув мыс, мы увидели вдали, на изгибе лиловых холмов берега, синюю крышу с узким дымком флага, и только тут я вспомнил, что Эстамп ждет известий. То же самое, должно быть, думал Дюрок, так как сказал:

— Эстамп потерпит: то, что впереди нас, — важнее его. — Однако, как вы увидите впоследствии, с Эстампом вышло иначе.

IX

За мысом ветер стих, и я услышал слабо долетающую игру на рояле, — беглый мотив. Он был ясен и незатейлив, как полевой ветер. Дюрок внезапно остановился, затем пошел тише, с закрытыми глазами, опустив голову. Я подумал, что у него сделались в глазах темные круги от слепого блеска белой гальки; он медленно улыбнулся, не открывая глаз, потом остановился вторично с немного приподнятой рукой. Я не знал, что он думает. Его глаза внезапно открылись, он увидел меня, но продолжал смотреть очень рассеянно, как бы издадека; наконец, заметив, что я удивлен, Дюрок повернулся и, ничего не сказав, направился далее.

Обливаясь потом, достигли мы тени здания. Со стороны моря фасад был обведен двухэтажной террасой с парусиновыми навесами; узкая густая стена с слуховым окном была

обращена к нам, а входы были, надо полагать, со стороны леса. Теперь нам предстояло узнать, что это за бордингауз и кто там живет.

Музыкант кончил играть свой кроткий мотив и начал переливать звуки от заостренной трели к глухому бормотанию басом, потом обратно, все очень быстро. Наконец он несколько раз кряду крепко ударил в прелестную тишину морского утра однотонным аккордом и как бы исчез.

— Замечательное дело! — послышался с верхней террасы хриплый, обеспокоенный голос. — Я оставил водки в бутылке выше ярлыка на палец, а теперь она ниже ярлыка. Это вы выпили, Билль?

— Стану я пить чужую водку, — мрачно и благородно ответил Билль. — Я только подумал, не укусу ли это, так как страдаю мигренью, и смочил немного платок.

— Лучше бы вы не страдали мигренью, — а научились...

Затем, так как мы уже поднялись по тропинке к задней стороне дома, спор слышался неясным единоборством голосов, а перед нами открылся вход с лестницей. Ближе к углу была вторая дверь.

Среди редких, очень высоких и тенистых деревьев, росших здесь вокруг дома, переходя далее в густой лес, мы не были сразу замечены единственным человеком, которого тут увидели. Это была девушка или девочка? — я не смог бы сказать сразу, но склонялся к тому, что девочка. Она ходила босиком по траве, склонив голову и заложив руки назад, взад и вперед с таким видом, как ходят из угла в угол по комнате. Под деревом был на вкопанном столбе круглый стол, покрытый скатертью, на нем лежали разграфленная бумага, карандаш, утюг, молоток и горка орехов. На девушке не было ничего, кроме коричневой юбки и легкого белого платка с синей каймой, накинутого поверх плеч. В ее очень густых кое-как замотанных волосах торчали длинные шпильки.

Походив, она нехотя уселась к столу, записала что-то в разграфленную бумагу, затем сунула утюг между колен и стала разбивать на нем молотком орехи.

— Здравствуйте, — сказал Дюрюк, подходя к ней. — Мне указали, что здесь живет Молли Варрен!

Она повернулась так живо, что все ореховое производство свалилось в траву; выпрямилась, встала и, несколько поблуднев, оторопело приподняла руку. По ее очень выра-

зительному, тонкому, слегка сумрачному лицу прошло несколько беглых, странных движений. Тотчас она подошла к нам, не быстро, но словно подлетела с дуновением ветра.

— Молли Варрен!— сказала девушка, будто что-то обдумывая, и вдруг убийственно покраснела.— Пожалуйста, пройдите за мной, я ей скажу.

Она понеслась, щелкая пальцами, а мы, следуя за ней, прошли в небольшую комнату, где было тесно от сундуков и плохой, но чистой мебели. Девочка исчезла, не обратив больше на нас никакого внимания, в другую дверь и с треском захлопнула ее. Мы стояли, сложив руки, с естественным напряжением. За скрывшей эту особу дверью послышалось падение стула или похожего на стул, звон, какой слышен при битье посуды, яростное «черт побери эти крючки», и, после некоторого резкого громохання, внезапно вошла очень стройная девушка, с встревоженным улыбающимся лицом, обильной прической и блистающими заботой, нетерпеливыми, ясными черными глазами, одетая в тонкое шелковое платье прекрасного сиреневого оттенка, туфли и бледно-зеленые чулки. Это была все та же босая девочка с утюгом, но я должен был теперь признать, что она девушка.

— Молли— это я,— сказала она недоверчиво, но не удержимо улыбаясь,— скажите все сразу, потому что я очень волнуюсь, хотя по моему лицу этого никогда не заметят.

Я смутился, так как в таком виде она мне очень понравилась.

— Так вы догадались,— сказал Дюрок, садясь, как сели мы все.— Я— Джон Дюрок, могу считать себя действительным другом человека, которого назовем сразу: Ганувер. Со мной мальчик... то есть просто один хороший Санди, которому я доверяю.

Она молчала, смотря прямо в глаза Дюрока и беспокойно двигаясь. Ее лицо дергалось. Подождав, Дюрок продолжал:

— Ваш роман, Молли, должен иметь хороший конец. Но происходят тяжелые и непонятные вещи. Я знаю о золотой цепи...

— Лучше бы ее не было,— вскричала Молли.— Вот уж, именно, тяжесть; я уверена, что от нее— все!

— Санди,— сказал Дюрок,— сходи взглянуть, не плывет ли лодка Эстампа.

Я встал, задев ногой стул, с тяжелым сердцем, так как слова Дюрока намекали очень ясно, что я мешаю. Выходя, я столкнулся с молодой женщиной встревоженного вида, которая, едва взглянув на меня, уставилась на Дюрока. Уходя, я слышал, как Молли сказала: «Моя сестра Арколь».

Итак, я вышел на середине недопетой песни, начинавшей действовать обаятельно, как все, связанное с тоской и любовью, да еще в лице такой прелестной стрелы, как та девушка, Молли. Мне стало жалко себя, лишенного участия в этой истории, где я был у всех под рукой, как перочинный ножик — его сложили и спрятали. И я, имея оправдание, что не преследовал никаких дурных целей, степенно обошел дом, увидел со стороны моря раскрытое окно, признал узор занавески и сел под ним спиной к стене, слыша почти все, что говорилось в комнате.

Разумеется, я пропустил много, пока шел, но был вознагражден тем, что услышал дальше. Говорила, очень нервно и горячо, Молли:

— Да, как он приехал? Но что за свидания?! Всего-то и виделись мы семь раз, фф-у-у! Надо было привезти меня немедленно к себе. Что за отсрочки?! Из-за этого меня проследили и окончательно все стало известно. Знаете, эти мысли, то есть критика, приходят, когда задумаешься обо всем. Теперь еще у него живет красавица, — ну и пусть живет и не смей меня звать!

Дюрок засмеялся, но невесело.

— Он сильно пьет, Молли, — сказал Дюрок, — и пьет потому, что получил ваше окончательное письмо. Должно быть, оно не оставляло ему надежды. Красавица, о которой вы говорите, — гостья. Она, как мы думаем, просто скукающая молодая женщина. Она приехала из Индии с братом и приятелем брата; один — журналист, другой, кажется, археолог. Вы знаете, что представляет дворец Ганувара. О нем пошел далеко слух, и эти люди явились взглянуть на чудо архитектуры. Но он оставил их жить, так как не может быть один — совсем один. Молли, сегодня... в двенадцать часов... вы дали слово три месяца назад...

— Да, и я его забрала обратно.

— Слушайте, — сказала Арколь, — я сама часто не знаю, чему верить. Наши братцы работают ради этого подлеца Лемарена. Вообще мы в семье распались. Я жила долго в Риоле, где у меня было другое общество, да, получ-

ше компании Лемарена. Что же, служила и все такое, была еще помощницей садовника. Я ушла, навсегда ушла душой от Пустыря. Этого не вернешь. А Молли — Молли, бог тебя знает, Молли, как ты выросла на дороге и не затоптали тебя! Ну, я поберегла, как могла, девочку... Братцы работают, — два брата; который хуже, трудно сказать. Уж, наверно, не одно письмо было скрадено. И они вбили девушке в голову, что Ганувер с ней... не так чтобы очень хорошо. Что у него есть любовницы, что его видели там и там в распутных местах. Надо знать мрачность, в которую она впадает, когда слышит такие вещи!

— Лемарен? — сказал Дюрок. — Молли, кто такой Лемарен?

— Негодяй! Я ненавижу его!

— Верьте мне, хоть стыдно в этом признаться, — продолжала Арколь, — что у Лемарена общие дела с нашими братьями. Лемарен — хулиган, гроза Пустыря. Ему приглянулась моя сестра, и он с ума сходит, больше от самолюбия и жадности. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Все сложилось скверно, как нельзя хуже. Вот наша семья: отец в тюрьме за хорошие дела, один брат тоже в тюрьме, а другой ждет, когда его посадят. Ганувер четыре года назад оставил деньги, — я знала только, кроме нее, у кого они; это ведь ее доля, которую она согласилась взять, — но, чтобы хоть как-нибудь пользоваться ими, приходилось все время выдумывать предлоги — поездки в Риоль, — то к тетке, то к моим подругам и так далее. На глазах нельзя было нам обнаружить ничего: заколотят и отберут. Теперь Ганувер приехал и его видели с Молли, стали за ней следить, перехватили письмо. Она вспылчива. На одно слово, что ей было сказано тогда, она ответила, как это она умеет: «Люблю, да, и подите к черту!» Вот тут перед ними и мелькнула нажива. Брат сдуру открыл мне свои намерения, надеясь меня привлечь: отдать девушку Лемарену, чтобы он запугал ее, подчинил себе, а потом — Гануверу, и тянуть деньги, много денег, как от рабыни. Жена должна была обирать мужа ради любовника. Я все рассказала Молли. Ее согнуть нелегко, но добыча была заманчива. Лемарен прямо объявил, что убьет Ганувера в случае брака. Тут началась грязь — сплетни, и угрозы, и издевательства, и упреки, и я должна была с боем взять Молли к себе, когда получила место в этом бордингаузе, место смотрительницы.

Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Одним словом — кумир дур. Приятели его подражают ему в манерах и одежде. Общие дела с братцами. Плохие эти дела! Мы даже не знаем точно, какие дела... только если Лемарен сядет в тюрьму, то и семейство наше уменьшится на оставшегося брата. Молли, не плачь! Мне так стыдно, так тяжело говорить вам все это! Дай мне платок. Пустяки, не обращайтесь внимания. Это сейчас пройдет.

— Но это очень грустно, — все, что вы говорите, — скавал Дюрок. — Однако я без вас не вернусь, Молли, потому, что за этим я и приехал. Медленно, очень медленно, но верно Ганувер умирает. Он окружил свой конец пьяным туманом, ночной жизнью. Заметьте, что не уверенными, уже дрожащими шагами дошел он к сегодняшнему дню, как и назначил — дню торжества. И он все сделал для вас, как было то в ваших мечтах, на берегу. Все это я знаю и очень всем расстроен, потому что люблю этого человека.

— А я — я не люблю его?! — пылко сказала девушка. — Скажите «Ганувер» и приложите руку мне к сердцу! Там — любовь! Одна любовь! Приложите! Ну — слышите? Там говорит — «да», всегда «да»! Но я говорю «нет»!

При мысли, что Дюрок прикладывает руку к ее груди, у меня самого сильно забилося сердце. Вся история, отдельные черты которой постепенно я узнавал, как бы складывалась на моих глазах из утреннего блеска и ночных тревог, без конца и начала, одной смутной сценой. Впоследствии я узнал женщин и уразумел, что девушка семнадцати лет так же хорошо разбирается в обстоятельствах, поступках людей, как лошадь в арифметике. Теперь же я думал, что если она так сильно противится и огорчена, то, вероятно, права.

Дюрок сказал что-то, чего я не разобрал. Но слова Молли все были ясно слышны, как будто она выбрасывала их в окно и они падали рядом со мной.

— ...вот как все сложилось несчастно. Я его, как он уехал, два года не любила, а только вспоминала очень тепло. Потом я опять начала любить, когда получила письмо, потом много писем. Какие же это были хорошие письма! Затем — подарок, который надо, знаете, хранить так, чтобы не увидели, — такие жемчужины...

Я встал, надеясь заглянуть внутрь и увидеть, что она там показывает, как был поражен неожиданным шествием

ко мне Эстампа. Он брел от берегов выступа, разгоряченный, утирая платком пот, и, увидев меня, еще издали покачал головой, внутренне осев; я подошел к нему, не очень довольный, так как потерял,— о, сколько я потерял и волнующих слов и подарков!—прекратилось мое невидимое участие в истории Молли.

— Вы подлецы!—сказал Эстамп.— Вы меня оставили удить рыбу. Где Дюрок?

— Как вы нашли нас?—спросил я.

— Не твое дело. Где Дюрок?

— Он — там!—Я проглотил обиду, так я был обезоружен его гневным лицом.— Там они, трое: он, Молли и ее сестра.

— Веди!

— Послушайте,—возразил я скрепя сердце,— можете вызвать меня на дуэль, если мои слова будут вам обидны, но, знаете, сейчас там самый разгар. Молли плачет, и Дюрок ее уговаривает.

— Так,—сказал он, смотря на меня с проступающей понемногу улыбкой.— Уже подслушал! Ты думаешь, я не вижу, что ямы твоих сапогов идут прямехонько от окна? Эх. Санди, капитан Санди, тебя нужно бы прозвать не «Я все знаю», а «Я все слышу!».

Сознавая, что он прав, я мог только покраснеть.

— Не понимаю, как это случилось,—продолжал Эстамп,— что за одни сутки мы так прочно очутились в твоих лапах?! Ну, ну, я пошутил. Веди, капитан! А что эта Молли — хорошенькая?

— Она...—сказал я.— Сами увидите.

— То-то! Ганувер не дурак.

Я пошел к заветной двери, а Эстамп постучал. Дверь открыла Арколь.

Молли вскочила, поспешно вытирая глаза. Дюрок встал.

— Как?—сказал он.— Вы здесь?

— Это свинство с вашей стороны,—начал Эстамп, кланяясь дамам и лишь мельком взглянув на Молли, но тотчас улыбнулся, с ямочками на щеках, и стал говорить очень серьезно и любезно, как настоящий человек. Он называл себя, выразил сожаление, что помешал разговаривать, и объяснил, как нашел нас.

— Те же дикари,—сказал он,— которые пугали вас на берегу, за пару золотых монет весьма охотно продали мне

нужные сведения. Естественно, я был обозлен, соскучился и вступил с ними в разговор: здесь, по-видимому, все знают друг друга или кое-что знают, а потому ваш адрес, Молли, был мне сообщен самым толковым образом. Я вас прошу не беспокоиться,—прибавил Эстамп, видя, что девушка вспыхнула,—я сделал это как тонкий дипломат. Двинулось ли наше дело, Дюрок?

Дюрок был очень взволнован. Молли вся дрожала от возбуждения, ее сестра улыбалась насильно, стараясь искусственно спокойным выражением лица внести тень мира в пылкий перелет слов, затронувших, по-видимому, все самое важное в жизни Молли.

Дюрок сказал:

— Я говорю ей, Эстамп, что, если любовь велика, все должно умолкнуть, все другие соображения. Пусть другие судят о наших поступках как хотят, если есть это вечное оправдание. Ни разница положений, ни состояние не должны стоять на пути и мешать. Надо верить тому, кого любишь,—сказал он,—нет высшего доказательства любви. Человек часто не замечает, как своими поступками он производит невыгодное для себя впечатление, не желая в то же время сделать ничего дурного. Что касается вас, Молли, то вы находитесь под вредным и сильным внушением людей, которым не поверили бы ни в чем другом. Они сумели повернуть так, что простое дело соединения вашего с Ганувером стало делом сложным, мутным, обильным неприятными последствиями. Разве Лемарен не говорил, что убьет его? Вы сами это сказали. Находясь в кругу мрачных впечатлений, вы приняли кошмар за действительность. Много помогло здесь и то, что все пошло от золотой цепи. Вы увидели в этом начало рока и боитесь конца, рисующегося вам в подавленном состоянии вашем, как ужасная неизвестность. На вашу любовь легла грязная рука, и вы боитесь, что эта грязь окрасит собой все. Вы очень молоды, Молли, а человеку молодому, как вы, довольно иногда созданного им самим призрака, чтобы решить дело в любую сторону, а затем — легче умереть, чем признаться в ошибке.

Девушка начала слушать его с бледным лицом, затем раскраснелась и просидела так, вся красная, до конца.

— Не знаю, за что он любит меня,—сказала она.— О, говорите, говорите еще! Вы так хорошо говорите! Меня

надо помнить, умягчить, тогда все пройдет. Я уже не боюсь. Я верю вам! Но говорите, пожалуйста!

Тогда Дюрок стал передавать силу своей души этой запуганной, стремительной, самолюбивой и угнетенной девушке.

Я слушал — и каждое его слово запоминал навсегда, но не буду приводить всего, иначе на склоне лет опять ярко припомню этот час, и, наверно, разыграется мигрень.

— Если даже вы принесете ему несчастье, как уверены в том, — не бойтесь ничего, даже несчастья, потому что это будет общее ваше горе, и это горе — любовь.

— Он прав, Молли, — сказал Эстамп, — тысячу раз прав. Дюрок — золотое сердце!

— Молли, не упрямясь больше, — сказала Арколь, — тебя ждет счастье!

Молли как бы очнулась. В ее глазах заиграл свет, она встала, потеряла лоб, заплакала, пальцами прикрывая лицо, но скоро махнула рукой и стала смеяться.

— Вот мне и легче, — сказала она, сморкаясь. — О, что это?! Ф-фу-у-у, точно солнце взошло! Что же это было за наваждение? Мрак какой! Я и не понимаю теперь. Едем скорей! Арколь, ты меня пойми! Я ничего не понимала, и вдруг — ясное зрение.

— Хорошо, хорошо, не волнуйся, — ответила сестра. — Ты будешь собираться?

— Немедленно соберусь! — Она осмотрелась, бросилась к сундуку и стала вынимать из него куски разных материй, кружева, чулки и завязанные пакеты; не прошло и минуты, как вокруг нее валялась груда вещей. — Еще и не сшила ничего! — сказала она горестно. — В чем я поеду?

Эстамп стал уверять, что ее платье ей к лицу и что так хорошо. Не очень довольная, она хмуро прошла мимо нас, что-то ища, но когда ей поднесли зеркало, развеселилась и примирилась. В это время Арколь спокойно свертывала и укладывала все, что было разбросано. Молли, задумчиво посмотрев на нее, сама подобрала вещи и обняла молча сестру.

Х

— Я знаю... — сказал голос за окном; шаги нескольких людей, удаляясь, огибали угол.

— Только бы не они, — сказала, вдруг побледнев и бросаясь к дверям, Арколь. Молли, закусив губы, смотрела

на нее и на нас. Взгляд Эстампа Дюроку вызвал ответ последнего: «Это ничего, нас трое». Едва он сказал, по двери ударили кулаком, — я, бывший к ней ближе других, открыл и увидел молодого человека небольшого роста, в щегольском летнем костюме. Он был коренаст, с бледным, плоским, даже тощим лицом, но выражение нелепого превосходства в тонких губах под черными усиками и в резких черных глазах было необыкновенно крикливым. За ним шли Варрен и третий человек — толстый, в грязной блузе, с шарфом вокруг шеи. Он шумно дышал, смотрел, выпучив глаза, и войдя, сунул руки в карманы брюк, став как столб.

Все мы продолжали сидеть, кроме Арколь, которая подошла к Молли. Став рядом с ней, она бросила Дюроку отчаянный умоляющий взгляд.

Новоприбывшие были заметно навеселе. Ни одним взглядом, ни движением лица не обнаружили они, что, кроме женщин, есть еще мы; даже не посмотрели на нас, как будто нас здесь совсем не было. Разумеется, это было сделано умышленно.

— Вам нужно что-нибудь, Лемарен? — сказала Арколь, стараясь улыбнуться. — Сегодня мы очень заняты. Нам надо пересчитать белье, сдать его, а потом ехать за провизией для матросов. — Затем она обратилась к брату, и это было одно слово: — Джон!

— Я с вами поговорю, — сказал Варрен. — Что же, нам и сесте негде?!

Лемарен, подбоченясь, взмахнул соломенной шляпой. Его глаза с острой улыбкой были обращены к девушке.

— Привет, Молли! — сказал он. — Прекрасная Молли, сделайте милость, обратите внимание на то, что я пришел навестить вас в вашем уединении. Взгляните, — это я!

Я видел, что Дюрок сидит, опустив голову, как бы безучастно, но его колено дрожало, и он почти незаметно удерживал его ладонью руки. Эстамп приподнял брови, отошел и смотрел сверху вниз на бледное лицо Лемарена.

— Убирайся! — сказала Молли. — Ты довольно преследовал меня! Я не из тех, к кому ты можешь протянуть лапу. Говорю тебе прямо и начистоту — я более не стерплю! Уходи!

Из ее черных глаз разлетелась по комнате сила отчаянного сопротивления. Все это почувствовали. Почувствовал

это и Лемарен, так как широко раскрыл глаза, смигнул и, нескладно улыбаясь, повернулся к Варрену.

— Каково?— сказал он.— Ваша сестра сказала мне дерзость, Варрен. Я не привык к такому обращению, клянусь костылями всех калек этого дома. Вы пригласили меня в гости, и я пришел. Я пришел вежливо,— не с худой целью. В чем тут дело, я спрашиваю?

— Дело ясное,— сказал, глухо крикнув, толстый человек, ворочая кулаки в карманах брюк.— Нас выставляют.

— Кто вы такой?— рассердилась Арколь. По наступательному выражению ее кроткого даже в гневе лица я видел, что и эта женщина дошла до предела.— Я не знаю вас и не приглашала. Это мое помещение, я здесь хозяйка. Потрудитесь уйти!

Дюрок поднял голову и взглянул Эстампу в глаза. Смысл взгляда был ясен. Я поспешил захватить плотнее револьвер, лежавший в моем кармане.

— Добрые люди,— сказал, посмеиваясь, Эстамп,— вам лучше бы удалиться, так как разговор в этом тоне не доставляет решительно никому удовольствия.

— Слышу птицу!— воскликнул Лемарен, мельком взглядывая на Эстампа и тотчас обращаясь к Молли.— Это вы заводите чижигов, Молли? А есть у вас канареечное семя, а? Ответьте, пожалуйста!

— Не спросить ли моего утреннего гостя,— сказал Варрен, выступая вперед и становясь против Дюрока, неохотно вставшего навстречу ему.— Может быть, этот господин соизволит объяснить, почему он здесь, у моей, черт побери, сестры?!

— Нет, я не сестра твоя!— сказала, словно бросила тяжкий камень, Молли.— А ты не брат мне! Ты — второй Лемарен, то есть подлец!

И, сказав так, вне себя, в слезах, с открытым, страшным лицом, она взяла со стола книгу и швырнула ее в Варрена.

Книга, порхнув страницами, ударила его по нижней губе, так как он не успел прикрыться локтем. Все ахнули. Я весь горел, чувствуя, что отлично сделано, и готов был палить во всех.

— Ответит этот господин,— сказал Варрен, указывая пальцем на Дюрока и растирая другой рукой подбородок, после того, как вдруг наступившее молчание стало невыносимо.

— Он переломает тебе все кости!— вскричал я,— а я пробью твою мишень, как только...

— Как только я уйду,— сказал вдруг сзади низкий, мрачный голос, столь громкий, несмотря на рокошущий тембр, что все сразу оглянулись.

Против двери, твердо и широко распахнув ее, стоял человек с седыми баками и седой копной волос, разлетевшихся, как сено на вихах. Он был без руки,— один рукав матросской куртки висел; другой, засученный до локтя, обнажал коричневую пружину мускулов, оканчивающихся мощной пятерней с толстыми пальцами. В этой послужившей на своем веку мускульной машине человек держал пустую папиросную коробку. Его глаза, глубоко запрятанные среди бровей, складок и морщин, цедили тот старческий блестящий взгляд, в котором угадываются и отличная память и тонкий слух.

— Если сцена,— сказал он, входя,— то надо закрывать дверь. Кое-что я слышал. Мамаша Арколь, будьте добры дать немного толченого перцу для рагу. Рагу должно быть с перцем. Будь у меня две руки,— продолжал он в том же спокойном деловом темпе,— я не посмотрел бы на тебя, Лемарен, и вбил бы тебе этот перец в рот. Разве так обращаются с девушкой?

Едва он проговорил это, как толстый человек сделал движение, в котором я ошибиться не мог: он вытянул руку ладонью вниз и стал отводить ее назад, намереваясь ударить Эстампа. Быстрее его я протянул револьвер к глазам негодяя и нажал спуск, но выстрел, толкнув руку, увел пулю мимо цели.

Толстяка отбросило назад, он стукнулся об этажерку и едва не свалил ее. Все вздрогнули, разбежались и оцепенели; мое сердце колотилось, как гром. Дюрок с наименьшей быстротой направил дуло в сторону Лемарена, а Эстамп прицелился в Варрена.

Мне не забыть безумного испуга в лице толстого хулигана, когда я выстрелил. Тут я понял, что игра временно остается за нами.

— Нечего делать,— сказал, бессильно поводя плечами, Лемарен.— Мы еще не приготовились. Ну, берегитесь! Ваша взяла! Только помните, что подняли руку на Лемарена. Идем, Босс! Идем, Варрен! Встретимся еще как-нибудь с ними, отлично увидимся. Прекрасной Молли привет! Ах, Молли, красotka Молли!

Он проговорил это медленно, холодно, вертя в руках шляпу и взглядывая то на нее, то на всех нас по очереди. Варрен и Босс молча смотрели на него.

Он мигнул им; они вылезли из комнаты один за другим, останавливаясь на пороге; оглядываясь, они выразительно смотрели на Дюрока и Эстампа, прежде чем скрыться. Последним выходил Варрен. Останавливаясь, он поглядел и сказал:

— Ну, смотри, Арколь! И ты, Молли!

Он прикрыл дверь. В коридоре шептались, затем, быстро прозвучав, шаги утихли за домом.

— Вот,— сказала Молли, бурно дыша.— И все, и ничего более. Теперь надо уходить. Я уйду, Арколь. Хорошо, что у вас пули.

— Правильно, правильно и правильно!— сказал инвалид.— Такое поведение я одобряю. Когда был бунт на «Альдесте», я открыл такую пальбу, что все легли брюхом вниз. Теперь что же? Да, я хотел перцу для...

— Не вздумайте выходить,— быстроговорила Арколь.— Они караулят. Я не знаю, как теперь поступить.

— Не забудьте, что у меня есть лодка,— сказал Эстамп,— она очень недалеко. Ее не видно отсюда, и я поэтому за нее спокоен. Будь мы без Моли...

— Она?— сказал инвалид Арколь, устремляя указательный палец в грудь девушке.

— Да, да, надо уехать.

— Ее?— повторил матрос.

— О, какой вы непонятливый, а еще...

— Туда?— Инвалид махнул рукой за окно.

— Да, я должна уехать,— сказала Молли,— вот придумайте,— ну, скорее, о боже мой!

— Такая же история была на «Гренаде» с юнгой; да, вспомнил. Его звали Санди. И он...

— Я— Санди,— сказал я, сам не зная зачем.

— Ах, и ты тоже Санди? Ну, милочка, какой же ты хороший, ревун мой. Послужи, послужи девушке! Ступайте с ней. Ступай, Молли. Он твоего роста. Ты дашь ему юбку и— ну, скажем, платьишко, чтобы закусать то место, где лет через десять вырастет борода. Юбку дашь приметную, такую, в какой тебя видали и помнят. Поняла? Ступай, скройся и переряди человека, который сам сказал, что его зовут Санди. Ему будет дверь, тебе окно. Все!

— В самом деле,— сказал, помолчав, Дюрок,— это, пожалуй, лучше всего.

— Ах, ах!— воскликнула Молли, смотря на меня со смехом и жалостью.— Как же он теперь? Нельзя ли иначе?— Но полное одобрение слышалось в ее голосе, несмотря на притворные колебания.

— Ну, что же, Санди?— Дюрок положил мне на плечо руку.— Решай! Нет ничего позорного в том, чтобы подчиниться обстоятельствам,—нашим обстоятельствам. Теперь все зависит от тебя.

Я воображал, что иду на смерть, пасть жертвой за Ганувера и Молли, но умереть в юбке казалось мне ужасным концом. Хуже всего было то, что я не мог отказаться; меня ждал, в случае отказа, моральный конец, горший смерти. Я подчинился с мужеством растоптанного стыда и смирился перед лицом рока, смотревшего на меня нежными черными глазами Молли. Тотчас произошло заклание. Худо понимая, что делается кругом, я вошел в комнату рядом и, слыша, как стучит мое опозоренное сердце, стал, подобно марионетке, неподвижно и глупо. Руки отказывались бороться с завязками и пуговицами. Чрезвычайная быстрота четырех женских рук усыпила и ошеломила меня. Я чувствовал, что смешон и велик, что я — герой и избавитель, кукла и жертва. Маленькие руки поднесли мне зеркало; на голове очутился платок, и, так как я не знал, что с ним делать, Молли взяла мои руки и забрала их вместе с платком под подбородком, тряся, чтобы я понял, как прикрывать лицо. Я увидел в зеркале искаженное расстройством подобие себя и не признал его. Наконец тихий голос сказал: «Спасибо тебе, душечка!»— и крепкий поцелуй в щеку вместе с легким дыханием дал понять, что этим Молли вознаграждает Санди за отсутствие у него усов.

После того все пошло как по маслу, меня быстро вытолкнули к обществу мужчин, от которого я временно отказался. Наступило глубокое, унижительное молчание. Я не смел поднять глаз и направился к двери, слегка путаясь в юбке; я так и ушел бы, но Эстамп окликнул меня:

— Не торопись, я пойду с тобой,— нагнав меня у самого выхода, он сказал:

— Иди быстрым шагом по той тропинке, так скоро, как можешь, будто торопишься изо всех сил, держи лицо

прикрытым и не оглядываясь; выйдя на дорогу, поверни вправо, к Сигнальному Пустырю. А я пойду сзади.

Надо думать, что приманка была хороша, так как, едва прошел я две-три лужайки среди светлого леса, невольно входя в роль и прижимая локти, как делают женщины, когда спешат, как в стороне послышались торопливые голоса.

Шаги Эстампа я слышал все время позади, близко от себя. Он сказал: «Ну, теперь беги, беги во весь дух!» Я полетел вниз с холма, ничего не слыша, что сзади, но, когда спустился к новому подъему, раздались крики:— «Молли! Стой, или будет худо!»—это кричал Варрен. Другой крик, Эстампа, тоже приказывал стоять, хотя я и не был назван по имени. Решив, что дело сделано, я остановился, повернувшись лицом к действию.

На разном расстоянии друг от друга по дороге двигались три человека,— ближайший ко мне был Эстамп,— он отступал в полуоборот к неприятелю. К нему бежал Варрен, за Варреном, отстав от него, спешил Босс. «Стойте!»—сказал Эстамп, целясь в последнего. Но Варрен продолжал двигаться, хотя и тише. Эстамп дал выстрел. Варрен остановился, нагнулся и ухватился за ногу.

— Вот как пошло дело!—сказал он, в замешательстве оглядываясь на подбегающего Босса.

— Хватай ее!—крикнул Босс. В тот же момент обе мои руки были крепко схвачены сзади, выше локтя, и с силой отведены к спине, так что, рванувшись, я ничего не выиграл, а только повернул лицо назад, взглянуть на вцепившегося в меня Лемарена. Он обошел лесом и пересек путь. При этих движениях платок свалился с меня. Лемарен уже сказал:—«Мо...»,—но, увидев, кто я, был так поражен, так взбешен, что, тотчас отпустив мои руки, замахнулся обоими кулаками.

— Молли, да не та!—вскричал я злорадно, рухнув ниц и со всей силой ударив его головой между ног, в самом низу—прием вдохновения. Он завопил и свалился через меня. Я на бегу разорвал пояс юбки и выскочил из нее, потом, отбежав, стал трясти ею, как трофеем.

— Оставь мальчишку,—закричал Варрен,—а то она удерет! Я знаю теперь: она побежала наверх, к матросам. Там что-нибудь подготовили. Брось все! Я ранен!

Лемарен не был так глуп, чтобы лезть на человека с револьвером, хотя бы этот человек держал в одной руке

только что скинутую юбку: револьвер был у меня в другой руке, и я собирался пустить его в дело, чтобы отразить нападение. Оно не состоялось — вся троица понеслась обратно, грозя кулаками. Варрен хромот сзади. Я еще не опомнился, но уже видел, что отделаюсь дешево. Эстамп подошел ко мне с бледным и серьезным лицом.

— Теперь они постоят у воды, — сказал он, — и будут, так же, как нам, грозить кулаками боту. По воде не пойдешь. Дюрок, конечно, успел сесть с девушкой. Какая история! Ну, впишем еще страницу в твои подвиги и... свернем-ка на всякий случай в лес!

Разгоряченный, изрядно усталый, я свернул юбку и платок, намереваясь сунуть их где-нибудь в куст, потому что, как ни блистательно я вел себя, они напоминали мне, что, условно, не по-настоящему, на полчаса, — но я был все же женщиной. Мы стали пересекать лес вправо, к морю, спотыкаясь среди камней, заросших папоротником. Поотстав, я приметил два камня, сошедшихся сверху краями, и сунул меж них ненатуральное одеяние, от чего пришел немедленно в наилучшее расположение духа.

На нашем пути встретился озаренный пригорок. Тут Эстамп лег, вытянул ноги и облокотился, положив на ладонь щеку.

— Садись, — сказал он. — Надо передохнуть. Да, вот это дело!

— Что же теперь будет? — осведомился я, садясь по-турецки и раскуривая с Эстампом его папиросы. — Как бы не произошло нападение?!

— Какое нападение?!

— Ну, знаете... У них, должно быть, большая шайка. Если они захотят отбить Молли и соберут человек сто...

— Для этого нужны пушки, — сказал Эстамп, — и еще, пожалуй, бесплатные места полицейским в качестве зрителей.

Естественно, наши мысли вертелись вокруг горячих утренних происшествий, и мы перебрали все, что было, со всеми подробностями, соображениями, догадками и особо картинными моментами. Наконец мы подошли к нашим впечатлениям от Молли; почему-то этот разговор замялся, но мне все-таки хотелось знать больше, чем то, чему был я свидетелем. Особенно меня волновала мысль о Дигэ. Эта таинственная женщина непременно возникала в моем уме, как только я вспоминал Молли. Об этом я его и спросил.

— Хм...— сказал он.— Дигэ... О, это задача! — И он погрузился в молчание, из которого я не мог извлечь его никаким покашливанием.

— Известно ли тебе,— сказал он наконец, после того как я решил, что он совсем задремал,— известно ли тебе, что эту траву едят собаки, когда заболеют бешенством?

Он показал острый листок, но я был очень удивлен его глубокомысленным тоном и ничего не сказал. Затем, в молчании, усталые от жары и друг от друга, мы выбрались к морской полосе, пришли на пристань и наняли лодочника. Никто из наших врагов не караулил нас здесь, поэтому мы благополучно переехали залив и высадились в стороне от дома. Здесь был лес, а дальше шел огромный, отлично расчищенный сад. Мы шли садом. Аллеи были пусты. Эстамп провел меня в дом через одну из боковых арок, затем по чрезвычайно путаной, сурового вида лестнице, в большую комнату с цветными стеклами. Он был заметно не в духе, и я понял отчего, когда он сказал про себя: «Дьявольски хочу есть». Затем он позвонил, приказал слуге, чтобы тот отвел меня к Попу, и, еле передвигая ноги, я отправился через блестящие недра безлюдных стен в настоящее путешествие к библиотеке. Здесь слуга бросил меня. Я постучал и увидел Попа, беседующего с Дюроком.

XII

Когда я вошел, Дюрок доканчивал свою речь. Не помню, что он сказал при мне. Затем он встал и в ответ многочисленным молчаливым кивкам Попа протянул ему руку. Рукопожатие сопровождалось твердыми улыбками с той и другой стороны.

— Как водится, герою уступают место и общество,— сказал мне Дюрок,— теперь, Санди, посвяти Попа во все драматические моменты. Вы можете ему довериться,— обратился он к Попу,— этот ма... человек сущий клад в таких положениях. Прощайте! Меня ждут.

Мне очень хотелось спросить, где Молли и давно ли Дюрок вернулся, так как хотя из этого ничего не вытекало, но я от природы любопытен во всем. Однако на что я решился бы под открытым небом, на то не решался здесь, по стеснительному чувству чужого среди высоких потолков и прекрасных вещей, имеющих свойство оттеснять непривычного в его духовную раковину.

Все же я надеялся много узнать от Попа.

— Вы устали и, наверное, голодны?— сказал Поп.— В таком случае пригласите меня к себе, и мы с вами позавтракаем. Уже второй час.

— Да, я приглашаю вас,— сказал я, малость недоумевая, чем могу угостить его, и не зная, как взяться за это, но не желая уступать никому ни в тоне, ни в решительности.— В самом деле, идем, стрескаем, что дадут.

— Прекрасно, с т р е с к а е м,— подхватил он с непередаваемой интонацией редкого иностранного слова,— но вы не забыли, где ваша комната?

Я помнил и провел его в коридор, второй дверью налево. Здесь, к моему восхищению, повторилось то же, что у Дюрока: потянув шнур, висевший у стены, сбоку стола, мы увидели, как откинулась в простенке меж окон металлическая доска и с отверстием поравнялась никелевая плоскость, на которой были вино, посуда и завтрак. Он состоял из мясных блюд, фруктов и кофе. Для храбрости я выпил полный стакан вина, и, отделившись таким образом от стеснения, стал есть, будучи почти пьян.

Поп ел мало и медленно, но вина выпил.

— Сегодняшний день,— сказал он,— полон событий, хотя все главное еще впереди. Итак, вы сказали, что произошла схватка?

Я этого не говорил, и сказал, что не говорил.

— Ну, так скажете,— произнес он с милой улыбкой.— Жестко держать меня в таком нетерпении.

Теперь происшедшее казалось мне не довольно поразительным, и я взял самый высокий тон.

— При высадке на берегу дело пошло на ножи,— сказал я и развил этот самостоятельный текст в виде прыжков, беганья и рычания, но никого не убил. Потом я сказал: — Когда явился Варрен и его друзья, я дал три выстрела, ранив одного негодяя...— Этот путь оказался скользким, заманчивым; чувствуя, должно быть, от вина, что я и Поп как будто описываем вокруг комнаты нарез, я хватил самое яркое из утренней эпопеи:

— Давайте, Молли,— сказал я,— устроим так, чтобы я надел ваше платье и обманул врагов, а вы за это меня поцелуете. И вот...

— Санди, не пейте больше вина, прошу вас,— мягко перебил Поп.— Вы мне расскажете потом, как все это у вас

там произошло, тем более, что Дюрок, в общем, уж рассказывал.

Я встал, засунул руки в карманы и стал смеяться. Меня заливало блаженством. Я чувствовал себя Дюроком и Ганнувером. Я вытащил револьвер и пытался прицелиться в шарик кровати. Поп взял меня за руку и усадил, сказав: — Выпейте кофе, а еще лучше, закурите.

Я почувствовал во рту папиросу, а перед носом увидел чашку и стал жадно пить черный кофе. После четырех чашек винтообразный нарез вокруг комнаты перестал увлекать меня, в голове стало мутно и глупо.

— Вам лучше, надеюсь?

— Очень хорошо,— сказал я,— и, чем скорее вы приступите к делу, тем будет лучше.

— Нет, выпейте, пожалуйста, еще одну чашку.

Я послушался его и, наконец, стал чувствовать себя прочно сидящим на стуле.

— Слушайте, Санди, и слушайте внимательно. Надеюсь, вам теперь хорошо?

Я был страшно возбужден, но разум и понимание вернулись.

— Мне лучше,— сказал я обычным своим тоном,— мне почти хорошо.

— Раз почти, следовательно, контроль на месте,— заметил Поп.— Я ужаснулся, когда вы налили себе целую купель этого вина, но ничего не сказал, так как не видел еще вас в единоборстве с напитками. Знаете, сколько этому вину лет? Сорок восемь, а вы обошлись с ним, как с водой. Ну, Санди, я теперь буду вам открывать секреты.

— Говорите, как самому себе!

— Я не ожидал от вас другого ответа. Скажите мне...— Поп откинулся к спинке стула и пристально взглянул на меня.— Да, скажите вот что: умеете вы лазить по дереву?

— Штука нехитрая,— ответил я,— я умею и лазить по нему, и срубить дерево, как хотите. Я могу даже спуститься по дереву головой вниз. А вы?

— О, нет,— застенчиво улыбнулся Поп,— я, к сожалению, довольно слаб физически. Нет, я могу вам только завидовать.

Уже я дал многие доказательства моей преданности, и было бы неудобно держать от меня в тайне общее положение дела, раз требовалось уметь лазить по дереву. По этим соображениям Поп,— как я полагаю,— рассказал многие

обстоятельства. Итак, я узнал, что позавчера утром разосланы телеграммы и письма с приглашениями на сегодняшнее торжество и соберется большое общество.

— Вы можете, конечно, догадаться о причинах,— сказал Поп,— если примете во внимание, что Ганувер всегда верен своему слову. Все было устроено ради Молли; он думает, что ее не будет, однако не считает себя вправе признать это, пока не пробило двенадцать часов ночи. Итак, вы догадываетесь, что приготовлен сюрприз?

— О, да,— ответил я,— я догадываюсь. Скажите, пожалуйста, где теперь эта девушка?

Он сделал вид, что не слышал вопроса, и я дал себе клятву не спрашивать об этом предмете, если он так явно вызывает молчание. Затем Поп перешел к подозрениям относительно Томсона и Галуэя.

— Я наблюдаю их две недели,— сказал Поп,— и, надо вам сказать, что я имею аналитический склад ума, благодаря чему установил стиль этих людей. Но я допустил ошибку. Поэтому, экстренно вызвав телеграммой Дюрока и Эстампа, я все-таки был не совсем уверен в точности своих подозрений. Теперь дело ясно. Все велось и ведется тайно. Сегодня, когда вы отправились в экспедицию, я проходил мимо аквариума, который вы еще не видели, и застал там наших гостей, всех троих. Дверь в стеклянный коридор была полуоткрыта, и в этой части здания вообще почти никогда никто не бывает, так что я появился незамеченным. Томсон сидел на диванчике, покачивая ногой; Дигэ и Галуэй стояли у одной из витрин. Их руки были опущены и сплетены пальцами. Я отступил. Тогда Галуэй нагнулся и поцеловал Дигэ в шею.

— Ага! — вскричал я.— Теперь я все понимаю. Значит, он ей не брат?!

— Вы видите,— продолжал Поп, и его рука, лежавшая на столе, стала нервно дрожать. Моя рука тоже лежала на столе и так же задрожала, как рука Попа. Он нагнулся и, широко раскрыв глаза, произнес: — Вы понимаете? Клянусь, что Галуэй ее любовник, и мы даже не знаем, чем рисковал Ганувер, попав в такое общество. Вы видели золотую цепь и слышали, что говорилось при этом! Что делать?

— Очень просто,— сказал я.— Немедленно донести Гануверу, и пусть он отправит всех их вон в десять минут!

— Вначале я так и думал, но, размыслив о том с Дюроком, пришел вот к какому заключению: Ганувер мне про-

сто-напросто не поверит, не говоря уже о всей щекотливости такого объяснения.

— Как же он не поверит, если вы это видели?

— Теперь я уже не знаю, видел ли я,— сказал Поп,— то есть видел ли так, как это было. Ведь это ужасно серьезное дело. Но довольно того, что Ганувер может усомниться в моем зрении. А тогда — что? Или я представляю, что я сам смотрю на Дигэ глазами и расстроенной душой Ганувера, — что же, вы думаете, я окончательно и вдруг поверю истории с поцелуем?

— Это правда,— сказал я, сообразив все его доводы.— Ну, хорошо, я слушаю вас.

Поп продолжал:

— Итак, надо увериться. Если подозрение подтвердится,— а я думаю, что эти три человека принадлежат к высшему разряду темного мира,— то наш план — такой план есть — развернется ровно в двенадцать часов ночи. Если же далее не окажется ничего подозрительного, план будет другой.

— Я вам помогу в таком случае,— сказал я.— Я — ваш. Но вы, кажется, говорили что-то о дереве.

— Вот и дерево, вот мы и пришли к нему. Только это надо сделать, когда стемнеет.

Он сказал, что с одной стороны фасада растет очень высокий дуб, вершина которого поднимается выше третьего этажа. В третьем этаже, против дуба, расположены окна комнат, занимаемых Галуэем, слева и справа от него, в том же этаже, помещаются Томсон и Дигэ. Итак, мы уговорились с Попом, что я влезу на это дерево после восьми, когда все разойдутся готовиться к торжеству, и употреблю в дело таланты, так блестяще примененные мной под окном Молли.

После этого Поп рассказал о появлении Дигэ в доме. Выйдя в приемную на доклад о прибывшей издалека даме, желающей немедленно его видеть, Ганувер явился, ожидая услышать скрипучий голос благотворительницы лет сорока, с сильными жестами и блистающим, как ланцет, лорнетом, а вместо того встретил искусительницу Дигэ. Сквозь ее застенчивость светилось желание отстоять причуду всем пылом двадцати двух лет, сильнейшим, чем рассчитанное кокетство,— смесь трусости и задора, вызова и готовности расплакаться. Она объяснила, что слухи о замечательном доме проникли в Бенарес и не дали ей спать. Она и не бу-

дет спать, пока не увидит всего. Жизнь потеряла для нее цену с того дня, когда она узнала, что есть дом с исчезающими стенами и другими головоломными тайнами. Она богата и объездила земной шар, но такого пирожного еще не пробовала.

Дигэ сопровождал брат, Галуэй, лицо которого во время этой тирады выражало просьбу не осудить молодую жизнь, требующую повиновения каждому своему капризу. Закоренелый циник улыбнулся бы, рассматривая пленительное лицо со сказкой в глазах, сияющих всем и всюду. Само собой, она была теперь средневековой принцессой, падающей от изнеможения у ворот волшебного замка. За месяц перед этим Ганувер получил решительное письмо Молли, в котором она сообщала, что уезжает навсегда, не дав адреса, но он временно уже устал горевать — горе, как и счастливое настроение, находит волной. Поэтому все пахнущее свежей росой могло найти доступ к левой стороне его груди. Он и Галуэй стали смеяться. «Ровно через двадцать один день, — сказал Ганувер, — ваше желание исполнится, этот срок назначен не мной, но я верен ему. В этом вы мне уступите, тем более, что есть, на что посмотреть». Он оставил их гостить; так началось. Вскоре явился Томсон, друг Галуэя, которому тоже отвели помещение. Ничто не вызывало особенных размышлений, пока из отдельных слов, взглядов — неуловимой, но подозрительной психической эманации всех трех лиц — у Попа не создалось уверенности, что необходимо экстренно вызвать Дюрока и Эстампа.

Таким образом, в основу сцены приема Ганувером Дигэ был положен характер Ганувера — его вкусы, представления о встречах и случаях; говоря с Дигэ, он слушал себя, выраженного прекрасной игрой.

Запахло таким густым дымом, как в битве Нельсона с испанским флотом, и я сказал страшным голосом:

— Как белка или змея! Поп, позвольте пожать вашу руку и знайте, что Санди, хотя он, может быть, моложе вас, отлично справится с задачей и похитрее!

Казалось, волнениям этого дня не будет конца. Едва я, закрепляя свои слова, стукнул кулаком по столу, как в дверь постучали и вошедший слуга объявил, что меня требует Ганувер.

— Меня? — струсив, спросил я.

— Санди. Это вы — Санди?

— Он — Санди, — сказал Поп, — и я иду с ним.

Мы прошли сквозь ослепительные лучи зал, по которым я следовал вчера за Попом в библиотеку, и застали Ганувера в картинной галерее. С ним был Дюрок, он ходил наискось от стола к окну и обратно. Ганувер сидел, положив подбородок в сложенные на столе руки, и задумчиво следил, как ходит Дюрок. Две белые статуи в конце галереи и яркий свет больших окон из целых стекол, доходящих до самого паркета, придавали огромному помещению открытый и веселый характер.

Когда мы вошли, Ганувер поднял голову и кивнул. Взглянув на Дюрока, ответившего мне пристальным взглядом понятного предупреждения, я подошел к Гануверу. Он указал стул, я сел, а Поп продолжал стоять, нервно водя пальцами по подбородку.

— Здравствуй, Санди,— сказал Ганувер.— Как тебе нравится здесь? Вполне ли тебя устроили?

— О, да! — сказал я.— Все еще не могу опомниться.

— Вот как?! — задумчиво произнес он и замолчал. Потом, рассеянно поглядев на меня, прибавил с улыбкой:— Ты позван мной вот зачем. Я и мой друг Дюрок, который говорит о тебе в высоких тонах, решили устроить твою судьбу. Выбери, если хочешь, не теперь, а строго обдумав: кем ты желаешь быть. Можешь назвать любую профессию. Но только не будь знаменитым шахматистом, который, получив ночью телеграмму, отправился угром на состязание в Лисс и выиграл из шести пять у самого Капабланки. В противном случае ты привыкнешь покидать своих друзей в трудные минуты их жизни ради того, чтобы заехать слонем в лоб королю.

— Одну из этих партий,— заметил Дюрок,— я назвал партией Ганувера и, представьте, выиграл ее всего четырьмя ходами.

— Как бы там ни было, Санди осудил вас в глубине сердца,— сказал Ганувер,— ведь так, Санди?

— Простите,— ответил я,— за то, что ничего в этом не понимаю.

— Ну, так говори о своих желаниях!

— Я моряк,— сказал я,— то есть я пошел по этой дороге. Если вы сделаете меня капитаном, мне больше, кажется, ничего не надо, так как все остальное я получу сам.

— Отлично. Мы пошлем тебя в адмиралтейскую школу.

Я сидел, тая и улыбаясь.

— Теперь мне уйти? — спросил я.

— Ну, нет. Если ты приятель Дюрока, то, значит, и мой, а поэтому я присоединю тебя к нашему плану. Мы все пойдем смотреть кое-что в этой лачуге. Тебе, с твоим живым соображением, это может принести пользу. Пока, если хочешь, сиди или смотри картины. Поп, кто приехал сегодня?

Я встал и отошел. Я был рассечен натрое: одна часть смотрела картину, изображавшую рой красавиц в туниках у колонн, среди роз, на фоне морской дали, другая часть видела самого себя на этой картине, в полной капитанской форме, орущего красавицам: «Левый галс! Подтянуть грот, рифы и брассы!» — а третья, по естественному устройству уха, слушала разговор.

Не могу передать, как действует такое обращение человека, одним поворотом языка приказывающего судьбе перенести Санди из небытия в капитаны. От самых моих ног до макушки поднималась нервная теплота. Едва принимался я думать о перемене жизни, как мысли эти перебивались картинами, галереей, Ганувером, Молли и всем, что я испытал здесь, и мне казалось, что я вот-вот полечу.

В это время Ганувер тихо говорил Дюроку:

— Вам это не покажется странным. Молли была единственной девушкой, которую я любил. Не за что-нибудь, — хотя было «за что», но по той магнитной линии, о которой мы все ничего не знаем. Теперь все наболело во мне и уже как бы не боль, а жгучая тупость.

— Женщины догадливы, — сказал Дюрок, — а Дигэ наверно проницательна и умна.

— Дигэ... — Ганувер на мгновение закрыл глаза. — Все равно Дигэ лучше других, она, может быть, совсем хороша, но я теперь плохо вижу людей. Я внутренне утомлен. Она мне нравится.

— Так молода, и уже вдова, — сказал Дюрок. — Кто был муж?

— Ее муж был консул, в колонии, какой — не помню.

— Брат очень напоминает сестру, — заметил Дюрок, — я говорю о Галуэе.

— Напротив, совсем не похож!

Дюрок замолчал.

— Я знаю, он вам не нравится, — сказал Ганувер, — но он очень забавен, когда в ударе. Его веселая юмористическая злость напоминает собаку-льва.

— Вот еще! Я не видал таких львов.

— Пуделя,— сказал Ганувер, развеселившись,— стриженного пуделя! Наконец мы соединились!— вскричал он, направляясь к двери, откуда входили Дигэ, Томсон и Галуэй.

Мне, свидетелю сцены у золотой цепи, довелось видеть теперь Дигэ в замкнутом образе молодой дамы, отношение которой к хозяину определялось лишь ее положением милой гостьи. Она шла с улыбкой, кивая и тараторя. Томсон взглянул сверх очков; величайшая приятность расплзлась по его широкому, мускулистому лицу; Галуэй шел, дергая плечом и щекой.

— Я ожидала застать большое общество,— сказала Дигэ.— Горничная подвела счет и уверяет, что утром прибыло человек двадцать.

— Двадцать семь,— вставил Поп, которого я теперь не узнал. Он держался ловко, почтительно и был своим, а я — я был чужой и стоял, мрачно вытаращив глаза.

— Благодарю вас, я скажу Микелетте,— холодно отозвалась Дигэ,— что она ошиблась.

Теперь я видел, что она не любит также Дюрока. Я заметил это по ее уху. Не смейтесь! Край маленького, как лепесток, уха был направлен к Дюроку с неприязненной остротой.

— Кто же навестил вас? — продолжала Дигэ, спрашивая Ганувера.— Я очень любопытна.

— Это будет смешанное общество,— сказал Ганувер.— Все приглашенные — живые люди.

— Морг в полном составе был бы немного мрачен для торжества,— объявил Галуэй.

Ганувер улыбнулся.

— Я выразился неудачно. А все-таки лучшего слова, чем слово *живой*, мне не придумать для человека, умеющего наполнять жизнь.

— В таком случае, мы все живы,— объявила Дигэ,— применяя ваше толкование.

— Но и само по себе,— сказал Томсон.

— Я буду принимать вечером,— заявил Ганувер,— пока же предпочитаю бродить в доме с вами, Дюроком и Санди.

— Вы любите моряков,— сказал Галуэй, косясь на меня,— вероятно, вечером мы увидим целый экипаж капитанов.

— Наш Санди один стоит военного флота,— сказал Дюрок.

— Я вижу, он под особым покровительством, и не осмеливаюсь приближаться к нему,— сказала Дигэ, трогая веером подбородок.— Но мне нравятся ваши капризы, дорогой Ганувер, благодаря им вспоминаешь и вашу молодость. Может быть, мы увидим сегодня взрослых Санди, пытящих по крайней мере с улыбкой.

— Я не принадлежу к светскому обществу,— сказал Ганувер добродушно,— я— один из случайных людей, которым идиотически повезло и которые торопятся обратить деньги в жизнь, потому что лишены традиции накопления. Я признаю личный этикет и отвергаю кастовый.

— Мне попало,— сказала Дигэ,— очередь за вами, Томсон.

— Я уклоняюсь и уступаю свое место Галуэю, если он хочет.

— Мы, журналисты, неуязвимы,— сказал Галуэй,— как короли, и никогда не точим ножи вслух.

— Теперь тронемся,— сказал Ганувер,— пойдём, послушаем, что скажет об этом Ксаверий.

— У вас есть римлянин? — спросил Галуэй.— И тоже живой?

— Если не испортился; в прошлый раз начал нести ересь.

— Ничего не понимаю,— Дигэ пожала плечом,— но должно быть что-то захватывающее.

Все мы вышли из галереи и прошли несколько комнат, где было хорошо, как в саду из дорогих вещей, если бы такой сад был. Поп и я шли сзади. При повороте он удержал меня за руку:

— Вы помните наш уговор? Дерево можно не трогать. Теперь задумано и будет все иначе. Я только что узнал это. Есть новые соображения по этому делу.

Я был доволен его сообщением, начиная уставать от подслушивания, и кивнул так усердно, что подбородком стукнулся в грудь. Тем временем Ганувер остановился у двери, сказав: «Поп!» Юноша поспешил с ключом открыть помещение. Здесь я увидел странную, как сон, вещь. Она произвела на меня, но, кажется, и на всех, неизгладимое впечатление: мы были перед человеком-автоматом, игрушкой в триста тысяч ценой, умеющей говорить.

Это помещение, не очень большое, было обставлено как гостиная, с глухим мягким ковром на весь пол. В кресле, спиной к окну, скрестив ноги и облокотясь на драгоценный столик, сидел, откинув голову, молодой человек, одетый как модная картинка. Он смотрел перед собой большими голубыми глазами, с самодовольной улыбкой на розовом лице, оттененном черными усиками. Короче говоря, это был точь-в-точь манекен из витрины. Мы все стали против него. Галуэй сказал:

— Надеюсь, ваш Ксаверий не говорит, в противном случае, Ганувер, я обвиню вас в колдовстве и создам сенсационный процесс.

— Вот новости! — раздался резкий отчетливо выговаривающий слова голос, и я вздрогнул. — Довольно, если вы обвините себя в неуместной шутке!

— Ах! — сказала Дигэ и увела голову в плечи. Все были поражены. Что касается Галуэя, — тот положительно струсил, я это видел по беспомощному лицу, с которым он попятился назад. Даже Дюрок, нервно усмехнувшись, покачал головой.

— Уйдемте! — вполголоса сказала Дигэ. — Дело страшное!

— Надеюсь, Ксаверий нам не нанесет оскорблений? — шепнула Галуэй.

— Останьтесь, я незлобив, — сказал манекен таким тоном, как говорят с глухими, и переложил ногу на ногу.

— Ксаверий! — произнес Ганувер. — Позволь рассказать твою историю!

— Мне все равно, — ответила кукла. — Я — механизм.

Впечатление было удручающее и сказочное. Ганувер заметно наслаждался сюрпризом. Выдержав паузу, он сказал:

— Два года назад умирал от голода некто Никлас Экус, и я получил от него письмо с предложением купить автомат, над которым он работал пятнадцать лет. Описание этой машины было сделано так подробно и интересно, что с моим складом характера оставалось только посетить затейливого изобретателя. Он жил одиноко. В лачуге, при дневном свете, равно озаряющем это чинное восковое лицо и бледные черты неизлечимо больного Экуса, я заключил

делку. Я заплатил триста тысяч и имел удовольствие выслушать ужасный диалог человека со своим подобием. «Ты спас меня!» — сказал Экус, потрясая чеком перед автоматом, и получил в ответ: «Я тебя убил». Действительно, Экус, организм которого был разрушен длительными видениями тонкостей гениального механизма, скончался очень скоро после того, как разбогател, и я, сказав о том автомату, услышал такое замечание: «Он продал свою жизнь так же дешево, как стоит моя!»

— Ужасно! — сказал Дюрок. — Ужасно! — повторил он в сильном возбуждении.

— Согласен. — Ганувер посмотрел на куклу и спросил: — Ксаверий, чувствуешь ли ты что-нибудь?

Все побледнели при этом вопросе, ожидая, может быть, потрясающего «да», после чего могло наступить смятение. Автомат качнул головой и скоро проговорил:

— Я — Ксаверий, ничего не чувствую, потому что ты говоришь сам с собой.

— Вот ответ, достойный живого человека! — заметил Галуэй. — Что, что в этом болване? Как он устроен?

— Не знаю, — сказал Ганувер, — мне объясняли, так как я купил и патент, но я мало что понял. Принцип стенографии, радий, логическая система, разработанная с помощью чувствительных цифр, — вот, кажется, все, что сохранилось в моем уме. Чтобы вызвать слова, необходимо при обращении произносить «Ксаверий», иначе он молчит.

— Самолюбив, — сказал Томсон.

— И самодоволен, — прибавил Галуэй.

— И самовлюблен, — определила Дигэ. — Скажите ему что-нибудь, Ганувер, я боюсь!

— Хорошо. Ксаверий! Что ожидает нас сегодня и вообще?

— Вот это называется спросить основательно! — расхохотался Галуэй. Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами, и я услышал резкий, как скрип ставни, ответ:

— Разве я прорицатель? Все вы умрете; а ты, спрашивающий меня, умрешь первый.

При таком ответе все бросились прочь, как облитые водой.

— Довольно, довольно! — вскричала Дигэ. — Он неуч, этот Ксаверий, и я на вас сердита, Ганувер! Это непростибельное изобретение.

Я выходил последним, унося на затылке ответ куклы: «Сердись на саму себя!»

— Правда,— сказал Ганувер, пришедший в заметно нервное состояние,— иногда его речи огорошивают, бывает также, что ответ не впопад, хотя редко. Так, однажды, я произнес: «Сегодня теплый день»,— и мне выскочили слова: «Давай выпьем!»

Все были взволнованы.

— Ну что, Санди? Ты удивлен? — спросил Поп.

Я был удивлен меньше всех, так как всегда ожидал самых невероятных явлений и теперь убедился, что мои взгляды на жизнь подтвердились блестящим образом. Поэтому я сказал:

— Это ли еще встретишь в загадочных дворцах?!

Все рассмеялись. Лишь одна Дигэ смотрела на меня, сдвинув брови, и как бы спрашивала: «Почему ты здесь? Объясни?»

Но мной не считали нужным или интересным заниматься так, как вчера, и я скромно стал сзади. Возникли предположения идти осматривать оранжерею, где помещались редкие тропические бабочки, осмотреть также вновь привезенные картины старых мастеров и статую, раскопанную в Тибете, но после «Ксаверия» не было ни у кого настоящей охоты ни к каким развлечениям. О нем начали говорить с таким увлечением, что спорам и восклицаниям не предвиделось конца.

— У вас много монстров? — сказала Гануверу Дигэ.

— Кое-что. Я всегда любил игрушки, может быть, потому, что мало играл в детстве.

— Надо вас взять в опеку и наложить секвестр на капитал до вашего совершеннолетия,— объявил Томсон.

— В самом деле,— продолжала Дигэ,— такая масса денег на... гм... прихоти. И какие прихоти!

— Вы правы,— очень серьезно ответил Ганувер.— В будущем возможно иное. Я не знаю.

— Так спросим Ксаверия! — вскричал Галуэй.

— Я пошутила. Есть прелесть в безубыточных расточениях.

После этого вознамерились все же отправиться смотреть тибетскую статую. От усталости я впал в одурь, плохо соображая, что делается. Я почти спал, стоя с открытыми глазами. Когда общество тронулось, я, в совершенном безразличии, пошел, было, за ним, но, когда его скрыла сле-

дующая дверь, я, готовый упасть на пол и заснуть, бросился к дивану, стоявшему у стены широкого прохода, и сел на него в совершенном изнеможении. Я устал до отвращения ко всему. Аппарат моих восприятий отказывался работать. Слишком много было всего! Я опустил голову на руки, оцепенел, задремал и уснул. Как оказалось впоследствии, Поп возвратился, обеспокоенный моим отсутствием, и пытался разбудить, но безуспешно. Тогда он совершил настоящее предательство — он вернул всех смотреть, как спит Санди Пруэль, сраженный богатством, на диване загадочного дворца. И, следовательно, я был некоторое время зрелищем, но, разумеется, не знал этого.

— Пусть спит, — сказал Ганувер, — это хорошо — спать. Я уважаю сон. Не будите его.

XV

Я забежал вперед только затем, чтобы указать, как был крепок мой сон. Просто я некоторое время не существовал.

Открыв глаза, я повернулся и сладко заложил руки под щеку, намереваясь еще поспать. Меж тем, сознание тоже просыпалось, и, в то время как тело молило о блаженстве покоя, я увидел в дремоте Молли, раскалывающую орехи. Вслед нагрянуло все; холодными струйками выбежал сон из членов моих, — и в оцепенении неожиданности, так как после провала воспоминание явилось в потрясающем темпе, я вскочил, сел, встревожился и протер глаза.

Был вечер, а может быть, даже ночь. Огромное лунное окно стояло перед мной. Электричество не горело. Спокойная полутьма простиралась из дверей в двери, среди теней высоких и холодных покоев, где роскошь была погружена в сон. Лунный свет проникал глубину, как бы осматриваясь. В этом смешении сумерек с неприветливым освещением все выглядело иным, чем днем — подменившим материальную ясность призрачной лучистой тревогой. Линия света, отметив по пути блеск бронзовой дверной ручки, колено статуи, серебро люстры, распыливалась в сумраке, одна на всю мраморную даль сверкала неизвестная точка, — зеркала или металлического предмета... почему знать? Вокруг меня лежало неведение. Я встал, пристыженный тем, что был забыт, как отбившееся животное, не понимая, что только деликатность оставила спать Санди Пруэля здесь, вместо того,

чтобы волочить его полужаснувшее тело через сотню дверей.

Когда мы высыпаемся, нет нужды смотреть на часы,— внутри нас, если не точно, то с уверенностью, сказано уже, что спали мы долго. Без сомнения, мои услуги не были экстренно нужны Дюроку или Попу, иначе за мной было бы послано. Я был бы разыскан и вставлен опять в ход волнующей опасностью и любовью истории. Поэтому у меня что-то отняли, и я направился разыскивать ход вниз с чувством непоправимой потери. Я заспал указания памяти относительно направления, как шел сюда,— блуждал мрачно, наугад, и так торопясь, что не имел ни времени, ни желания любоваться обстановкой. Спросонок я зашел к балкону, затем, вывернувшись из обманчиво схожих пространств этой части здания, прошел к лестнице и, опустясь вниз, пополз на широкую площадку с запертыми кругом дверьми. Поднявшись опять, я предпринял круговое путешествие около наружной стены, стараясь видеть все время с одной стороны окна, но никак не мог найти галерею, через которую шел днем; найди я ее, можно было бы рассчитывать если не на немедленный успех, то хотя на то, что память начнет работать. Вместо этого я снова пришел к запертой двери и должен повернуть вспять или рискнуть погрузиться во внутренние проходы, где совершенно темно.

Устав, я присел и, сидя, рвался идти, но выдержал, пока не превозмог огорчения одиночества, лишившего меня стойкой сообразительности. До этого я не трогал электрических выключателей, не из боязни, что озарится все множество помещений или раздастся звон тревоги,— это приходило мне в голову вчера,— но потому, что не мог их найти. Я взял спички, светил около дверей и по нишам. Я был в прелестном углу среди мебели такого вида и такой хрупкости, что сесть на нее мог бы только чистоплотный младенец. Найдя штепсель, я рискнул его повернуть. Мало было мне пользы; хотя яркий свет сам по себе приятно освежил зрение, озарились лишь эти стены, напоминающие зеркальные пруды с отражениями сказочных перспектив. Разыскивая выключатели, я мог бродить здесь всю ночь. Итак, оставив это намерение, я вышел вновь на поиски сообщения с низом дома и, когда вышел, услышал негромко доносящуюся сюда прекрасную музыку.

Как вкопанный я остановился: сердце мое забилося. Все заскакало во мне, и обида рванулась едва не слезами.

Если до этого моя влюбленность в Дюрока, дом Ганувера, Молли была еще накрепко заколочена, то теперь все гвозди выскочили, и чувства мои заиграли вместе с отдаленным оркестром, слышимым как бы снаружи дома. Он провозгласил торжество и звал. Я слушал, мучаясь. Одна музыкальная фраза,—какой-то отрывистый перелив флейт,—манила и манила меня, положительно она описывала аромат грусти и увлечения. Тогда взволнованный, как будто это была моя музыка, как будто все лучшее, обещаемое ее звуками, ждало только меня, я бросился, стыдясь сам не зная чего, надеясь и трепеща, разыскивать проход вниз.

В моих торопливых поисках я вышагал по неведомым пространствам, местами озаренным все выше восходящей луной, так много, так много раз останавливался, чтобы наспех сообразить направление, что совершенно закружился. Иногда, по близости к центру происходящего внизу, на который попадал случайно, музыка была слышна громче, дразня нарастающей явственностью мелодии. Тогда я приходил в еще большее возбуждение, совершая круги через все двери и повороты, где мог свободно идти. От нетерпения ныло в спине. Вдруг, с зачистившим сердцем, я услышал животрепещущий взрыв скрипок и труб прямо где-то возле себя, как мне показалось, и, миновав колонны, я увидел разрезанную сверху донизу огненной чертой портьеру. Это была лестница. Слезы выступили у меня на глазах. Весь дрожа, я отвел нетерпеливой рукой тяжелую материю, тронувшую по голове, и начал сходить вниз подгибающимися от душевной бури ногами. Та музыкальная фраза, которая пленила меня среди лунных пространств, звучала теперь прямо в уши, и это было как в день славы, после морской битвы у островов Ката-Гур, когда я, много лет спустя, выходил на раскаленную набережную Ахуан-Скапа, среди золотых труб и синих цветов.

XVI

Довольно было мне сойти по этой белой, сверкающей лестнице, среди художественных видений, под сталактитами хрустальных люстр, озаряющих растения, как бы только что перенесенные из тропического леса цвести среди блестящего мрамора,—как мое настроение выровнялось по размерам происходящего. Я уже не был главным лицом, ко-

тому казалось, что его присутствие самое важное. Блуждание наверху помогло тем, что изнервничавшийся, стремительный, я был все же не так расстроен, как могло произойти обыкновенным порядком. Я сам шел к цели, а не был введен сюда. Однако то, что я увидел, разом уперлось в грудь, уперлось всем блеском своим и стало оттеснять прочь. Я начал робеть и, изрядно оробев, остановился, как пень, посреди паркета огромной, с настоящей далью, залы, где расхаживало множество народа, мужчин и женщин, одетых во фраки и красивейшие бальные платья. Музыка продолжала играть, поднимая мое настроение из робости на его прежнюю высоту.

Здесь было человек сто пятьдесят, может быть, двести. Часть их беседовала, рассеявшись группами, часть проходила через далекие против меня двери взад и вперед, а те двери открывали золото огней и яркие глубины стен, как бы полных мерцающим голубым дымом. Но благодаря зеркалам казалось, что здесь еще много других дверей; в их чистой пустоте отражалась вся эта зала с наполняющими ее людьми, и я, лишь всмотревшись, стал отличать настоящие проходы от зеркальных феерий. Вокруг раздавались смех, говор; сияющие женские речи, восклицания, образуя непрерывный шум, легкий шум — ветер нарядной толпы. Возле сидящих женщин, двигающих веерами и поворачивающихся друг к другу, стояли, склоняясь, как шмели вокруг ярких цветов, черные фигуры мужчин в белых перчатках, душистых, щеголеватых, веселых. Мимо меня прошла пара стройных, мускулистых людей с упрямыми лицами; цепь девушек, колеблющихся и легких, — быстрой походкой, с цветами в волосах и сверкающими нитями вокруг тонкой шеи. Направо сидела очень толстая женщина с взбитой, седой прической. В круге расхотавшихся мужчин стоял плотный, краснощекий толстяк, помахивающий рукой в кольцах; он что-то рассказывал. Слуги, опустив руки по швам, скользили среди движения гостей, лавируя и перебегая с ловкостью танцовров. А музыка, касаясь души холодом и огнем, несла все это, как ветер несет корабль, в Замечательную Страну.

Первую минуту я со скорбью ожидал, что меня спросят, что я тут делаю, и, не получив достаточного ответа, уведут прочь. Однако я вспомнил, что Ганувер назвал меня гостем, что я поэтому равный среди гостей, и, преодолев смущение, начал осматриваться, как попавшая на бал кошка, хотя не

смел ни уйти, ни пройти куда-нибудь в сторону. Два раза мне показалось, что я вижу Молли, но — увь! — это были другие девушки, лишь издали похожие на нее. Лакей, пробегая с подносом, сердито прищурился, а я выдержал его взгляд с невинным лицом и даже кивнул. Несколько мужчин и женщин, проходя, взглядывали на меня так, как оглядывают незнакомого, поскользнувшегося на улице. Но я чувствовал себя глупо не с непривычки, а только потому, что был в полном неведении. Я не знал, соединился ли Ганувер с Молли, были ли объяснения, сцены, не знал, где Эстамп, не знал, что делают Поп и Дюрок. Кроме того, я никого не видел из них и в то время, как стал думать об этом еще раз, вдруг увидел входящего из боковых дверей Ганувера.

Еще в дверях, повернув голову, он сказал что-то шедшему с ним Дюроку и немедленно после того стал говорить с Дигэ, руку которой нес в сгибе локтя. К ним сразу подошло несколько человек. Седая дама, которую я считал прилепленной навсегда к своему креслу, вдруг встала, избоченясь, с быстротой гуся, и понеслась навстречу вошедшим. Группа сразу увеличилась, став самой большой из всех групп зала, и мое сердце сильно забилося, когда я увидел приближающегося к ней, как бы из зеркал или воздуха, — так неожиданно оказался он здесь, — Эстампа. Я был уверен, что сейчас явится Молли, потому что подозревал, не был ли весь день Эстамп с ней.

Поколебавшись, я двинулся из плена шумного вокруг меня движения и направился к Гануверу, став несколько позади седой женщины, говорившей так быстро, что ее огромный бюст колыбался как пара пробковых шаров, кинутых утопающему.

Ганувер был кроток и бледен. Его лицо страшно осунулось, рот стал ртом старого человека. Казалось, в нем беспрерывно вздрагивает что-то при каждом возгласе или обращении. Дигэ, сняв свою руку в перчатке, складывала и раздвигала страусовый веер; ее лицо, ставшее еще красивее от смуглых голых плеч, выглядело властным, значительным. На ней был прозрачный дымчатый шелк. Она улыбалась. Дюрок первый заметил меня и, продолжая говорить с худощавым испанцем, протянул руку, коснувшись ею моего плеча. Я страшно обрадовался; вслед за тем обернулся и Ганувер, взглянув один момент рассеянным взглядом, но тотчас узнал меня и тоже протянул руку, весело потрепал

мои волосы. Я стал, улыбаясь из глубины души. Он, видимо, понял мое состояние, так как сказал: «Ну что, Санди, дружок?» И от этих простых слов, от его прекрасной улыбки и явного расположения ко мне со стороны людей, встреченных только вчера, вся робость моя исчезла. Я вспыхнул, покраснел и возликовал.

— Что же, поспал? — сказал Дюрок. Я снова вспыхнул. Несколько людей посмотрели на меня с забавным недоумением. Ганувер втащил меня в середину.

— Это мой воспитанник, — сказал он. — Вам, дон Эстебан, нужен будет хороший капитан лет через десять, так вот он, и зовут его Санди... э, как его, Эстамп?

— Пруэль, — сказал я, — Санди Пруэль.

— Очень самолюбив, — заметил Эстамп, — смел и решителен, как Колумб.

Испанец молча вытащил из бумажника визитную карточку и протянул мне, сказав:

— Через десять лет, а если я умру, мой сын — даст вам какой-нибудь пароход.

Я взял карточку и, не посмотрев, сунул в карман. Я понимал, что это шутка, игра, у меня явилось желание поддерживать честь старого, доброго кондотьера, каким я считал себя в тайниках души.

— Очень приятно, — заявил я, кланяясь с наивозможной грацией. — Я посмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, то оставляю сына, чтобы он мог прочесть, что там написано.

Все рассмеялись.

— Вы не ошиблись! — сказал дон Эстебан Гануверу.

— О! ну, нет, конечно, — ответил тот, и я был оставлен, — при триумфе и сердечном весельи. Группа перешла к другому концу зала. Я повернулся, еще, первый раз свободно вздохнув, прошел между всем обществом, как дикий мустанг среди нервных павлинов, и уселся в углу, откуда был виден весь зал, но где никто не мешал думать.

Вскоре увидел я Томсона и Галуэя с тремя дамами, в отличном расположении духа. Галуэй, дергая щекой, заложив руки в карманы и покачиваясь на носках, говорил и смеялся. Томсон благосклонно вслушивался; одна дама, желая перебить Галуэя, трогала его по руке сложенным веером, две другие, переглядываясь между собой, время от времени хохотали. Итак, ничего не произошло. Но что же было с Молли. — девушкой Молли, покинувшей сестру, чтобы сдер-

жать слово, с девушкой, которая милее и краше всех, кого я видел в этот вечер, должна была радоваться и сиять здесь и идти под руку с Ганувером, стыдясь себя и счастья, от которого хотела отречься, боясь чего-то, что может быть страшно лишь женщине? Какие причины удержали ее? Я сделал три предположения: Молли раздумала и вернулась; Молли больна и — Молли уже была. — «Да, она была, — говорил я, волнуясь, как за себя, — и ее объяснения с Ганувером не устояли против Дигэ. Он изменил ей. Поэтому он страдает, пережив сцену, глубоко всколыхнувшую его, но бессильную вновь засветить солнце над его померцанной душой». Если бы я знал, где она теперь, то есть будь она где-нибудь близко, я, наверно, сделал бы одну из своих сумасшедших штук, — пошел к ней и привел сюда; во всяком случае, попытался бы привести. Но, может быть, произошло такое, о чем нельзя догадаться. А вдруг она умерла и от Ганувера все скрыто!

Как только я это подумал, страшная мысль стала неотвязно вертеться, тем более, что небольшое, известное мне в этом деле, оставляло обширные пробелы, допускающие любое предположение. Я видел Лемарена; этот сорт людей был мне хорошо знаком, и я знал, как изобретательны хулиганы, одержимые манией или корыстью. Решительно, мне надо было увидеть Попа, чтобы успокоиться.

Сам себе не отдавая в том отчета, я желал радости в сегодняшний вечер не потому только, что хотел счастливой встречи двух рук, разделенных сложными обстоятельствами, — во мне подымалось требование торжества, намеченного человеческой волей и страстным желанием, таким красивым в этих необычайных условиях. Дело обстояло и развертывалось так, что никакого другого конца, кроме появления Молли, — появления, опрокидывающего весь темный план, — веселого плеска майского серебряного ручья, — я ничего не хотел, и ничто другое не могло служить для меня оправданием тому, в чем, согласно неисследованным законам человеческих встреч, я принял невольное, хотя и поверхностное участие.

Не надо, однако, думать, что мысли мои в то время выразились такими словами, — я был тогда еще далек от привычного искусства взрослых людей, — обводить чертой слова мелькающие, как пена, образы. Но они не остались без выражения; за меня мир мой душевный выражала музыка

скрытого на хорах оркестра, зовущая Замечательную Страну.

Да, всего только за двадцать четыре часа Санди Пруэль вырос, подобно растению индийского мага, посаженному семенем и через тридцать минут распускающему зеленые листья. Я был старше, умнее,— тише. Я мог бы, конечно, с великим удовольствием сесть и играть, катая вареные крутые яйца, каковая игра называется «съешь скорлупку»,— но мог также уловить суть несказанного в сказанном. Мне, положительно, был необходим Поп, но я не смел еще бродить, где хочу, отыскивая его, и когда он, наконец, подошел, заметив меня случайно, мне как бы подали напиток после соленого. Он был во фраке, перчатках, выглядя оттого поновому, но мне было все равно. Я вскочил и пошел к нему.

— Ну, вот,— сказал Поп и, слегка оглянувшись, тихо прибавил,— сегодня произойдет нечто. Вы увидите. Я не скрываю от вас, потому что возбужден, и вы много сделали нам. Приготовьтесь: еще неизвестно, что может быть.

— Когда? Сейчас?

— Нет. Больше я ничего не скажу. Вы не в претензии, что вас оставили выспаться?

— Поп,— сказал я, не обращая внимания на его рассеянную шутовщость,— дорогой Поп, я знаю, что спрашиваю глупо, но... но... я имею право. Я думаю так. Успокойте меня и скажите: что с Молли?

— Ну что вам Молли?! — сказал он, смеясь и пожимая плечами.— Молли,— он сделал ударение,— скоро будет Эмилия Ганувер, и мы пойдем к ней пить чай. Не правда ли?

— Как! Она здесь?

— Нет.

Я молчал с сердитым лицом.

— Успокойтесь,— сказал Поп,— не надо так волноваться. Все будет в свое время. Хотите мороженого?

Я не успел ответить, как он задержал шествующего с подносом Паркера, крайне озабоченное лицо которого говорило о том, что вечер по-своему отразился в его душе, сбив с ног.

— Паркер,— сказал Поп,— мороженого мне и Санди, большие порции.

— Слушаю,— сказал старик, теперь уже с чрезвычайно оживленным, даже заинтересованным видом, как будто в требовании мороженого было все дело этого вечера.— Ка-

кого же? Земляничного, апельсинового, фисташкового, розовых лепестков, сливочного, ванильного, крем-брюле или...

— Кофейного,— перебил Поп.— А вам, Санди?

Я решил показать «бывалость» и потребовал ананасового, но — увя! — оно было хуже кофейного, которое я попробовал из хрустальной чашки у Попа. Пока Паркер ходил, Поп называл мне имена некоторых людей, бывших в зале, но я все забыл. Я думал о Молли и своем чувстве, зовущем в Замечательную Страну.

Я думал также: как просто, как великодушно по отношению ко мне было бы Попу, — еще днем, когда мы ели и пили, — сказать: «Санди, вот какое у нас дело...» — и ясным языком дружеского доверия посвятить меня в рыцари запутанных тайн. Осторожность, недолгое знакомство и все прочее, что могло Попу мешать, я отбрасывал, даже не трудясь думать об этом, — так я доверял сам себе.

Поп молчал, потом от великой щедрости воткнул в распухшую мою голову последнюю загадку.

— Меня не будет за столом, — сказал он, — очень вас прошу, не расспрашивайте о причинах этого вслух и не ищите меня, чтобы на мое отсутствие было обращено как можно меньше внимания.

— Я не так глуп, — ответил я с обидой, бывшей еще острее от занывшего в мороженом зуба, — не так я глуп, чтобы говорить мне это, как маленькому.

— Очень хорошо, — сказал он сухо и ушел, бросив меня среди рассеявшихся вокруг этого места привлекательных, но ненужных мне дам, и я стал пересаживаться от них, пока не очутился в самом углу. Если бы я мог сосчитать количество удивленных взглядов, брошенных на меня в тот вечер разными людьми, — их, вероятно, хватило бы, чтобы заставить убежать с трибуны самого развязного оратора. Что до этого?! Я сидел, окруженный спинами с белыми и розовыми вырезами, вдыхал тонкие духи и разглядывал полы фраков, мешающие видеть движение в зале. Моя мнительность обострилась припадком страха, что Поп расскажет о моей грубости Гануверу и меня не пустят к столу; ничего не увидев, всеми забытый, отверженный, я буду бродить среди огней и цветов, затем Томсон выстрелит в меня из тяжелого револьвера, и я, испуская последний вздох на руках Дюрка, скажу плачущей надо мной Молли: «Не плачьте. Санди умирает как жил, но он никогда не будет

спрашивать вслух, где ваш щеголеватый Поп, потому что я воспитан морем, обучающим молчанию».

Так торжественно прошла во мне эта сцена и так разволновала меня, что я хотел уже встать, чтобы отправиться в свою комнату, потянуть шнурок стенного лифта и сесть мрачно вдвоем с бутылкой вина. Вдруг появился человек в ливрее с галунами и что-то громко сказал. Движение в зале изменилось. Гости потекли в следующую залу, сверкающую голубым дымом, и, став опять любопытен, я тоже пошел среди легкого шума нарядной, оживленной толпы, изредка и не очень скандально сталкиваясь с соседями по шествию.

XVII

Войдя в голубой зал, где на великолепном паркете отражались огни люстр, а также и мои до колен ноги, я прошел мимо оброненной розы и поднял ее на счастье, что если в цветке будет четное число лепестков, я увижу сегодня Молли. Обрывая их в зажатую горсть, чтобы не сорить, и спотыкаясь среди тренов, я заметил, что на меня смотрит пара черных глаз с румяного кокетливого лица. «Любит, не любит,— сказала мне эта женщина,— как у вас вышло?» Ее подружки окружили меня, и я поспешно сунул руку в карман, озираясь, среди красавиц, поднявших Санди, правда, очень мило,— на смех. Я сказал: «Ничего не вышло»,— и, должно быть, был уныл при этом, так как меня оставили, сунув в руку еще цветок, который я машинально положил в тот же карман, дав вдруг от большой злости клятву никогда не жениться.

Я был сбит, но скоро оправился и стал осматриваться, куда попал. Между прочим, я прошел три или четыре двери. Если была очень велика первая зала, то эту я могу назвать по праву — громадной. Она была обита зеленым муаром, с мраморным полом, углубления которого тонкой причудливой резьбы были заполнены отполированным серебром. На стенах отсутствовали зеркала и картины; от потолка к полу они были вертикально разделены, в равных расстояниях, лиловым багетом, покрытым мельчайшим серебряным узором. Шесть люстр висело по одной линии, проходя серединой потолка, а промежутки меж люстр и углы зала блистали живописью. Окон не было, других дверей тоже не было; в нишах стояли статуи. Все гости, вошедши сюда, по-

мельчали ростом, как если бы я смотрел с третьего этажа на площадь,— так высок, и просторен был размах помещения. Добрую треть пространства занимали столы, накрытые белейшими, как пена морская, скатертями; столы-сады, так как все они сияли ворохами свежих цветов. Столы, или, вернее, один стол в виде четырехугольника, пустого внутри, с проходами внутрь на узких концах четырехугольника, образовывал два прямоугольных «С», обращенных друг к другу и не совсем плотно сомкнутых. На них сплошь, подобно узору цветных камней, сверкали огни вин, золото, серебро и дивные вазы, выпускающие среди редких плодов зеленую тень ползучих растений, завитки которых лежали на скатерти. Вокруг столов ждали гостей легкие кресла, обитые оливковым бархатом. На равном расстоянии от углов столового четырехугольника высоко вздымались витые бронзовые колонны с гигантскими канделябрами, и в них горели настоящие свечи. Свет был так силен, что в самом отдаленном месте я различал с точностью черты людей; можно сказать, что от света было жарко глазам.

Все усаживались, шумя платьями и движением стульев; стоял рокот, обвеянный гулким эхом. Вдруг какое-нибудь одно слово, отчетливо вырвавшись из гула, явственно облетало стены. Я пробирался к тому месту, где видел Ганувера с Дюроком и Дигэ, но как ни искал, не мог заметить Эстампа и Попа. Ища глазами свободного места на этом конце стола — ближе к двери, которой вошел сюда, я видел много еще не занятых мест, но скорее дал бы отрубить руку, чем сел сам, боясь оказаться вдали от знакомых лиц. В это время Дюрок увидел меня и, покинув беседу, подошел с ничего не значащим видом.

— Ты сядешь рядом со мной,— сказал он,— поэтому сядь на то место, которое будет от меня слева,— сказав это, он немедленно удалился, и в скором времени, когда большинство уселось, я занял кресло перед столом, имея по правую руку Дюрока, а по левую — высокую, тощую, как жердь, даму лет сорока с лицом рыжего худого мужчины и такими длинными ногтями мизинцев, что, я думаю, она могла смело обходиться без вилки. На этой даме бриллианты висели, как смородина на кусте, а острый голый локоть чувствовался в моем боку даже на расстоянии.

Ганувер сел напротив, будучи от меня наискось, а против него между Дюроком и Галуэем поместилась Дигэ.



«ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»



«ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»

Томсон сидел между Галуэем и тем испанцем, карточку которого я собирался рассмотреть через десять лет.

Вокруг меня не прерывался разговор. Звук этого разговора перелетал от одного лица к другому, от одного к двум, опять к одному, трем, двум и так беспрерывно, что казалось, все говорят, как инструменты оркестра, развивая каждый свои ноты — слова. Но я ничего не понимал. Я был обескуражен стоящим передо мной прибором. Его надо было бы поставить в музей под стеклянный колпак. Худая дама, приложив к глазам лорнет, тщательно осмотрела меня, вогнав в робость, и что-то сказала, но я, ничего не поняв, ответил: «Да, это так». Она больше не заговаривала со мной, не смотрела на меня, и я был от души рад, что чем-то ей не понравился. Вообще я был как в тумане. Тем временем, начиная разбираться в происходящем, то есть принуждая себя замечать отдельные черты действия, я видел, что вокруг столов катятся изящные позолоченные тележки на высоких колесах, полные блестящей посуды, из-под крышек которой вьется пар, а под дном горят голубые огни спиртовых горелок. Моя тарелка исчезла и вернулась из откуда-то взявшейся в воздухе руки, — с чем? Надо было съесть это, чтобы узнать. Запахло такой гастрономией, такими хитростями кулинарии, что казалось, стоит съесть немного, как опьянеешь от одного возбуждения при мысли, что ел это ароматическое художество. И вот, как, может быть, ни покажется странным, меня вдруг захлестнул зверский мальчишеский голод, давно накопившийся среди подавляющих его впечатлений; я осушил высокий прозрачный стакан с черным вином, обрел самого себя и съел дважды все без остатка, почему тарелка вернулась полная в третий раз. Я оставил ее стоять и снова выпил вина. Со всех сторон видел я подносимые к губам стаканы и бокалы. Под потолком в другом конце зала с широкого балкона грянул оркестр и продолжал тише, чем шум стола, напоминая о блистающей Стране.

В это время начали бить невидимые часы, ясно и медленно пробило одиннадцать, покрыв звуком все, — шум и оркестр. В разговоре, от меня справа, прозвучало слово «Эстамп».

— Где Эстамп? — сказал Ганувер Дюроку. — После обеда он вдруг исчез и не появлялся. А где Поп?

— Не далее, как полчаса назад, — ответил Дюрок, — Поп жаловался мне на невыносимую мигрень и, должно

быть, ушел прилечь. Я не сомневаюсь, что он явится. Эс-тампа же мы вряд ли дождемся.

— Почему?

— А... потому, что я видел его... тэт-а-тэт...

— Т-так,— сказал Ганувер, потускнев,— сегодня все уходит, начиная с утра. Появляются и исчезают. Вот еще нет капитана Орсуны. А я так ждал этого дня...

В это время подлетел к столу толстый черный человек с бритым, круглым лицом, холеным и загорелым.

— Вот я,— сказал он,— не трогайте капитана Орсуну. Ну, слушайте, какая была история! У нас завелись феи!

— Как,— феи?! — сказал Ганувер.— Слушайте, Дюрок, это забавно!

— Следовало привести фею,— заметила Дигэ, делая глоток из узкого бокала.

— Понятно, что вы опоздали,— заметил Галуэй.— Я бы совсем не пришел.

— Ну, да,— вы,— сказал капитан, который, видимо, तोпились поведать о происшествии. В одну секунду он выпил стакан вина, ковырнул вилкой в тарелке и стал чистить грушу, помахивая ножом и приподнимая брови, когда, рассказывая, удивлялся сам.— Вы — другое дело, а я, видите, очень занят. Так вот, я отвел яхту в док и возвращался на катере. Мы плыли около старой дамбы, где стоит заколоченный павильон. Было часов семь, и солнце садилось. Катер шел близко к кустам, которыми поросла дамба от пятого бакена до Ледяного Ручья. Когда я поравнялся с южным углом павильона, то случайно взглянул туда и увидел среди кустов, у самой воды, прекрасную молодую девушку в шелковом белом платье, с голыми руками и шеей, на которой сияло пламенное жемчужное ожерелье. Она была босиком...

— Босиком,— вскричал Галуэй, в то время как Ганувер, откинувшись, стал вдруг напряженно слушать. Дюрок хранил любезную, непроницаемую улыбку, а Дигэ слегка приподняла брови и весело свела их в улыбку верхней части лица. Все были заинтересованы.

Капитан, закрыв глаза, категорически помотал головой и с досадой вздохнул.

— Она была босиком,— это совершенно точное выражение, и туфли ее стояли рядом, а чулки висели на ветке,— ну право же, очень миленькие чулочки,— паутина и блеск. Фея держала ногу в воде, придерживаясь руками за ствол орешника. Другая ее нога,— капитан метнул Дигэ покаян-

ный взгляд, прервав сам себя,— прошу прощения,— другая ее нога была очень мала. Ну, разумеется, та, что была в воде, не выросла за одну минуту...

— Нога...— перебила Дигэ, рассматривая свою тонкую руку.

— Да. Я сказал, что виноват. Так вот, я крикнул: «Стоп! Задний ход!» И мы остановились, как охотничья собака над перепелкой. Я скажу, берите кисть, пишите ее. Это была фея, клянусь честью!— «Послушайте,— сказал я,— кто вы?»... Катер обогнул кусты и предстал перед ее — не то чтобы недовольным, но я сказал бы, — не желающим чего-то лицом. Она молчала и смотрела на нас, я сказал: «Что вы здесь делаете?» Представьте, ее ответ был такой, что я перестал сомневаться в ее волшебном происхождении. Она сказала очень просто и вразумительно, но голосом, — о, какой это красивый был голос! — не простого человека был голос, голос был...

— Ну,— перебил Томсон, с характерной для него резкой тишиной тона, — кроме голоса, было еще что-нибудь?

Разгоряченный капитан нервно отодвинул свой стакан.

— Она сказала, — повторил капитан, у которого покраснели виски, — вот что: «Да, у меня затекла нога, потому что эти каблуки выше, чем я привыкла носить». Все! А? — он хлопнул себя обеими руками по коленям и спросил: — Каково? Какая барышня ответит так в такую минуту? Я не успел влюбиться, потому что она, грациозно присев, собрала свое хозяйство и исчезла.

И капитан принялся за вино.

— Это была горничная, — сказала Дигэ, — но так как солнце садилось, его эффект подействовал на вас субъективно.

Галуэй что-то промышчал. Вдруг все умолкли, — чье-то молчание, наступив внезапно и круто, закрыло все рты. Это умолк Ганувер, и до того почти не проронивший ни слова, а теперь молчавший с странным взглядом и бледным лицом, по которому стекал пот. Его глаза медленно повернулись к Дюроку и остановились, но в ответившем ему взгляде было только спокойный свет.

Ганувер вздохнул и рассмеялся, очень громко и, пожалуй, несколько дольше, чем переносят весы нервного такта.

— Орсуна, радость моя, капитан капитанов! — сказал он. — На мысе Гардена с тех пор, как я купил у Траулера этот дом, поселилось столько народа, что женское населе-

ние стало очень разнообразно. Ваша фея Маленькой Ноги должна иметь папу и маму; что касается меня, то я не вижу здесь пока другой феи, кроме Дигэ Альвавиз, но и та не может исчезнуть, я думаю.

— Дорогой Эверест, ваше «пока» имеет не совсем точный смысл,— сказала красавица, владея собой как нельзя лучше и, по-видимому, не придавая никакого значения рассказу Орсуны.

Если был в это время за столом человек, боявшийся обратить внимание на свои пылающие щеки,— то это я. Сердце мое билось так, что вино в стакане, который я держал, вздрагивало толчками. Без всяких доказательств и объяснений я знал уже, что и капитан видел Молли и что она будет здесь здоровая и нетронутая, под защитой верного друзьям Санди.

Разговор стал суше, нервнее, затем перешел в град шуток, которыми осыпали капитана. Он сказал:

— Я опоздал по иной причине. Я ожидал возвращения жены с поездом десять двенадцать, но она, как я теперь думаю, приедет завтра.

— Очень жаль,— сказал Ганувер,— а я надеялся увидеть вашу милую Бетси. Надеюсь, фея не повредила ей в вашем сердце?

— Хо! Конечно, нет.

— Глаз художника и сердце бульдога!— сказал Галуэй.

Капитан шумно откашлялся.

— Не совсем так. Глаз бульдога в сердце художника. А впрочем, я налью себе еще этого превосходного вина, от которого делается сразу четыре глаза.

Ганувер посмотрел в сторону. Тотчас подбежал слуга, которому было отдано короткое приказание. Не прошло минуты, как три удара в гонг связали шум, и стало если не совершенно тихо, то довольно покойно, чтоб говорить. Ганувер хотел говорить,— я видел это по устремленным на него взглядам; он выпрямился, положив руки на стол ладонями вниз, и приказал оркестру молчать.

— Гости!— произнес Ганувер так громко, что было всем слышно; отчетливый резонанс этой огромной залы позволяя в меру напрягать голос.— Вы— мои гости, мои приятели и друзья. Вы оказали мне честь посетить мой дом в день, когда четыре года назад я ходил еще в сапогах без подошв и не знал что со мной будет.

Ганувер замолчал. В течение этой сцены он часто останавливался, но без усилия или стеснения, а как бы к чему-то прислушиваясь,—и продолжал так же спокойно:

— Многие из вас приехали пароходом или по железной дороге, чтобы доставить мне удовольствие провести с вами несколько дней.

Я вижу лица, напоминающие дни опасности и веселья, случайностей, походов, тревог, дел и радостей.

Под вашим начальством, Том Клертон, я служил в таможне Сан-Риоля, и вы бросили службу, когда я был несправедливо обвинен капитаном «Терезы» в попустительстве другому пароходу — «Орландо».

Амелия Корниус! Четыре месяца вы давали мне в кредит комнату, завтрак и обед, и я до сих пор не заплатил вам,—по малодушию или легкомыслию,—не знаю, но не заплатил. На днях мы выясним этот вопрос.

Вильям Вильямсон! На вашей вилле я выздоровел от тифа, и вы каждый день читали мне газеты, когда я после кризиса не мог поднять ни головы, ни руки.

Люк Арадан! Вы, имея дело с таким неврастеником-миллионером, как я, согласились взять мой капитал в свое ведение, избавив меня от деловых мыслей, жестов, дней, часов и минут, и в три года увеличили основной капитал в тридцать семь раз.

Генри Токвиль! Вашему банку я обязан удачным залогом, сохранением секрета и возвращением золотой цепи.

Лейтенант Глаудис! Вы спасли меня на охоте, когда я висел над пропастью, удерживаясь сам не знаю за что.

Георг Барк! Вы бросились за мной в воду с борта «Индианы», когда я упал туда во время шторма вблизи Адена.

Леон Дегуст! Ваш гений воплотил мой лихорадочный бред в строгую и прекрасную конструкцию того здания, где мы сидим. Я встаю приветствовать вас и поднимаю этот бокал за минуту гневного фырканья, с которым вы первоначально выслушали меня, и высмеяли, и багровели четверть часа; наконец, сказали: «Честное слово, об этом стоит подумать. Но только я припишу на доске у двери: архитектор Дегуст, временно помешавшись, просит здравые умы не беспокоить его месяца три».

Смотря в том направлении, куда глядел Ганувер, я увидел старого безобразного человека с надменным выраже-

нием толстого лица и иронической бровью; выслушав, Дегуст грузно поднялся, уперся ладонями в стол и, посмотрев вбок, сказал:

— Я очень польщен.

Выговорив эти три слова, он сел с видом крайнего облегчения. Ганувер засмеялся.

— Ну,— сказал он, вынимая часы,— назначено в двенадцать, теперь без пяти минут полночь.— Он задумался с осыпшей улыбкой, но тотчас встрепенулся:— Я хочу, чтобы не было на меня обиды у тех, о ком я не сказал ничего, но вы видите, что я все хорошо помню. Итак, я помню обо всех все,— все встречи и разговоры; я снова пережил прошлое в вашем лице, и я так же в нем теперь, как и тогда. Но я должен еще сказать, что деньги дали мне возможность осуществить мою манию. Мне не объяснить вам ее в кратких словах. Вероятно, страсть эта может быть названа так: могущество жеста. Еще я представлял себе второй мир, существующий за стеной, тайное в явном; непоколебимость строительных громад, которой я могу играть давлением пальца. И,—я это понял недавно,— я ждал, что, осуществив прихоть, ставшую прямой потребностью, я, в глубине тайных зависимостей наших от формы, найду равное ее сложности содержание. Едва ли мои забавы ума, имевшие, однако, неодолимую власть над душой, были бы осуществлены в той мере, как это сделал по моему желанию Дегуст, если бы не обещание, данное мной... одному лицу — дело относится к прошлому. Тогда мы, два нищих, сидя под крышей заброшенного сарая, на земле, где была закопана нами грудка чистого золота, в мечтах своих, естественно, ограбили всю Шехерезаду. Это лицо, о судьбе которого мне теперь ничего неизвестно, обладало живым воображением и страстью обставлять дворцы по своему вкусу. Должен сознаться, я далеко отставал от него в искусстве придумывать. Оно побило меня такими картинами, что я был в восторге. Оно говорило: «Уж если мечтать, то мечтать»...

В это время начало бить двенадцать.

— Дигэ,— сказал Ганувер, улыбаясь ей с видом заговорщика,— ну-ка, тряхните стариной Али-Бабы и его сорoka разбойников!

— Что же произойдет?— закричал любопытный голос с другого конца стола.

Дигэ встала, смеясь.

— Мы вам покажем!— заявила она, и если волновалась, то нельзя ничего было заметить.— Откровенно скажу, я сама не знаю, что произойдет. Если дом станет летать по воздуху, держитесь за стулья!

— Вы помните — как?..— сказал Ганувер Дигэ.

— О, да. Вполне.

Она подошла к одному из огромных канделябров, о которых я уже говорил, и протянула руку к его позолоченному стволу, покрытому ниспадающими выпуклыми полосками. Всмотревшись, чтобы не ошибиться, Дигэ нашла и отвела вниз одну из этих полосок. Ее взгляд расширился, лицо слегка дрогнуло, не удержавшись от мгновения торжества, блеснувшего затаенной чертой. И— в то самое мгновение, когда у меня авансом стала кружиться голова,— все осталось, как было, на своем месте. Еще некоторое время бил по нервам тот внутренний счет, который ведет человек, если курок дал осечку, ожидая запоздавшего выстрела, затем поднялись шум и смех.

— Снова!— закричал дон Эстебан.

— Штраф,— сказал Орсуна.

— Нехорошо дразнить маленьких!— заметил Галуэй.

— Фу, как это глупо!— вскричала Дигэ, топнув ногой.— Как вы зло шутите, Ганувер!

По ее лицу пробежала нервная тень; она решительно отошла, сев на свое место и кусая губы.

Ганувер рассердился. Он вспыхнул, быстро встал и сказал:

— Я не виноват. Наблюдение за исправностью поручено Попу. Он будет призван к ответу. Я сам...

Досадуя, как это было заметно по его резким движениям, он подошел к канделябру, двинул металлический завиток и снова отвел его. И, повинаясь этому незначительному движению, все стены зала, кругом, вдруг отделились от потолка пустой, светлой чертой и, разом погружаясь в пол, исчезли. Это произошло бесшумно. Я закачался. Я, вместе с сиденьем, как бы поплыл вверх.

XVIII

К тому времени я уже бессознательно твердил: «Молли не будет»,—испытыв душевную пустоту и трезвую горечь последнего удара часов, вздрагивая перед тем от каждого

восклицания, когда мне чудилось, что появились новые лица. Но падение стен, причем это совершилось так безупречно плавно, что не заколебалось даже вино в стакане,—выкололо из меня все чувства одним ужасным ударом. Мне казалось, что зала взметнулась на высоту, среди сказочных колоннад. Все, кто здесь был, вскрикнули; испуг и неожиданность заставили людей повскакать. Казалось, взревели незримые трубы; эффект действовал как обвал и обернулся сиянием сказочно яркой силы,—так резко засияло оно.

Чтобы изобразить зрелище, открывшееся в темпе апоплексического удара, я вынужден применить свое позднейшее знание искусства и материала, двинутых Ганувером из небытия в атаку собрания. Мы были окружены колоннадой черного мрамора, отраженной прозрачной глубиной зеркала, шириной не менее двадцати футов и обходящего пол бывшей залы мнимым четырехугольным провалом. Ряды колонн, по четыре в каждом ряду, были обращены флангом к общему центру и разделены проходами одинаковой ширины по всему их четырехугольному строю. Цоколи, на которых они стояли, были высоки и массивны. Меж колонн сыпались один выше другого искрящиеся водяные стебли фонтанов,—три струи на каждый фонтан, в падении они имели вид изогнутого пера. Все это, повторенное прозрачным отражающим низом, стояло как одна светлая глубина, выложенная вверх и вниз взаимно опрокинутой колоннадой. Линия отражения, находясь в одном уровне с полом залы и полами пространств, которые сверкали из-за колонн, придавала основе зрелища видимость ковров, разостланных в воздухе. За колоннами, в свете хрустальных ламп вишневого цвета, бросающих на теплую белизну перламутра и слоновой кости отсвет зари, стояли залы-видения. Блеск струился, как газ. Перламутр, серебро, белый янтарь, мрамор, гигантские зеркала и гобелены с бирюзовой глубиной в бледном тумане рисунка странных пейзажей; мебель, прихотливее и прелестнее воздушных гирлянд в лунную ночь, не вызывала даже желания рассмотреть подробности. Задуманное и явленное, как хор, действующий согласием множества голосов, это артистическое безумие сияло из-за черного мрамора, как утро сквозь ночь.

Между тем дальний от меня конец залы, под галереей для оркестра, выказывал зрелище, где его творец сошел из

поражающей красоты к удовольствию точного и законченного впечатления. Пол был застлан сплошь белым мехом, чистым, как слой первого снега. Слева сверкал камин литого серебра с узором из малахита, а стены, от карниза до пола, скрывал плюш, пропуская блеск овальных зеркал ковром темно-зеленых листьев; внизу, на золоченой решетке, обходящей три стены, вился желтый узор роз. Эта комната или маленькая зала, с белым матовым светом одной люстры,—настоящего жемчужного убора из прозрачных шаров, свесившихся опрокинутым конусом,—совершенно остановила мое внимание; я засмотрелся в ее прекрасный уют, и, обернувшись наконец взглянуть, нет ли еще чего сзади меня, увидел, что Дюрок встал, протянув руку к дверям, где на черте входа остановилась девушка в белом и гибком, как она сама, платье, с разгоревшимся, нервно спокойным лицом, храбро устремив взгляд прямо вперед. Она шла, закусив губку, вся—ожидание. Я не узнал Молли,—так преобразилась она теперь: но тотчас схватило в горле, и все, кроме нее, пропало. Как безумный, я закричал:

— Смотрите, смотрите! Это Молли! Она пришла! Я знал, что придет!

Ужасен был взгляд Дюрока, которым он хватил меня, как жезлом. Ганувер, побледнев, обернулся, как на пружинах, и все, кто был в зале, немедленно посмотрели в эту же сторону. С Молли появился Эстамп; он только взглянул на Ганувера и отошел. Наступила чрезвычайная тишина,—совершенное отсутствие звука, и в тишине этой, обрonnenное или стукнутое, тонко прозвенело стекло.

Все стояли по шею в воде события, нахлынувшего внезапно. Ганувер подошел к Молли, протянув руки, с забывшимся и диким лицом. На него было больно смотреть,—так вдруг ушел он от всех к одной, которую ждал. «Что случилось?»—прозвучал осторожный шепот. В эту минуту оркестр, мягко двинув мелодию, дал знать, что мы были в Замечательную Страну.

Дюрок махнул рукой на балкон музыкантам с такой силой, как будто швырнул камнем. Звуки умолкли. Ганувер взял приподнятую руку девушки и тихо посмотрел ей в глаза.

— Это вы, Молли?—сказал он, оглядываясь с улыбкой.

— Это я, милый, я пришла, как обещала. Не грустите теперь!

— Молли,— он хрипло вздохнул, держа руку у горла, потом притянул ее голову и поцеловал в волосы.— Молли!— повторил Ганувер.— Теперь я буду верить всему!— Он обернулся к столу, держа в руке руку девушки, и сказал:— Я был очень беден. Вот моя невеста, Эмилия Варрен. Я не владею собой. Я не могу больше владеть собой, и вы не осудите меня.

— Это и есть фея!— сказал капитан Орсуна.— Клянись, это она!

Дрожащая рука Галуэя, укрепившего моноколь, резко упала на стол.

Дигэ, опустив внимательный взгляд, которым осматривала вошедшую, встала, но Галуэй усадил ее сильным, грубым движением.

— Не смей!— сказал он.— Ты будешь сидеть.

Она опустилась с презрением и тревогой, холодно двинув бровью. Томсон, прикрыв лицо рукой, сидел, катая хлебный шарик. Я все время стоял. Стояли также Дюрок, Эстамп, капитан и многие из гостей. На праздник, как на луг, легла тень. Началось движение, некоторые вышли из-за стола, став ближе к нам.

— Это — вы?— сказал Ганувер Дюроку, указывая на Молли.

— Нас было трое,— смеясь, ответил Дюрок.— Я, Санди, Эстамп.

Ганувер сказал:

— Что это...— Но его голос оборвался.— Ну, хорошо,— продолжал он,— сейчас не могу я благодарить. Вы понимаете. Оглянитесь, Молли,— заговорил он, ведя рукой вокруг,— вот все то, как вы строили на берегу моря, как это нам представлялось тогда. Узнаете ли вы теперь?

— Не надо...— сказала Молли, потом рассмеялась.— Будьте спокойнее. Я очень волнуюсь.

— А я? Простите меня! Если я помешаюсь, это так и должно быть. Дюрок! Эстамп! Орсуна! Санди, плут! И ты тоже молчал,— вы все меня подожгли с четырех концов! Не сердитесь, Молли! Молли, скажите что-нибудь! Кто же мне объяснит все?

Девушка молча сжала и потрясла его руку, мужественно обнажая этим свое сердце, которому пришлось испытать так много за этот день. Ее глаза были полны слез.

— Эверест,— сказал Дюрок,— это еще не все!

— Совершенно верно,— с вызовом откликнулся Галуэй, вставая и подходя к Гануверу.— Кто, например, объяснит мне кое-что непонятное в деле моей сестры, Дигэ Альвавиз? Знает ли эта девушка?

— Да,— растерявшись, сказала Молли, взглядывая на Дигэ,— я знаю. Но ведь я — здесь.

— Наконец, избавьте меня...— произнесла Дигэ, вставая,— от какой бы то ни было вашей поэзы, Галуэй, по крайней мере, в моем присутствии.

— Август Тренк,— сказал, прихлопывая всех, Дюрок Галуэю,— я объясню, что случилось. Ваш товарищ, Джек Гаррисон, по прозвищу «Вас-ис-дас» и ваша любовница Этель Мейер должны понять мой намек или признать меня довольно глупым, чтобы уметь выяснить положение. Вы проиграли!

Это было сказано громко и тяжело. Все оцепенели. Гости, покинув стол, собрались тучей вокруг налетевшего действия. Теперь мы стояли среди толпы.

— Что это значит?— спросил Ганувер.

— Это финал!— вскричал, выступая, Эстамп.— Три человека собрались ограбить вас под чужим именем. Каким образом,— вам известно.

— Молли,— сказал Ганувер, вздрогнув, но довольно спокойно,— и вы, капитан Орсун! Прошу вас, уведите ее. Ей трудно быть сейчас здесь.

Он передал девушку, послушную, улыбающуюся, в слезах, мрачному капитану, который спросил: «Голубушка, хотите, посидим с вами немного?» — и увел ее. Уходя, она приостановилась, сказав: «Я буду спокойной. Я все объясню, все расскажу вам,— я вас жду. Простите меня!»

Так она сказала, и я не узнал в ней Молли из бордингауза. Это была девушка на своем месте, потрясенная, но стойкая в тревоге и чувстве. Я подивился также самообладанию Галуэя и Дигэ; о Томсоне трудно сказать что-нибудь определенное: услышав, как заговорил Дюрок, он встал, заложил руки в карманы и свистнул.

Галуэй поднял кулак в уровень с виском, прижал к голове и резко опустил. Он растерялся лишь на одно мгновение. Шевеля веером у лица, Дигэ безмолвно смеялась, продолжая сидеть. Дамы смотрели на нее, кто в упор, с ужасом, или через плечо, но она, как бы не замечая этого оскорбительного внимания, следила за Галуэем.

Галуэй ответил ей взглядом человека, получившего удар по щеке.

— Канат лопнул, сестричка!— сказал Галуэй.

— Ба!— произнесла она, медленно вставая, и, притворно зевнув, обвела бессильно высокомерным взглядом толпу лиц, взиравших на сцену с молчаливой тревогой.

— Дигэ,— сказал Ганувер,— что это? Правда?

Она пожала плечами и отвернулась.

— Эдесь Бен Дрек, переодетый слугой,— заговорил Дюрок.— Он установил тождество этих людей с героями шантажной истории в Ледингенте. Дрек, где вы? Вы нам нужны!

Молодой слуга, с черной прядью на лбу, вышел из толпы и весело кивнул Галуэю.

— Алло, Тренк!— сказал он.— Десять минут тому назад я переменил вашу тарелку.

— Вот это торжество!— вставил Томсон, проходя вперед всех ловким поворотом плеча.— Открыть имя труднее, чем повернуть стену. Ну, Дюрок, вы нам поставили шах и мат. Ваших рук дело!

— Теперь я понял,— сказал Ганувер.— Откройтесь! Говорите все. Вы были гостями у меня. Я был с вами любезен, кланюсь,— я вам верил. Вы украли мое отчаяние, из моего горя вы сделали воровскую отмычку! Вы, вы, Дигэ, сделали это! Что вы, безумные, хотели от меня? Денег? Имени? Жизни?

— Добычи,— сказал Галуэй.— Вы меня мало знаете.

— Август, он имеет право на откровенность,— заметила вдруг Дигэ,— хотя бы в виде подарка. Знайте,— сказала она, обращаясь к Гануверу, и мрачно посмотрела на него, в то время как ее губы холодно улыбались,— знайте, что есть способы сократить дни человека незаметно и мирно. Надеюсь, вы оставите завещание?

— Да.

— Оно было бы оставлено мне. Ваше сердце в благоприятном состоянии для решительного опыта без всяких следов.

Ужас охватил всех, когда она сказала эти томительные слова. И вот произошло нечто, от чего я содрогнулся до слез; Ганувер пристально посмотрел в лицо Этель Мейер, взял ее руку и тихо поднес к губам. Она вырвала ее с ненавистью, отшатнувшись и вскрикнув.

— Благодарю вас,— очень серьезно сказал он,— за то мужество, с каким вы открыли себя. Сейчас я был как ребенок, испугавшийся темного угла, но знающий, что сзади него в другой комнате — светло. Там голоса, смех и отдых. Я счастлив, Дигэ— в последний раз я вас называю «Дигэ». Я расстаюсь с вами, как с гостьей и женщиной. Бен Дрек, дайте наручники!

Он отступил, пропустив Дрека. Дрек помахал браслетами, ловко поймав отбивающуюся женскую руку; запор звякнул, и обе руки Дигэ, бессильно рванувшись, отразили в ее лице злое мучение. В тот же момент был пойман лакеями пытавшийся увернуться Томсон и выхвачен револьвер у Галуэя. Дрек заковал всех.

— Помните,— сказал Галуэй, шатаясь и задыхаясь,— помните, Эверест Ганувер, что сзади вас не светло! Там не освещенная комната. Вы идите.

— Что, что?— вскричал дон Эстебан.

— Я развиваю скандал,— ответил Галуэй,— и вы меня не ударите, потому что я окован. Ганувер, вы дурак! Неужели вы думаете, что девушка, которая только что была здесь, и этот дворец — совместимы? Стоит взглянуть на ее лицо. Я вижу вещи, как они есть. Вам была нужна одна женщина,— если бы я ее бросил для вас — моя любовница, Этель Мейер; в этом доме она как раз то, что требуется. Лучше вам не найти. Ваши деньги понеслись бы у нее в хвосте диким аллюром. Она знала бы, как завоевать самую беспощадную высоту. Из вас, ничтожества, умеющего только грезить, обладая Голкондой, она свила бы железный узел, показала прелесть, вам неизвестную, растленной жизни с запахом гиацинта. Вы сделали преступление, отклонив золото от его прямой цели,— расти и давить,— заставили тигра улыбаться игрушкам, и все это ради того, чтобы бросить драгоценный каприз к ногам девушки, которая будет простосердечно смеяться, если ей показать палец! Мы знаем вашу историю. Она куплена нами и была бы зачеркнута. Была бы! Теперь вы ее продолжаете. Но вам не удастся вывести прямую черту. Меж вами и Молли станет двадцать тысяч шагов, которые нужно сделать, чтобы обойти все эти,— клянусь!— превосходные залы,— или она сама делается Эмилией Ганувер — больше, чем вы хотите того, трижды, сто раз Эмилия Ганувер!

— Никогда!— сказал Ганувер.— Но двадцать тысяч шагов... Ваш счет верен. Однако я запрещаю говорить дальше об этом. Бен Дрек, раскуйте молодца, раскуйте женщину и того, третьего. Гнев мой улегся. Сегодня никто не должен пострадать, даже враги. Раскуйте, Дрек!— повторил Ганувер изумленному агенту.— Вы можете продолжать охоту, где хотите, но только не у меня.

— Хорошо,— ох!— Дрек, страшно досадуя, освободил закованных.

— Комедиант!— бросила Дигэ с гневом и смехом.

— Нет,— ответил Ганувер,— нет. Я вспомнил Молли. Это ради нее. Впрочем, думайте, что хотите. Вы свободны. Дон Эстебан, сделайте одолжение, напишите этим людям чек на пятьсот тысяч, и чтобы я их больше не видел!

— Есть,— сказал судовладелец, вытаскивая чековую тетрадь, в то время, как Эстамп протянул ему механическое перо.— Ну, Тренк, и вы, мадам Мейер,— отгадайте: поза или пирог?

— Если бы я мог,— ответил в бешенстве Галуэй,— если бы я мог передать вам свое полнейшее равнодушие к мнению обо мне всех вас,— так как оно есть в действительности, чтобы вы поняли его и остолбенели,— я, не колеблясь, сказал бы: «Пирог» и ушел с вашим чеком, смеясь в глаза. Но я сбит. Вы можете мне не поверить.

— Охотно верим,— сказал Эстамп.

— Такой чек стоит всякой утонченности,— провозгласил Томсон,— и я первый благословляю наносимое мне оскорбление.

— Ну, что там...— с ненавистью сказала Дигэ.

Она выступила вперед, медленно подняла руку и, смотря прямо в глаза дон Эстебану, выхватила чек из руки, где он висел, удерживаемый концами пальцев. Дон Эстебан опустил руку и посмотрел на Дюрока.

— Каждый верен себе,— сказал тот, отвертываясь.

Эстамп поклонился, указывая дверь.

— Мы вас не удерживаем,— произнес он.— Чек ваш, вы свободны, и больше говорить не о чем.

Двое мужчин и женщина, плечи которой казались сзади в этот момент пригнутыми резким ударом, обменялись вполголоса немногими словами и, не взглянув ни на кого, поспешно ушли. Они больше не казались живыми существами. Они были убиты на моих глазах выстрелом из чековой книжки. Через дверь самое далекое зеркало повторило дви-

жения удаляющихся фигур, и я, бросившись на стул, неудержимо заплакал, как от смертельной обиды, среди волнения потрясенной толпы, спешившей разойтись.

Тогда меня коснулась рука, я поднял голову и с горьким стыдом увидел ту веселую молодую женщину, от которой взял розу. Она смотрела на меня внимательно с улыбкой и интересом.

— О, простота! — сказала она. — Мальчик, ты плачешь потому, что скоро будешь мужчиной. Возьми этот, другой цветок на память от Камиллы Флерон!

Она взяла из вазы, ласково протянув мне, а я машинально сжал его — георгин цвета вишни. Затем я, также машинально, опустил руку в карман и вытащил потемневшие розовые лепестки, которыми боялся сорить. Дама исчезла. Я понял, что она хотела сказать э т и м, значительно позже.

Георгин я храню по сей день.

XIX

Между тем почти все разошлись, немногие оставшиеся советовались о чем-то по сторонам, вдалеке от покинутого стола. Несколько раз пробегающие взад и вперед слуги были задержаны жестами одиноких групп и беспомощно разводили руками или же давали знать пожатием плеч, что происшествия этого вечера для них совершенно темны. Вокруг тревожной пустоты разлетевшегося в прах торжества без восхищения и внимания сверкали из-за черных колонн покинутые чудеса золотой цепи. Никто более не входил сюда. Я встал и вышел. Когда я проходил третью по счету залу, замечая иногда удаляющуюся тень или слыша далеко от себя звуки шагов, — дорогу пересек Поп. Увидев меня, он встrepенулся.

— Где же вы?! — сказал Поп. — Я вас ищу. Пойдемте со мной. Все кончилось очень плохо!

Я остановился в испуге, так что, спеша и опередив меня, Поп должен был вернуться.

— Не так страшно, как вы думаете, но чертовски скверно. У него был припадок. Сейчас там все, и он захотел видеть вас. Я не знаю, что это значит. Но вы пойдете, не правда ли?

— Побежим! — вскричал я. — Ну, ей, должно быть, здорово тяжело!

— Он оправится,— сказал Поп, идя быстрым шагом, но как будто топтался на месте — так я торопился сам. — Ему уже значительно лучше. Даже немного посмеялись. Знаете, он запустил болезнь и никому не пикнул об этом! Вначале я думал, что мы все виноваты. А вы как думаете?

— Что же меня спрашивать? — возразил я с обидой. — Ведь я знаю менее всех!

— Не очень виноваты,— продолжал он, обходя мой ответ. — В чем-то не виноваты, это я чувствую. Ах,— как он радовался! Тс! Это его спальня.

Он постучал в замкнутую высокую дверь, и, когда собирался снова стучать, Эстамп открыл изнутри, немедленно отойдя и договаривая в сторону постели прерванную нашим появлением фразу — «...поэтому вы должны спать. Есть предел впечатлениям и усилиям. Вот пришел Санди».

Я увидел прежде всего сидящую у кровати Молли; Ганувер держал ее руку, лежа с высоко поднятой подушкой головой. Рот его был полураскрыт, и он трудно дышал, говоря с остановками, негромким голосом. Между краев расстегнутой рубашки был виден грудной компресс.

В этой большой спальне было так хорошо, что вид больного не произвел на меня тяжелого впечатления. Лишь присмотревшись к его как бы озаренному тусклым светом лицу, я почувствовал скверное настроение минуты.

У другого конца кровати сидел, заложив ногу на ногу, Дюрок, дон Эстебан стоял посредине спальни. У стола доктор возился с лекарствами. Капитан Орсун ходил из угла в угол, заложив за широкую спину обветренные, короткие руки. Молли была очень нервна, но улыбалась, когда я вошел.

— Сандерсончик! — сказала она, блеснув на момент живостью, которую не раздавило ничто. — Такой был хорошенький в платочке! А теперь... Фу!.. Вы плакали?

Она замахала на меня свободной рукой, потом поманила пальцем и убрала с соседнего стула газеты.

— Садитесь. Пустите мою руку,— сказала она ласково Гануверу. — Вот так! Сядем все чинно.

— Ему надо спать,— резко заявил доктор, значительно взглядывая на меня и других.

— Пять минут, Джонсон! — ответил Ганувер. — Пришла одна живая душа, которая тоже, я думаю, не терпит одиночества. Санди, я тебя позвал, — как знать, увидимся ли мы еще с тобой? — позвал на пару дружеских слов. Ты видел весь этот кошмар?

— Ни одно слово, сказанное там, — произнес я в лучшем своем стиле потрясенного взрослого, — не было так глубоко спрятано и запомнено, как в моем сердце.

— Ну, ну! Ты очень хвастлив. Может быть и в моем также. Благодарю тебя, мальчик, ты мне тоже помог, хотя сам ты был, как птица, не знающая, где сидит завтра.

— Ох, ох! — сказала Молли. — Ну как же он не знал? У него есть на руке такая надпись, — хотя я и не видела, но слышала.

— А вы?! — вскричал я, задетый по наболевшему месту устами той, которая должна была пощадить меня в эту минуту. — Можно подумать, — как же, — что вы очень древнего возраста! — Испугавшись собственных слов, едва я удержался сказать лишнее, но мысленно повторял: «Девчонка! Девчонка!»

Капитан остановился ходить, посмотрел на меня, щелкнул пальцами и грузно сел рядом.

— Я ведь не спорю, — сказала девушка, в то время как затихал смех, вызванный моей горячностью. — А может быть, я и правда старше тебя!

— Мы делаемся иногда моложе, иногда — старше, — сказал Дюрок.

Он сидел в той же позе, как на «Эспаньоле», отставив ногу, откинувшись, слегка опустив голову, а локоть положив на спинку стула.

— Я шел утром по береговому песку и услышал, как кто-то играет на рояле в доме, где я вас нашел, Молли. Точно так было семь лет тому назад, почти в той же обстановке. Я шел тогда к девушке, которой более нет в живых. Услышав эту мелодию, я остановился, закрыл глаза, заставил себя перенестись в прошлое и на шесть лет стал моложе.

Он задумался. Молли взглянула на него украдкой, потом, выпрямившись и улыбаясь, повернулась к Гануверу.

— Вам очень больно? — сказала она. — Быть может, лучше, если я тоже уйду?

— Конечно, нет,— ответил он.— Санди, Молли, которая тебя так сейчас обидела, была худым черномазым птенцом на тощих ногах всего только четыре года назад. У меня не было ни дома, ни ночлега. Я спал в брошенном бараке.

Девушка заволновалась и завертелась.

— Ах, ах! — вскричала она.— Молчите, молчите! Я вас прошу. Остановите его! — обратилась она к Эстампу.

— Но я уже оканчиваю,— сказал Ганувер,— пусть меня разразит гром, если я умолчу об этом. Она подсказывала, напевала, заглядывала в щель барака дня три. Затем мне были просунуты в дыру в разное время: два яблока, старый передник с печеным картофелем и фунт хлеба. Потом я нашел цепь.

— Вы очень меня обидели,— громко сказала Молли,— очень.— Немедленно она стала смеяться.— Там же и зарыли ее, эту цепь. Вот было жарко! Сандерс, вы чего молчите, позвольте спросить?

— Я ничего,— сказал я.— Я слушаю.

Доктор прошел между нами, взяв руку Ганувера.

— Еще минута воспоминаний,— сказал он,— тогда завтрашний день испорчен. Уйдите, прошу вас!

Дюрок хлопнул по колену рукой и встал. Все подошли к девушке — веселой или грустной? — трудно было понять, так тосковало, мгновенно освещаясь улыбкой или становясь внезапно рассеянным, ее подвижное лицо. Прощаясь, я сказал: «Молли, если я вам понадобится, рассчитывайте на меня!..» — и, не дожидаясь ответа, быстро выскочил первый, почти не помня, как холодная рука Ганувера стиснула мою крепким пожатием.

На выходе сошлись все. Когда вышел доктор Джонсон, тяжелая дверь медленно затворилась. Ее щель сузилась, блеснула последней чертой и исчезла, скрыв за собой двух людей, которым, я думаю, нашлось поговорить кое о чем, — без нас и иначе, чем при нас.

— Вы тоже ушли? — сказал Джонсону Эстамп.

— Такая минута,— ответил доктор.— Я держусь мнения, что врач должен иногда смотреть на свою задачу несколько шире закона, хотя бы это грозило осложнениями. Мы не всегда знаем, что важнее при некоторых обстоятельствах — жизнь или смерть. Во всяком случае, ему пока хорошо.

Капитан, тихо разговаривая с Дюроком, удалился в соседнюю гостиную. За ними ушли дон Эстебан и врач. Эстамп шел некоторое время с Попом и со мной, но на первом повороте, кивнув, «исчез по своим делам», — как он выразился. Отсюда недалеко было в библиотеку, пройдя которую, Поп зашел со мной в мою комнату и сел с явным изнеможением; я, постояв, сел тоже.

— Так вот, — сказал Поп. — Не знаю, засну ли сегодня.

— Вы их выследили? — спросил я. — Где же они теперь?

— Исчезли, как камень в воде. Дрек сбился с ног, подкарауливая их на всех выходах, но одному человеку трудно поспеть сразу к множеству мест. Ведь здесь двадцать выходов, толпа, суматоха, переполох, и, если они переоделись, изменив внешность, то вполне понятно, что Дрек сплеховал. Ну и он, надо сказать, имел дело с первостатейными артистами. Все это мы узнали потом, от Дрека. Дюрок вытащил его телеграммой; можете представить, как он торопился, если заказал Дреку экстренный поезд! Ну, мы поговорим в другой раз. Второй час ночи, а каждый час этих суток надо считать за три — так все устали. Спокойной ночи!

Он вышел, а я подошел к кровати, думая, не вызовет ли ее вид желания спать. Ничего такого не произошло. Я не хотел спать: я был возбужден и неспокоен. В моих ушах все еще стоял шум; отдельные разговоры без моего усилия звучали снова с характерными интонациями каждого говорящего. Я слышал смех, восклицания, шепот и, закрыв глаза, погрузился в мелькание лиц, прошедших передо мной за эти часы...

Лишь после пяти лет, при встрече с Дюроком я узнал, отчего Дигэ, или Этель Мейер, не смогла в назначенный момент сдвинуть стены и почему это вышло так молниеносно у Ганувера. Молли была в павильоне с Эстампом и женой слуги Паркера. Она сама захотела появиться ровно в двенадцать часов, думая, может быть, сильнее обрадовать Ганувера. Она опоздала совершенно случайно. Между тем, видя, что ее нет, Поп, дежуривший у подъезда, бросился в камеру, где были электрические соединения, и разъединил ток, решив, что, как бы ни было, но Дигэ не произведет предполагаемого эффекта. Он закрыл ток на две минуты, после чего Ганувер вторично отвел металлический завиток.

I

В 1915 году эпидемия желтой лихорадки охватила весь полуостров и прилегающую к нему часть материка. Бедствие достигло грозной силы; каждый день умирало по пятьсот и более человек.

Незадолго перед тем в числе прочей команды вновь отстроенного парохода «Валкирия», я был послан принять это судно от судостроительной верфи Ратнера и К⁰ в Лисс, где мы и застряли, так как заболела почти вся нанятая для «Валкирии» команда. Кроме того, строгие карантинные правила по разным соображениям не выпустили бы нас с кораблем из порта ранее трех недель, и я, поселившись в гостинице на набережной Канье, частью скучал, частью проводил время с сослуживцами в буфете гостиницы, но более всего скитался по городу, надеясь случайно встретиться с кем-нибудь из участников истории, разыгравшейся пять лет назад во дворце «Золотая цепь».

После того, как Орсуна утром на другой день после тех событий увез меня из «Золотой цепи» в Сан-Риоль, я еще не бывал в Лиссе — жил полным пансионером, и за меня платила невидимая рука. Через месяц мне написал Поп, — он уведомлял, что Ганувер умер на третий день от разрыва сердца и что он, Поп, уезжает в Европу, но зачем, надолго ли, а также что стало с Молли и другими, о том ничего не упомянул. Я много раз перечитал это письмо. Я написал также сам несколько писем, но у меня не было никаких адресов, кроме мыса Гардена и дона Эстебана. Эти письма я так и послал. В них я пытался разузнать адреса Попа и Молли, но, так как письмо в «Золотую цепь» было адресовано мной разом Эстампу и Дюроку, — ответа я не получил, может быть, потому, что они уже выехали оттуда. Дон Эстебан ответил; но ответил именно то, что не знает, где Поп, а адрес Молли не сообщает затем, чтобы я лишний раз не напомнил ей о горе своими посланиями. Под конец он советовал мне заняться моими собственными делами.

Итак, я больше никому не писал, но с возмущением и безрезультатно ждал писем еще месяца три, пока не доду-

мался до очень простой вещи: что у всех довольно своих дел и забот, кроме моих. Это открытие было неприятно, но помогло мне наконец оторваться от тех тридцати шести часов, которые я провел среди сильнейших волнений и опасности, восхищения, тоски и любви. Постепенно я стал вспоминать «Золотую цепь», как отзвучавшую песню, но чтобы ничего не забыть, потратил несколько дней на записывание всех разговоров и случаев того дня: благодаря этой старой тетрадке я могу теперь восстановить все доподлинно. Но еще много раз после того я видел во сне Молли и, кажется, был равнодушен к ней очень долго, так как сердце мое начинало биться ускоренно, когда где-нибудь слышал я это имя.

На второй день прибытия в Лисс я посетил тот закоулок порта, где стояла «Эспаньола», когда я удрал с нее. Теперь стояли там две американских шхуны, что не помешало мне вспомнить, как пронзительно гудел ветер ночью перед появлением Дюрока и Эстампа. Я навел также справки о «Золотой цепи», намереваясь туда поехать на свидание с прошлым, но хозяин гостиницы рассказал, что этот огромный дом взят городскими властями под лазарет и там помещено множество эпидемиков. Относительно судьбы дома в общем известно было лишь, что Ганувер, не имея прямых наследников и не оставив завещания, подверг тем все имущество длительному процессу со стороны сомнительных претендентов, и дом был заперт все время до эпидемии, когда, по его уединенности, найдено было, что он отвечает всем идеальным требованиям гигантского лазарета.

У меня были уже небольшие усы: начала также пушиться нежная борода, такая жалкая, что я усердно снимал ее бритвой. Иногда я с достоинством поглядывал в зеркало, сжимал губы и двигал плечом, — плечи стали значительно шире.

Никогда не забывая обо всем этом, держа в уме своем изящество и молодцеватость, я проводил вечера либо в буфете, либо на бульваре, где облюбовал кафе «Тонус».

Однажды я вышел из кафе, когда не было еще семи часов, — я ожидал приятеля, чтобы идти вместе в театр, но он не явился, прислав подозрительную записку, — известно, какого рода, — а один я не любил посещать театр. Итак, это дело расстроилось. Я спустился к нижней аллее и прошел ее всю, а когда хотел повернуть к городу, навстречу мне попался старик в летнем пальто, котелке, с тросточкой, види-

мо, вышедший погулять, так как за его свободную руку держалась девочка лет пяти.

— Паркер! — вскричал я, становясь перед ним лицом к лицу.

— Верно, — сказал Паркер, всматриваясь. Память его усиленно работала, так как лицо попеременно вытягивалось, улыбалось и силилось признать, кто я такой. — Что-то припоминаю, — заговорил он нерешительно, — но извините, последние годы плохо вижу.

— «Золотая цепь»! — сказал я.

— Ах, да! Ну, значит... Нет, разрази бог, — не могу вспомнить.

Я хлопнул его по плечу:

— Санди Пруэль, — сказал я, — тот самый, который все знает!

— Паренек, это ты?! — Паркер склонил голову набок, прося и умильно затормошничал: — О, никак не узнать! Форма к тебе идет! Вырос, раздвинулся. Ну что же, надо поговорить! А меня вот внучка таскает: «пойдем, дед, да пойдём», — любит со мной гулять.

Мы прошли опять в «Тонус» и заказали вино; девочке заказали сладкие пирожки, и она стала их анатомировать пальцем, мурлыча и болтая ногами, а мы с Паркером унеслись за пять лет назад. Некоторое время Паркер говорил мне «ты», затем постепенно проникся зрелищем перемены в лице изящного загорелого моряка, носящего штурманскую форму с привычной небрежностью опытного морского волка, — и перешел на «вы».

Естественно, что разговор был об истории и судьбе лиц, нам известных, а больше всего — о Молли, которая обвенчалась с Дюроком полтора года назад. Кроме того, я узнал, что оба они здесь и живут очень недалеко, — в гостинице «Пленэр», приехали по делам Дюрока, а по каким именно, Паркер точно не знал, но он был у них, оставшись очень доволен как приемом, так и угощением. Я был удивлен и рад, но больше рад за Молли, что ей не пришлось попасть в цепкие лапы своих братцев. С этой минуты мне уже не сиделось, и я машинально кивал, дослушивая рассказ старика. Я узнал также, что Паркер знал Молли давно, — он был ее дальним родственником с материнской стороны.

— А вы знаете, — сказал Паркер, — что она приезжала накануне того вечера, одна, тайно в «Золотую цепь» и что

я ей устроил? Не знаете... Ну, так она приходила проститься с тем домом, который покойник выстроил для нее, как она хотела,— глупая девочка! — и разыскала меня, закутанная платком по глаза. Мы долго ходили там, где можно было ходить, не рассчитывая кого-нибудь встретить. Ее глаза разблестелись,—так была поражена,—известно, Ганувер размахнулся, как он один умел это делать. Да. Большое удовольствие было написано на ее лице,—на нее было вкусно смотреть. Ходила и замирала. Оглядывалась. Постукивала ногой. Стала тихонько петь. Вот,—а это было в проходе между двух зал,—наперерез двери прошла та авантюристка с Ганувером и Галуэем. Молли отошла в тень, и нас никто не заметил. Я взглянул,—совсем другой человек стоял передо мной. Я что-то заговорил, но она махнула рукой,—заторопилась, умолкла и не говорила больше ничего, пока мы не прошли в сад и не разыскали лодку, в которой она приехала. Прощаясь, сказала: «Покажись, что никому не выдашь, как я ходила здесь с тобой сегодня». Я все понял, клятву дал, как она хотела, а про себя думал: «Вот сейчас я изложу ей все свои мнения, чтобы она выбросила эти мысли о Дигэ». И не мог. Уже пошел слух; я сам не знал, что будет, однако решился, а посмотрю на ее лицо,—нет охоты говорить, вижу по лицу, что говорить запрещает и уходит с обидой. Решался я так три раза и — не решился. Вот какие дела!

Паркер стал говорить дальше; как ни интересно было слушать обо всем, из чего вышли события того памятного вечера, нетерпение мое отправиться к Дюроку росло и разразилось тем, что, страдая и шевеля ногами под стулом, я, наконец, кликнул прислугу, чтоб расплатиться.

— Ну, что же, я вас понимаю,—сказал Паркер,—вам не терпится пойти в «Пленэр». Да и внучке пора спать.— Он снял девочку со стула и взял ее за руку, а другую руку протянул мне, сказав:

— Будьте здоровы!..

— До свидания! — закричала девочка, унося пирожки в пакете и кланяясь.— До свидания! спасибо! спасибо!

— А как тебя зовут? — спросил я.

— Молли! Вот как! — сказала она, уходя с Паркером.

Праведное небо! Знал ли я тогда, что вижу свою будущую жену? Такую беспомощную, немного повыше стула?!

Волнение прошлого. Несчастен тот, кто недоступен этому изысканному чувству; в нем расстилается свет сна и звучит грустное удивление. Никогда, никогда больше не повторится оно! По мере ухода лет, уходит его осязаемость, меняется форма, пропадают подробности. Кажется так, хотя его суть та,—та самая, в которой мы жили, окруженные заботами и страстями. Однако что-то изменилось и в существе. Как человек, выросший лишь умом — не сердцем, может признать себя в портрете десятилетнего,—так и события, бывшие несколько лет назад, изменяются вместе с нами и, заглянув в дневник, многое хочется переписать так, как ощущаешь теперь. Поэтому я осуждаю привычку вести дневник. Напрасная трата времени!

В таком настроении я отправил Дюроку свою визитную карточку и сел, читая газету, но держа ее вверх ногами. Не прошло и пяти минут, а слуга уже вернулся, почти бегом.

— Вас просят,—сказал он, и я поднялся в бельэтаж с замиранием сердца. Дверь открылась,—навстречу мне встал Дюрок. Он был такой же, как пять лет назад, лишь посеребрились виски. Для встречи у меня была приготовлена фраза: «Вы видите перед собой фигуру из мрака прошлого и верно с трудом узнаете меня, так я изменился с тех пор»,—но, сбившись, я сказал только: «Не ожидали, что я приду?»

— О, здравствуй, Санди! — сказал Дюрок, вглядываясь в меня.—Наверно, ты теперь считаешь себя старцем, для меня же ты прежний Санди, хотя и с петушиным баском. Отлично! Ты дома здесь. А Молли,—прибавил он, видя, что я оглядываюсь,—вышла; она скоро придет.

— Я должен вам сказать,—заявил я, впадая в прежнее свое легкомыслие искренности,—что я очень рад был узнать о вашей женитьбе. Лучшую жену,—продолжал я с неуместным и сбивающим меня самого жаром,—трудно найти. Да, трудно! — вскричал я, желая говорить сразу обо всем и бессильный соскочить с первой темы.

— Ты много искал, сравнивал? У тебя большой опыт? — спросил Дюрок, хватая меня за ухо и усаживая.—Молчи. Учись, войдя в дом, хотя бы и после пяти лет, ска-

зять несколько незначительных фраз, ходящих вокруг и около значительного, а потому, как бы значительных.

— Как?! Вы меня учите?..

— Мой совет хорош для всякого места, где тебя еще не знали болтливым и запальчивым мальчуганом. Ну, хорошо. Выкидывай свои пять лет. Звонок около тебя, протяни руку и позвони.

Я рассказал ему приключения первого моряка в мире, Сандерса Пруэля из Зурбагана (где родился) под самым лучшим солнцем, наиярчайше освещающим только мою фигуру, видимую всем, как статуя Свободы,— за шестьдесят миль.

В это время прислуга внесла замечательный старый ром, который мы стали пить из фарфоровых стопок, вспоминая происшествия на Сигнальном Пустыре и в «Золотой цепи».

— Хорошая была страница, правда? — сказал Дюрок. Он задумался, его выразительное, твердое лицо отразило воспоминание, и он продолжал: — Смерть Ганувера была для всех нас неожиданностью. Нельзя было подумать. Были приняты меры. Ничто не указывало на печальный исход. Очевидно, его внутреннее напряжение разразилось с большей силой, чем думали мы. За три часа до конца он сидел и говорил очень весело. Он не написал завещания, так как верил, что, сделав это, приблизит конец. Однако смерть уже держала свою руку на его голове. Но,— Дюрок взглянул на дверь,— при Молли я не буду поднимать более разговора об этом,— она плохо спит, если поговорить о тех днях.

В это время раздался легкий стук, дверь слегка приоткрылась и женский голос стал выговаривать рассудительным нежным речитативом: «Настой-чи-во про-ся впус-тить, нель-зя ли вас преду-пре-дить, что э-то я, ду-ша мо-я...»

— Кто там? — притворно громко осведомился Дюрок.

— При-шла оч-ко-вая змея,— докончил голос, дверь раскрылась, и вбежала молодая женщина, в которой я тотчас узнал Молли. Она была в костюме пепельного цвета и голубой шляпе. При виде меня, ее смеющееся лицо внезапно остыло, вытянулось и снова вспыхнуло.

— Конечно, я вас узнала! — сказала она.— С моей памятью, да не узнать подругу моих юных дней?! Сандерсончик, ты воскрес, милый?! Ну, здравствуй, и прости меня.

что я сочиняла стихи, когда ты, наверно, ждал моего появления. Что, уже выпиваете? Ну, отлично, я очень рада, и... и... не знаю, что еще вам сказать. Пока что я сяду.

Я заметил, как смотрел на нее Дюрок, и понял, что он ее очень любит; и оттого, как он наблюдал за ее рассеянными, быстрыми движениями, у меня родилось желание быть когда-нибудь в его положении.

С приходом Молли общий разговор перешел, главным образом, на меня, и я опять рассказал о себе, затем осведомился, где Поп и Эстамп. Молли без всякого стеснения говорила мне «ты», как будто я все еще был прежним Санди, да и я, присмотревшись теперь к ней, нашел, что хотя она стала вполне развившейся женщиной, но сохранила в лице и движениях три четверти прежней Молли. Итак, она сказала:

— Попа ты не узнал бы, хотя и «все знаешь»; извини, но я очень люблю дразниться. Поп стал такой важный, такой положительный, что хочется выйти вон! Он ворочает большими делами в чайной фирме. А Эстамп — в Мексике. Он поехал к больной матери; она умерла, а Эстамп влюбился и женился. Больше мы его не увидим.

У меня были желания, которые я не мог выполнить и беспредельно томился ими, улыбаясь и разговаривая, как заведенный. Мне хотелось сказать: «Вскрикнем,— увидимся и ужаснемся,— потонем в волнении прошедшего пять лет назад дня, вернем это острое напряжение всех чувств! Вы, Молли, для меня — первая светлая черта женской юности, увенчанная смехом и горем, вы, Дюрок,— первая твердая черта мужества и достоинства! Я вас встретил внезапно. Отчего же мы сидим так сдержанно? Отчего наш разговор так стиснут, так отвлечен?» Ибо перебегающие разговоры я ценил мало. Жар, страсть, слезы, клятвы, проклятия и рукопожатия,— вот, что требовалось теперь мне!

Всему этому — увы! — я тогда не нашел бы слов, но очень хорошо чувствовал, чего не хватает. Впоследствии я узнал, отчего мы мало вспоминали втроем и не были увлечены прошлым. Но и теперь я заметил, что Дюрок правит разговором, как штурвалом, придерживая более к прохладному северу, чем к пылкому югу.

— Кто знает?! — сказал Дюрок на ее «не увидим». — Вот Сандерс Пруэль сидит здесь и хмелеет мало-помалу. Встречи, да еще неожиданные, происходят чаще, чем об этом

принято думать. Все мы возвращаемся на старый след, кроме...

— Кроме умерших,— сказал я глупо и дико.

Иногда держишь в руках хрупкую вещь, рассеянно вертишь ее, как — хлоп! — она треснула. Молли призадумалась, потом шаловливо налила мне рома и стала напевать, сказав: «Вот это я сейчас вам сыграю». Вскочив, она ушла в соседнюю комнату, откуда загремел бурный бой клавиш. Дюрок тревожно оглянулся ей вслед.

— Она устала сегодня,— сказал он,— и едва ли вернется.— Действительно, во все возрастающем громе рояля слышалось упорное желание заглушить иной ритм.— Отлично,— продолжал Дюрок,— пусть она играет, а мы посидим на бульваре. Для такого предприятия мне не найти лучшего спутника, чем ты, потому что у тебя живая душа.

Уговорившись, где встретимся, я выждал, пока затихла музыка, и стал уходить.— «Молли! Санди уходит»,— сказал Дюрок. Она тотчас вышла и начала упрашивать меня приходить часто и «не вовремя»: «Тогда будет видно, что ты друг». Потом она хлопнула меня по плечу, поцеловала в лоб, сунула мне в карман горсть конфет, разыскала и подала фуражку, а я поднес к губам теплую, эластичную руку Молли и выразил надежду, что она будет находиться в добром здравьи.

— Я постараюсь,— сказала Молли,— только у меня бывают головные боли, очень сильные. Не знаешь ли ты средства? Нет, ты ничего не знаешь, ты лгун со своей надписью! Отправляйся!

Я больше никогда не видел ее. Я ушел, запомнив последнюю виденную мной улыбку Молли,— так, средней веселости, хотя не без юмора, и направился в «Портовый трибун»,— гостиницу, где должен был подождать Дюрока и где, к великому своему удивлению, обрел дядюшку Гро, размахивающего стаканом в кругу компании, восседающей на стульях верхом.

III

Составьте несколько красных клиньев из сырого мяса и рыжих конских волос, причем не надо заботиться о направлении, в котором торчат острия, разрежьте это сцепление внизу поперечной щелью, а сверху вставьте пару гнилых орехов, и вы получите подобие физиономии Гро.

Когда я вошел, со стула из круга этой компании, вскочил, почесывая за ухом, матрос и сказал подошедшему с ним товарищу: «А ну его! Опять врет, как выборный кандидат!»

Я смотрел на Гро с приятным чувством безопасности. Мне было интересно, узнает ли он меня. Я сел за стол, бывший по соседству с его столом, и нарочно громко потребовал холодного пунша, чтобы Гро обратил на меня внимание. Действительно, старый шкипер, как ни был увлечен собственными повествованиями, обернулся на мой крик и печально заметил:

— Штурман шумит. То-то, поди, денег много!

— Много ли или мало,— сказал я,— не вам их считать, почтеннейший шкипер!

Гро несочувственно облизал языком усы и обратился к компании.

— Вот,— сказал он,— вот вам живая копия Санди Пруэля! Так же отвечал, бывало, и вечно дерзил. Смее просить, нет ли у вас брата, которого зовут Сандерс?

— Нет, я один,— ответил я,— но в чем дело?

— Очень вы похожи на одного молодца, разрази его гром! Такая неблагодарная скотина! — Гро был пьян и стакан держал наклонно, поливая вином штаны. — Я обращался с ним, как отец родной, и воистину отогрел змею! Говорят, этот Санди теперь разбогател, как набоб; про то мне неизвестно, но что он за одну штуку получил, воспользовавшись моим судном, сто тысяч банковыми билетами, — в этом я и сейчас могу поклясться мачтами всего света!

На этом месте часть слушателей ушла, не желая слышать повторения бредней, а я сделал вид, что очень заинтересован историей. Тогда Гро напал на меня, и я узнал о похождении Санди Пруэля. Вот эта история.

Пять лет назад понадобилось тайно похоронить родившегося от незаконной любви двухголового человека, росшего в заточении и умершего оттого, что одна голова засохла. Ради этого, подкупив матроса Санди Пруэля, неизвестные люди связали Санди, чтобы на него не было подозрения, и вывезли труп на мыс Гардена, где и скрыли его в обширных склепах «Золотой цепи». За это дело Санди получил сто тысяч, а Гро только пятьсот пиастров, правда, золотых, — но, как видите, очень мало по сравнению с гонораром Санди. Вскорости труп был вынут, покрыт лаком и оживлен электричеством, так что стал как живой отвечать на вопро-

сы и его до сих пор выдают за механическую фигуру. Что касается Санди,— он долго был известен на полуострове, как мот и пьяница, и был арестован в Зурбагане, но скоро выпущен за большие деньги.

На этом месте легенды, имевшей, может быть, еще более поразительное заключение (как странно, даже жутко было мне слышать ее!), вошел Дюрок. Он был в пальто, шляпе и имел поэтому другой вид, чем ночью, при начале моего рассказа, но мне показалось, что я снова погружаюсь в свою историю, готовую начаться сызнова. От этого напала на меня непонятная грусть. Я поспешно встал, покинул Гро, который так и не признал меня, но, видя, что я уйду, вскричал:

— Штурман, эй, штурман! Один стакан Гро в память этого свингуса Санди, разорившего своего шкипера!

Я подозвал слугу и в присутствии Дюрока, с любопытством следившего, как я поступлю, заказал для Гро и его собутыльников восемь бутылок портвейна. Потом, хлопнув Гро по плечу так, что он отшатнулся,— сказал:

— Гро, а ведь я и есть Санди!

Он мотнул головой, всхлипнул и уставился на меня.

Наступило общее молчание.

— Восемь бутылок,— сказал наконец Гро, машинально шаря в кармане и рассматривая мои колени.— Врешь! — вдруг закричал он. Потом Гро сник и повел рукой, как бы отстраняя трудные мысли.

— А,— может быть!.. Может быть...— забормотал Гро.— Гм... Санди! Все может быть! Восемь бутылок, буты...

На этом мы покинули его, вышли и прошли на бульвар, где сели в каменную ротонду. Здесь слышался отдаленный плеск волн; на другой аллее, повыше, играл оркестр. Мы провели славный вечер и обо всем, что здесь рассказано, вспомнили и переговорили со всеми подробностями. Потом Дюрок распрощался со мной и исчез по направлению к гостинице, где жил, а я, покуривая, выпивая и слушая музыку, ушел душой в Замечательную Страну и долго смотрел в ту сторону, где был мыс Гардена. Я размышлял о словах Дюрока про Ганувера: «Его ум требовал живой сказки; душа просила покоя». Казалось мне, что я опять вижу внезапное появление Молли перед нарядной толпой и слышу ее прерывистые слова.

— Это я, милый! Я пришла, как обещала! Не грустите теперь!

Р Рассказы

1916 - 1923

СЛЕПОЙ ДЕЙ КАНЕТ

Юс, сторож дровяных складов у сельца Кипа, лежащего на берегу реки Милет, закусив так плотно, что стало давить под ложечкой, в хорошем расположении духа сидел у синей воды, курил и думал, что, тратя каждый день на еду тридцать копеек, сможет носить каждую субботу в сберегательную кассу ровно три рубля, которые, если относиться к этому делу внимательно и любовно, дадут через десять лет сумму в тысячу пятьсот рублей. Юс отведет душу, вознаградив жадное тело за лишения прошлого роскошным пиршеством, с женщинами, вином, сигарами, песнями и цветами, а на остальные купит трактир и женится. Вот он, победитель жизни, богатый трактирщик Юс, идет в праздник с женой по улице... Все снимают шапки.. Бьют барабаны...

Юс, размечтавшись, встал; ему не сиделось более; он хотел еще раз взглянуть на главную улицу Кипы, где будет стоять трактир.

На улице, где куры полоскались в пыли и в предвечернем солнце рдели оконные стекла, ни души не было, только слепой Дей Канет сидел, как всегда, на лавочке у цветочно-

го палисада дяди Эноха. Дей был человеком лет сорока с красивым, бледным, неживым лицом (благодаря слепоте). Нищий, но опрятный костюм Дея не производил жалкого впечатления,—в спокойной позе и закрытых глазах слепого было нечто решительное.

Дей Канет жил в Кипе около месяца. Никто не знал, откуда он пришел, и сам он никому не сказал об этом. И ничего никому не сказал о себе,—совсем.

Услышав шаги, слепой повернул голову. Юс любил подразнить Дея,—слепой был ненавистен ему. Как-то раз у дяди Эноха сторож в присутствии Дея распространился о «разных проходимцах, желающих сесть на шею людям трудящимся и почтенным»; Энох покраснел, а Дей спокойно заметил: «Я рад, что совсем не вижу более злых людей».

— Как же,—сказал Юс умильным тоном, присаживаясь на скамейку Дея,—вы вышли полюбоваться прекрасной погодой?

— Да,—помолчав, мягко сказал Дей.

— Погода удивительная. Как горы ясно видны! Кажется, рукой достанешь.

— Да,—согласился Дей,—да.

Юс помолчал. Глаза его весело блеснули; он оживился, он чувствовал даже некоторую благодарность к Дею за бесплатное развлечение.

— Как неприятно все-таки, я думаю, ослепнуть,—продолжал он, стараясь не рассмеяться и говоря деланно-соболезнующим тоном.—Большое, большое, я думаю, страдание: ничего не видеть. Я вот, например, газету могу читать в трех шагах от себя. Честное слово. Ах, какая кошечка хорошенькая пробежала! Как вы думаете, Канет, отчего на этих горах всегда лежит снег?

— Там холодно,—сказал Дей.

— Так, так... А почему он кажется синим?

Дей не ответил. Ему начинала надоедать эта игра в «кошку и мышку».

«Ладно, молчи,—подумал Юс,—я вот сейчас проколю тебя».

— Вы видите что-нибудь?—спросил он.

— Не думаю,—сказал, улыбнувшись, Дей,—да, едва ли я вижу что-нибудь теперь.

— Ах, какая жалость! — вздохнул Юс.— Жаль, что через несколько лет вы не увидите моего прекрасного тропи-

ра. Да, да! Впрочем, едва ли вы видели вообще что-нибудь, даже пока не ослепли.

От собственного своего раздражения, не получившего отпора, Юс впал в угрюмость и замолчал. Набив трубку и задымив, он покосился на Дея, сидевшего с лицом подставленным солнцу. Прошла минута, другая,— вдруг Дей сказал:

— Однажды я играл в столичном королевском театре.

От неожиданности Юс уронил трубку,— Дей никогда не говорил о себе.

— Как-с? Что-с? — растерянно спросил он.

Дей, мягко улыбаясь, продолжал ровным, веселым голосом:

— ...Играл в театре. Я был знаменитым трагиком, часто бывал во дворце и очень любил свое искусство. Так вот, Юс, я выступал в пьесе, действие которой приблизительно отвечало событиям того времени. Дело в том, что висело на волоске быть или не быть некоему важному, государственного значения, мероприятию, от чего зависело благо народа. Король и министры колебались. Я должен был провести свою роль так, чтобы растрогать этих высокопоставленных лиц,— склонить, наконец, решиться на то, что было необходимо. А это трудно,— трудная задача предстояла мне, Юс. Весь двор присутствовал на спектакле.

Когда после третьего действия упал занавес, а затем снова шумно взвился, чтобы показать меня, вызываемого такими аплодисментами, какие подобны буре,— я вышел и увидел, что весь театр плачет, и увидел слезы на глазах самого короля и понял, что я сделал свое дело хорошо. Действительно, Юс, я играл в тот вечер так, как если бы от этого зависела моя жизнь.

Дей помолчал. В неподвижной руке Юса потухла трубка.

— Решение было принято. Чувство победило осторожность. Затем, Юс, выйдя уже последний раз на сцену, чтобы проститься со зрителями, я увидел столько цветов, сколько было бы, если бы собрать все цветы Миетской долины и принести сюда. Цветы эти предназначались мне.

Дей смолк и задумался. Он совершенно забыл о Юсе. Сторож, угрюмо встав, направился к своему шалашу, и хотя летний день, потеряв ослепительность зенита, еще горел над горами блеском дальних снегов, казалось Юсу, что вокруг глухого сельца Кипы, и в самом сельце, и над рекой, и везде стало совсем темно.



«КОРАБЛИ В ЛИССЕ»



«ПРОПАВШЕЕ СОЛНЦЕ»

ОГОНЬ И ВОДА

I

Леон Штрих, в надежде, что его история с оппозицией диктатору области кончится благополучно, поселился у самой границы, однако вне пределов досягаемости. Теперь он находился всего лишь в тридцати верстах от города и дома, где проживала его семья. Значительные и властные лица хлопотали о разрешении Штриху вернуться на родину. Это тугое и обременительное для многих дело шаг за шагом подвигалось, как можно было уже надеяться, к благополучному концу. Штрих, бесконечно влюбленный в семью, скрашивал свое нетерпеливое тягостное уединение тем, что в ясные дни, когда даль сбрасывала туманы окрестных болот, взбирался на холмы Железного Клина и подолгу смотрел через бухту на рой туманных блесток далекого Зурбагана. Мысленно определив место, где стоял дом, Штрих вскрывал воображением все его этажи и, мысленно же побывав с детьми и женой, согревшись их обществом, возвращался к своему убежищу, — маленькому деревянному домику рыбака, стоявшему на краю деревни, в конце Железного Клина, неподалеку от линии моря.

Он жил здесь около года, утешаясь предельной близостью к городу. Жена и дети часто писали ему. Он вскрывал письма, опустив оконные занавески, чтобы не рассеиваться ничем, и читал их по несколько раз, до утомления, стараясь определить мысли, пронесившиеся в уме писавшего, меж фразами и знаками препинания. Иногда он рассматривал отдельные буквы, ломая голову при поспешном или старательном начертании их; также над запятыми, точка-

ми, особенно в письмах жены. «Не знала, что писать дальше, ей скучно»,— воображал он иногда, и его сердце при виде отчетливо вкрапленной где-нибудь в середине письма точки — сжималось. Зато он ликовал, получая мелко исписанные страницы с приписками на полях и поперек текста. Его жене было двадцать четыре года, мальчику — восемь и пять — девочке. Он жил только семьей; жалел, что приходится спать, отнимая время у дум о близких; часто в минуты глубокой рассеянности он почти видел их перед собой, говоря в полузабытьи с ними как с присутствующими. Временами он принимался бранить себя за то, что вязался в политику — с яростью, превышающей, вероятно, ярость его противника.

Он ничего не делал и жил, слоняясь целыми днями по береговому скалам, на солнечном ветре, избегая людей, чувствуя большую ревность к самому себе при встречах с ними, так как невольно вникал в чужие интересы, страдания, надежды, обманы. Рыбаки начали дичиться его. Он неохотно отвечал на вопросы, — улыбался, когда жаловались на что-либо, морщился, когда с ним делились радостью, часто говорил невпопад, резко прощался.

Кузнец, хозяин дома, где он жил, человек неслововоотливый, но любивший выпить и покурить вдвоем, был единственный человек, которого терпел Штрих. Кузнец являлся по вечерам. Штрих ставил на стол бутылку, папиросы и принимался рассказывать о своих. У него мальчик и девочка. Его мучает иногда то, что которого-то из них он, кажется, любит больше, но не может уяснить, кого именно. Мальчика зовут, как и его, «Леон», но прозвище у него «Брандахлыстик». Он начал читать четырех лет. Он делает очень хорошо маленькие лодки и обожает музыку. Девочку, которую зовут, как мать, — «Зелла», прозвали «Муму». Она складывала, когда была очень маленькой, губки в трубку, и выходило у нее поэтому не «мама», а «муму». Оба черноволосы, оба очень добры. Оба страшные шалуны. Оба прекрасны. Жалко, что кузнец их не видел. Муму ездит на волкодаве верхом и всегда хохочет. Однажды она засунула палец в пустой пузырек от лекарства и не могла вытащить (ей было тогда три года), но она догадалась его разбить и притом не обрезалась.

Кузнец добродушно слушал, кивая головой и помаргивая огромными бровями. Веки его слипались. Постепенно, не торопясь, выпивал он вино, вытирал рот кистью руки,

благодарил за угощение и уходил, дымя папиросой, весь в пепле. Оставшись один, Штрих, возбужденный разговором, долго ходил по комнате. В стенном зеркале мелькало, как бы пролетая, его иссохшее от тоски лицо с блестящими напряженными глазами. Синий туман наконец ослаблял его и вгонял в постель.

Каждый день утром с головой, полной одних и тех же мыслей, в нервном, тоскливом оживлении, писал он длинные письма жене, бесконечно уснащая их ласковыми словами, интимными обращениями и теми маленькими вольностями, какие у цельных натур выказывают не испорченность, а острое, всепроникающее обожание. В конце письма следовали длинные обращения к детям. Он писал о своих настроениях, мечтах, планах, надеждах, описывая окрестности, прогулки, раковины, деревья, закаты солнца, морские шквалы, подробно исчислял однообразное течение дня, давал советы, спрашивал о положении своего дела; просил читать те или другие книги. Затем он совершал упомянутую прогулку к холмам с видом на Зурбаган.

Тем временем друзья стали извещать его — все в более и более определенных выражениях — о том, что вокруг его дела создалась благоприятная атмосфера. Оставалось посетить двух-трех лиц, завершить некоторые формальности (просить в одном месте, дать взятку в другом). Штрих чувствовал приближение свободы. Он спал меньше, дольше оставался на холмах, иногда заговаривал сам с туземцами, угощая их табаком. Огромная тяжесть, давившая его, покачнулась, и под дальним краем ее блеснул свет.

II

В четвертом часу ночи на воскресенье Штрих внезапно проснулся, мгновенно взвинченный необъяснимой тревогой. Она была так сильна, что руки Штриха плясали, долго не попадая спичкой в фитиль свечи. Штрих кое-как надел брюки, жилет. По лужам (днем прошел сильный ливень) торопливо ударили копыта верховой лошади. Шум приближился; подковы звякнули перед окном о камни, и на мгновение стало тихо. Штрих ждал.

За дверью раздались голоса; один был голосом кузнеца, снимавшего дверные засовы, другой голос, тоже мужской, показался Штриху знакомым. Три громких удара в дверь слились с его криком:

— Да, да, я здесь; идите, в чем дело?!

Вошел, задыхаясь, Морт,— учитель, друг Штриха. Они не виделись больше года. Морт был в грязи, бледен, странен в движениях; нетерпимо-тоскливое выражение его лица душило Штриха. Морт остановился у двери, смотря на друга взглядом, полным таинственного значения. Штрих подступил к нему, не здороваясь, сжав кулаки, видя, что визит грозен, как разрушение.

— Я взял отпуск, лошадь и помчался к тебе,— говорил Морт, торопясь высказать все, пока руки Штриха не вцепились в его горло.— Ты чувствуешь? Ты угадал? Я просил, молил о разрешении тебе ехать немедленно в Зурбаган, но скоты уперлись лбом... Телеграмма убила бы тебя. Признаюсь, я хотел начать издавека, но когда увидел, что ужас уже с тобой — говорю сразу. Слушай, возьми в зубы одеяло и крепко закуси или же сразу оглушись водкой как можно больше. Дом сгорел, Штрих; пожар начался в нижнем этаже, дерево занялось сразу, дети... Понял? Твоя жена в больнице; сутки, может быть, но не более...

Когда он договаривал, Штрих уже рвал изо всех сил дверь, удерживаемую тоже с бешеным упорством Мортом; тот кричал нечто, чего Штрих не понимал и не хотел знать. Он плакал навзрыд, цеплялся за его руки, с смутной надеждой найти слова повелительной и разумной силы. Но таких слов не могло быть. Штрих ударами кулака отбил МОРТУ руки, державшие закраину двери, и выбежал в тьму.

Он был босой, без шапки, как застал его Морт. Дождливый мрак грудью навалился на землю, временами колыхая в лицо душным сырым ветром. Свернув за угол дома, Штрих с точностью лунатика устремился по прямой линии к развалинам зурбаганского дома,— как голубь, брошенный с аэростата, сквозь блеклый туман бездны, падая стремглав, берет сразу нужное направление. Штрих пересекал полуостров. Полного сознания окружающего у него не было. Весьма неровная местность, покрытая перелесками, оврагами, скалистыми рубцами почвенных гранитных прослоек, местами размытая водой, местами песчаная, одолевалась им как бы во сне. Он спотыкался, падал, вставал, снова бросался вперед, не помня и не ощущая ничего. Общее смутное впечатление пробега, когда оно являлось мгновениями, напоминало бешеную пляску в наглухо закрытой карете. Потрясение, сильнее, чем можем мы представить себе, держало его на границе мгновенной смерти. Ни боли

окровавленных ног, ни тяжести, ни дыхания не чувствовал, пока бежал Штрих, увлекаемый нервным вихрем в неизменно безошибочном направлении. Он знал только, что неизвестно как, через некоторый чудовищный промежуток времени — очутится там, где надо, где — поздно и где что-то можно поправить.

Тьма была полная; однако блеск образов, сопутствующих ему, неотступно плывущих вокруг, в близком расстоянии от лица, превращал мрак световым напряжением мозга в подобие сумеречных провалов, где, дымясь фосфорически, сплотились облака уродливых контуров. Дым окружал Штриха. Он слышал его угарный запах, видел колебание волнистых серых завес, пронизанных багровым отсветом, и тихо передвигающихся красных струек огня. Часть оконного переплета мелькала вдали. Временами Штрих громко произносил:

— И вот они задыхались!..

Оба, мальчик и девочка, беспрерывно перемещались в сгущении дыма; они то бежали по направлению к нему, протирая кулачками глаза, то удалялись в таинственные углы мрака, откуда слышался их затихающий крик, то, лежа на полу в конвульсивной дрожи, тыкались головами, как слепые щенки, в извивы бурно мятущегося везде дыма. Или лицо жены, закинутое назад, как у обморочной, с пылающими волосами, проносилось так близко от него, что он протягивал руки, вскрикивая, как подстреленный.

— Так вот, — повторял он вслух, стараясь осознать произносимое, — они задыхались. Но не сразу же задохлись. Я бы не перенес этого.

Моментами яркое представление об ужасе, испытанном теми, почти пронизывало его, тогда ему хотелось вдохнуть весь воздух, всю атмосферу земли, чтобы разразиться наконец безобразным, неслыханным воплем. Но вместо этого он только тихо мычал, покусывая губы, и скорость его движения возрастала.

Тем временем занялся рассвет; мрак, утратив могущество, слабо и постепенно редел. Дождь оборвался. Штрих сквозь негустой туман, расстилавшийся на высоте его груди, видел за тонкой, как травинка, вершиной далекого дерева — бледный край солнца, теснившего призраки, и под ногами — равнину странного вида. Ее цвет, — один и тот же повсюду в кругу одолеваемого зрением тумана, — был тускло-зеленый, прозрачности мутного стекла, и переливчат.

Мягкий удар ветра заklubил туман впереди Штриха, погнав к солнцу, и в образовавшемся воздушном пространстве Штрих заметил изменение зеленоватого цвета почвы в голубоватый и синий, — чем далее, тем синее. Начав видеть, он овладел той частью сознания, которая оценивает и следит окружающее.

Зелень, вздрагивая, колебалась под ним, по ней пробегала рябь; складки и борозды, ритмически следуя друг за другом, напоминали волнение воды.

— Это землетрясение, — сказал Штрих, страстно надеясь, что земля разверзнется и избавит его от страданий. С легкостью, какая бывает только во сне, скользил он неудержимо и быстро, подобно струе тумана к недалекому берегу. Вдруг нагнетание теплого ветра, длительное и ровное, истребило туман, и залив, во всей юной красоте тихого утра, заблестал перед его воспаленными глазами. Под ногами Штриха покачивалась вода. Он не изумился и не испугался.

— Теперь я вижу, что сплю, — сказал он, но уверенность в этом не простиралась на происшедшее в Зурбагане. Каждое было само по себе, и он не думал о странности совмещения действительности с тем, что считал сновидением.

Яркая лучезарность неба после тьмы ночных часов опять воскресила воображению огонь в дикой его беспощадности. Штрих посмотрел в сторону. Там, шагах в ста от него, огромный и бодрый, шел на всех парусах барк; купеческая солидность его тяжело нагруженного корпуса венчалась белизной парусов; их тонкие воздушные очертания поднимались от палубы к стенам стаями белых птиц. Звонкие голоса матросов достигли ушей Штриха. Он послал им проклятие, стиснув руками грудь. Ему было невыносимо наблюдать это воплощение бодрой и целесообразной работы, — радостное движение барка к далекой цели, когда он сам, Штрих, потерял все. Не помня как, увидел он затем вокруг себя лес, бабочек и цветы; трава дымилась в косых лучах солнца, и неясная фигура бледного человека выросла перед ним. То был таможенный солдат; он не закричал, не выстрелил и не остановил бегущего — он видел Штриха, и этого оказалось довольно для того, чтобы окаменеть в испуге.

За перелеском открылась широкая с шоссейной дорогой равнина, и на крутом обрыве реки — амфитеатр Зурбагана.

Штрих бросился по дороге...

В восемь часов утра в палату городской больницы ввели вырывающегося из рук служителей человека,— грязного, окровавленного и полунагого. Он подошел к кровати, шатаясь от изнурения. На кровати лежала плотно укрытая, с сплошь обвязанной головой женщина; из марлевых повязок видны были только опухшие глаза без ресниц; последние искры жизни, угасая, блестели в них; она тихо стонала.

Штрих молча смотрел на нее веселым диким взглядом.
— Зелла! — сказал он.

Чуть заметное движение света опухших глаз ответило ему — сознанием ли происходящего или вспышкой предсмертного бреда? — никто не мог сказать с точностью.

— Раньше я умел просыпаться вовремя, если видел тяжелый сон,— заговорил Штрих, обращаясь к взволнованному доктору.— Сны бывают очень отчетливы, заметьте это. Конечно, это не моя жена. Потом, здесь были бы дети. Ну, теперь я спокоен; я думаю, что скоро проснусь.

Но он проснулся только через полтора года в лечебнице для таких же, как и он, не уверенных в реальности происходящего людей. Смерть наступила от паралича сердца.

Морт впоследствии утверждал, что Штрих, в силу извилистости полуострова, образующего формой серп, свободным концом обращенный к материку, не мог от четырех до восьми часов утра явиться в город пешком. Дороги здесь настолько плохи, прихотливы и неустроенны, что он сам, торопясь к Штриху, одолел расстояние — и то верхом — в пять с половиной часов. Но доктор (и другие) настаивали именно на восьми часах утра. Тогда Морт сказал, что у них неверные, плохие часы. Однако, как утверждают многие, часовщики в Зурбагане не пользуются дурной славой. По нашему мнению, в каждом споре истина — все-таки не в руках спорщиков, иначе бы они не горячились.

ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ

I

Ягдин сидел в холодной губернаторской приемной на жестком стуле, с прямой, как стена, спинкой и ждал очереди. Прошло около двадцати минут, как секретарь доложил о нем, но из-за высокой белой двери кабинета все еще проникало в приемную монотонное глухое бормотанье. Там кто-то засел крепко. Ягдин томился, рассматривая других посетителей, вздыхавших, как в церкви. Тут был купец старообрядческой складки, почтмейстер, выгнанный за пьянство, начисто выбритый, в нестерпимо блестящих сапогах, но еще с блеском похмельной ошеломленности в красных глазах; сухая дама с лорнеткой и рыжим боа да отставной военный, дремавший в углу старикашка, такой пушисто-белый и дряхлый, что вид его вызывал незлобную улыбку. Ягдин пришел пятым.

«Если меня по очереди введут — плохой знак, — думал он, стараясь решить, подействует ли визитная карточка знаменитого скрипача Ягдина на сибирского губернатора. — Не мог же он не слышать обо мне, газеты ведь читает, я думаю? Мог бы принять без очереди. А вдруг захочет «выдержать стиль», «осадить»... Есть ведь такие, что приди к ним сам Лев Толстой с Рафаэлем и, скажем, Бахом, так все равно будут выдерживать часами в приемной, а сам в замочную скважину поглядит: «Что, голубчики, нарвались?» И это бы еще...»

Не успела мысль его от упомянутых великих людей перейти к себе, с глухой, но самолюбиво-высокой оценкой своего дарования, как дверь скрипнула, открылась, и из нее по диагонали приемной, не смотря ни на кого, направился к выходу толстейший, идололицый мужчина в сапогах бутылками, распространяя запах помады; пол шумно скрипел под толстяком. «Местный Крез, надо полагать»,— решил Ягдин. Молоденький завитой куколка-секретарь вышел из кабинета, обвел публику томными бараньими глазами и, сложив губы в трубочку, галантно осклабился перед Ягдиным с полупоклоном, не то официальным, не то паркетным.

— Мсье Ягдин, их превосходительство к вашим услугам.

«Ну, вот, знают, чувствуют, ценят»,— удовлетворенно подумал Ягдин, входя в кабинет. Губернатор стоял за столом, резкие глаза его встретили в упор мягко мерцающий взгляд Ягдина. Стянув губы в улыбку, губернатор подал музыканту руку, сел, положил локти на деловые бумаги, сухо сказал: «Прошу садиться»,— и вдруг, не утерпев, просиял. Он никогда не видал знаменитостей. Редко-редко кто из них заезжал в Сибирь. Дочь его училась в Петербургской консерватории. Душа многих администраторов склонна к возвышенному. Так вот он — живой знаменитый Ягдин.

Губернатор был крепкий человек, среднего роста, с седеющими солдатскими усами, наплывом на тугой воротник жирной шеи и масляными, гладко размазанными по лысине черными прядками. Длинные каштановые волосы и длинный, с узкой талией, сюртук Ягдина дополнялись в женственности своего выражения бабьим профилем гладко выбритого лица артиста. Сбоку он казался переодетой женщиной, обрезавшей волосы. Но анфасом его лицо было широко, массивно и замкнуто. Это лицо спереди странно противоречило узким плечам и хилой груди музыканта.

— Так что же... э-э... Андрей Леонидович... изволи-те объезжать наши трущобы?— приветливо и широко улыбаясь, сказал губернатор.— Очень, очень рад познакомиться. И все, что могу, конечно...

— Я, ваше превосходительство,— с достоинством, как неизбежное, титулуя губернатора,— хотел бы...

— Нет, нет, увольте. Для вас я — Петр Николаевич.
«Что ж, хорошо», — подумал Ягдин и продолжал:

— Я, Петр Николаевич, составил докладную записку. Вот она. В ней я провожу мысль, что весьма благотворное влияние на души каторжан оказала бы музыка. Я прошу вас разрешить проезд каторжных тюрем; в каждой я дал бы концерт. Я верю в облагораживающую силу искусства.

— Ах, вот что, — сказал, настораживаясь, губернатор. Лицо его вытянулось.

«А что скажут в Петрограде?» — подумал он, слушая Ягдина, продолжавшего развивать банальное положение об «искре божьей», которой может быть нужен только толчок. Таким толчком может явиться музыка. Губернатор же думал иначе.

— Так-то так... Но не думаете ли вы, — простите, я в музыке не компетентен, — что это... как бы сказать... жестоко несколько? Каторга, говоря прямо, — вещь тяжелая. Боюсь, не раздражите ли вы их в ихнем-то положении. Откроется им сладкий просвет да и закроется тут же.

Ягдин вздрогнул. Губернатор в простоте своего отношения, прямо, сам не зная этого, коснулся тайной цели артиста. Целью этой была жестокая и подлая месть.

— Но, — натянуто возразил музыкант, — они сами слагают песни, поют их с увлечением. Гартевельд доказывал музыкальность каторжного мира.

— Не знаю, не знаю... — Губернатор задумался, но более в отношении того, что скажет Петроград.

Затем Ягдина казалась ему сама по себе опытом невинным и любопытным.

— Они не поймут вас, — сказал он.

Ягдин ответил рассказом об известном даже по газетам скрипаче Н., ходившем играть по дворам классические произведения.

— Я отвечу вам официально, через канцелярию, — решил, наконец, губернатор, — простите, но так необходимо... Наверное, будет можно. Надеюсь, до свидания? У нас по четвергам... заезжайте. Всего, всего лучшего. Очень рад познакомиться!

Солнце тяготело к горам. Партия каторжан вернулась с лесных работ. Трумов умылся и в ожидании ужина лег на нары. Тоска душила его. Ему хотелось ничего не видеть, не слышать, не знать. Когда он шевелился, кандалы на его ногах гремели, как окрик.

Социалист Лефтель подошел к Трумову и присел на краю нар.

— Сплин или ностальгия? — спросил он, закуривая. — А вы в «трынку» научитесь играть.

— Свободы хочу, — тихо сказал Трумов. — Так тяжело, Лефтель, что и не высказать.

— Тогда, — Лефтель понизил голос, — бегите в тайгу, живите лесной, дикой жизнью, пока сможете.

Трумов промолчал.

— Знаете, воли не хватает, — искренно заговорил он, садясь. — Если бежать, то не в лес, а в Россию или за границу. Но воля уже отравлена. Препятствия, огромные расстояния, которые нужно преодолеть, длительное нервное напряжение... При мысли о всем этом фантазия рисует затруднения гигантские... это ее болезнь, конечно. И каждый раз порыв заканчивается апатией.

Трумова привела на каторгу любовь к жене скрипача Ягдина.

Три года назад Ягдин давал концерты в европейских и американских городах. Трумов и жена Ягдина полюбили друг друга исключительной, не останавливающейся ни перед чем любовью. Когда выяснилось, что муж скоро вернется, Ольга Васильевна и Трумов порешили выехать из России. Необходимость достать для этого несколько тысяч рублей застигла его врасплох — денег у него не было, и никто не давал. Вечером, когда служащие транспортной конторы (где служил Трумов) собрались уходить, он спрятался в помещении конторы и ночью взломал денежный шкаф. Курьер, страдавший бессонницей, прибежал на шум. Трумов в отчаянии повалил его и ударом по голове бронзового пресс-папье, желая только оглушить, — убил. Его арестовали в Волочиске. После суда Ольга Васильевна отравилась.

— А мне вот все равно, — сказал Лефтель, — философский склад ума помогает. Хотя...

Вошел надзиратель, крича:

— Всем выходить во двор, жива-а! — Окончив официальное приказание, исходившее от начальника тюрьмы, он прибавил обыкновенным голосом: — Музыкант вам играть будет, идиотам, приезжий, вишь, арестантскую концертную наладил.

Трумов и Лефтель, приятно заинтересованные, живо направились в коридор; по коридору, разившему кислым спертым воздухом, валила шумная толпа каторжан, звон кандалов временами заглушал голоса. Арестанты шутили:

— Нам в первом ряду кресло подавай!

— А я ежели свистну...

— Шпанку кадрель танцевать ведут...

Кто-то пел петухом.

— Однако не перевелись еще утописты, — сказал Трумов, — завидую я их светлому помешательству.

— Последний раз я слышал музыку... — начал Лефтель, но оборвал грустное воспоминание.

На широком каменистом дворе, окруженном поредевшими полями, арестанты выстроились полукругом в два ряда; кое-где усмирительно позванивали кандалы. Из гористых далей, затянутых волшебной нежно-цветной тканью вечера, солнце бросало низкие лучи. Дикие ароматные пустыни дразнили людей в цепях недоступной свободой.

Из конторы вышел начальник тюрьмы. Человек мелкий и подозрительный, он не любил никакой музыки, зато Ягдина играть перед арестантами считал не только предосудительной и неловкой, но даже стыдной, как бы уничтожающей суровое значение тюрьмы, которую он вел без послаблений, точно придерживаясь устава.

— Ну вот, — громко заговорил он, — вы так поете свои завывания, а настоящей музыки не слышали. — Он говорил так потому, что боялся губернатора. — Ну, вот, сейчас услышите. Вот вам будет сейчас играть на скрипке знаменитый скрипач Ягдин, — он по тюрьмам ездит для вас, душегубов, поняли?

Трумов помертвел. Лефтель, сильно изумленный (он знал эту историю), с сожалением посмотрел на него.

— Это зачем же... — растерянно, криво улыбаясь, прошептал Трумов Лефтелю. Ноги его вдруг задрожали, весь он ослабел, затосковал. Сознание, что уйти нельзя, усиливало страдание.

— Подержитесь, черт с вами, — сказал Лефтель.

Трумов стоял в первом ряду, недалеко от крыльца конторы. Наконец вышел Ягдин, задержался на нижней ступеньке, медленно обвел каторжан внимательно проходящим взглядом и, незаметно кивнув головой, улыбнулся измученному, застывшему лицу Трумова. Глаза Ягдина горели болезненным огнем сдержанного волнения. Он испытывал сладчайшее чувство утоляемой ненависти, почти переходящей в обожание врага, в благодарность его мучениям.

Трумов из гордости не отвел глаз, но душа его сжалась; прошлое, оплеванное появлением Ягдина, встало во весь рост. Арестантская одежда давила его. Ягдин учел и это.

Вся месть была вообще тщательно, издалека обдумана музыкантом. Схема этой мести заключалась в таком положении: он, Ягдин, явится перед Трумовым, и Трумов увидит, что Ягдин свободен, изящен, богат, талантлив и знаменит по-прежнему, в то время как Трумов опозорен, закован в цепи, бледен, грязен и худ и сознает, что его жизнь сломана навсегда. Кроме всего этого, Трумов услышит от него прекрасную, волнующую музыку, которая ярко напомнит каторжнику счастливую жизнь человека любимого и свободного; такая музыка угнетет и отравит душу.

Ягдин сознательно откладывал выполнение этого плана на третий год каторги Трумова, чтобы ненавистный ему человек успел за это время изныть под тяжестью страшной судьбы, и теперь он пришел добить Трумова. Каторжник это понял. Пока артист вынимал дорогую скрипку из блестящего золотыми надписями футляра, Трумов хорошо рассмотрел Ягдина. На скрипаче был щегольской белый костюм, желтые ботинки и дорогая панاما. Его пышный, бледно-серый галстук походил на букет. Устремив глаза вверх, Ягдин качнулся вперед, одновременно двинул смычком и заиграл. И так как желание его как можно больнее ранить Трумова своим искусством было огромно, то и играл он с высоким, даже для него не всегда доступным совершенством. Он играл небольшие, но сильные вещи классиков: Мендельсона, Бетховена, Шопена, Годара, Грига, Рубинштейна, Моцарта. Беспощадное очарование музыки потрясло Трумова, впечатлительность его была к тому же сильно обострена появлением мужа Ольги Васильевны.

— Какая сволочь все-таки,— тихо сказал Лефтель Трумову.

Трумов не ответил. В нем глухо, но повелительно ворочалась новая сила. Совсем стемнело, он уже не видел лица Ягдина, а видел только сумеречное пятно белой фигуры.

Вдруг звуки, такие знакомые и трогательные, как если бы умершая женщина ясно шептала на ухо: «Я здесь с тобой»,— заставили его вскочить (арестанты, получив разрешение держаться «вольно», сидели или полулежали). Сжав кулаки, он шагнул вперед; Лефтель схватил его за руку и удержал всем напряжением мускулов.

— Ради бога, Трумов...— быстро сказал он,— удержи-тесь; ведь за это повесят.

Трумов, скрипнув зубами, сдался, но Ягдин продолжал играть любимый романс соперника: «Черный алмаз». Он с намерением заиграл его. Этот романс часто играла Трумову Ольга Васильевна, и Ягдин однажды поймал их встречный взгляд, которому тогда еще не придал значения. Теперь он усиливал живость воспоминаний каторжника этой простой, но богатой и грустной мелодией. Смычок медленно говорил:

Я в память твоих бесконечных страданий
Принес тебе черный алмаз...

И эту попытку, окаменев, Трумов выдержал до конца. Когда скрипка умолкла и кто-то в углу двора выдохнул всей грудью: «Эх-ма!» — он нервно рассмеялся, пригнул к себе голову Лефтеля и твердо шепнул:

— Теперь я знаю, что Ягдин сделал жестокую и непростительную ошибку.

Он ничего не прибавил к этому, и слова его стали понятны Лефтелю только на другой день, часов в десять утра, когда, работая в лесу (рубили дрова), он услышал выстрел, увидел многозначительно застывшие усмешки в лицах каторжников и надзирателя с разряженной винтовкой в руках. Надзиратель, выбегая из лесу на вырубленное место, имел вид растерянный и озабоченный.

— Побег! — пронеслось в лесу.

Действительно, рискуя жизнью, Трумов бежал в тайгу на глазах надзирателя, водившего его к другой партии, где был напилышник,— править пилу.

Прошло после этого полтора года. Вечером в кабинет Ягдина вошел лакей с подносом, на подносе лежали письма и сверток, запечатанный бандеролью.

Музыкант стал рассматривать почту. Одно письмо с австралийской маркой он распечатал раньше других, узнал почерк и, потускнев, стал читать:

«Андрей Леонидович! Наступило время поблагодарить вас за ваш прекрасный концерт, который вы дали мне в прошлом году. Я очень люблю музыку. В вашем исполнении она сделала чудо: освободила меня.

Да, я был потрясен, слушая вас; богатство мелодий, рассказанных вами на дворе Ядринского острога, заставило меня очень глубоко почувствовать всю утраченную мной музыку свободной и деятельной жизни; я сильно снова захотел всего и бежал.

Такова сила искусства, Андрей Леонидович! Вы употребили его как орудие недостойной цели и обманулись. Искусство-творчество никогда не принесет зла. Оно не может казнить. Оно является идеальным выражением всякой свободы, мудрено ли, что мне, в тогдашнем моем положении, по контрасту, высокая, могущественная музыка стала пожаром, в котором сгорели и прошлые и будущие годы моего заключения.

Особенно спасибо вам за «Черный алмаз», вы ведь знаете, что любимая мелодия действует сильнее других.

Прощайте, простите за прошлое. Никто не виноват в этой любви. В память странного узла жизни, разрубленного вашим смычком, посылаю «Черный алмаз»!»

Ягдин развернул сверток; в нем были ноты Бремеровского ненавистного романса.

Скрипач встал и до утра ходил по кабинету, забрасывая ковер окурками папирос.

ОТШЕЛЬНИК ВИНОГРАДНОГО ПИКА

I

Я превратился из полного, цветущего человека в растерянное, нервное и желчное существо, которому, чтобы оставить по себе коренную память, следовало бы немедленно и прочно повеситься.

Виной этому был, конечно, я сам. Желая найти некий философический уклон, по которому в пуховиках абсолютной истины мог бы мягко с просветленной душой скатиться в лоно могилы, я окружил себя десятками идейных друзей — проклятием моей жизни. По ярости и взаимной непримиримости убеждений друзья мои напоминали свору собак, составленную из разных пород — от дога до фокстерьера.

Чистота и искренность их взглядов не подлежала сомнению. Однако выдерживая в течение десяти лет каждый шаг своей жизни под анализом и контролем приверженцев разнообразнейших философских мировоззрений, я пришел к такому удрученно-жалкому состоянию, что без слез не могу вспомнить об этом. Конечным результатом таких дружеских истязаний явилось то, что я каждый день с воплем в истерике вопрошал себя: — «Какой смысл твоей жизни? Какой смысл всей вообще жизни? Есть рок или его никогда не было? Зачем жизнь, когда каждого ждет совершеннейшее, немилосердное уничтожение?»

Посвистывая в эту старую дудку, я залез в такие религиозно-метафизические дебри, что извлечь меня оттуда мог бы лишь разве Геркулес, да и то плотно поевший.

— Прекрасно! — сказал я, обдумывая свое некрасивое положение. — Мне нужно пожить с месяц-другой бродячей жизнью.

Покинув друзей, я купил очаровательного, кроткого как заяц, осла, нагрузил его самым необходимым и в продолжение трех недель странствовал в поисках душевного равновесия. Увы, я не находил его. Звездное небо вызывало у меня мысли о загадке пространства; рабочие в поле — вечность социальных контрастов; птицы, деревья, цветы — скорбь о равнодушной природе, которая, когда меня не станет, «будет играть»... В попутных кабачках я, пользуясь случаем, напивался. Осел, которого звали Машей, был, к чести его рода, умнее меня; скоро раскусив мой характер, огорчительное животное стало злоупотреблять моим пристрастием к кабачкам и, завидя вывеску, украшенную плющом, останавливалось само, как пораженное громом. Ни красноречие, ни удары не действовали на него в таких случаях. Волей-неволей я забирался в прохладу уютного кабачка, а Маша, счастливая бездельем, слонялась поблизости.

Раз, проклиная судьбу и осла, выпил я у подножия Виноградного Пика немножко более восьми бутылок холодненького барабонского, и мне захотелось плакать-ся. Подозвав трактирщика, я горячо и пространно стал объяснять ему, что, будучи человеком, заблудился в поисках истины. Я спросил, — нет ли у него на примете человека праведной и мудрой жизни, к которому я мог бы обратиться за поучением. Я прибавил, что книги мне надоели и что огромное количество страстно убежденных друзей не позволяет мне оставаться на одном месте.

— Видите ли, — сказал трактирщик, из вежливости сплевывая мимо моего сапога, — на ваше счастье такой человек есть в наших местах; зовут его просто Сноп, потому что волосы и борода его совсем рыжие, и живет он полторы версты выше, отшельником; сущий медведь. Страшен, упаси господи! Когда он ко мне приходит, первые его слова: «Я — твой закон и природа! — а затем, погрозит этак пальцем да как рявкнет: — Я тебя насквозь вижу, мошенник!» — так у меня руки и опускаются. Однако же профессор из Зурбагана, собирая бабо-

чек, столкнулся с ним у меня,—заспорили они, черт их знает о чем...—так профессор в конце концов сказал: «Извините!»

Я вздрогнул от радости. Быть может, полудикая эта личность и есть искомый мудрец? Выходило, как будто — да: живет на горе, переспорил профессора, отшельник; не осиян ли он свыше? И я, подробно расспросив о дороге, решительно понудил Машу взбираться по зеленым склонам Виноградного Пика.

II

Опасная была эта горная крутая тропинка, уверяю вас! Не будь полупьян, я не отважился бы, пожалуй, продолжать путь. Местами приходилось ползти по узкому неровному карнизу, висящему над пропастью, и я в таких случаях слезал с Маши, пуская ее вперед. С большими трудностями, донельзя усталый и трезвый, подобрался я, наконец, к отвесной скале, загородившей дорогу. Ни справа, ни слева пути не было. Тем временем вечерняя прохлада и наползающая темнота нагнали на меня страх, так как ночевать в этом месте, рискуя свалиться в пропасть, я не хотел. Трактирщик ничего не сказал мне об этой скале; он, видимо, не бывал здесь; он сказал только, что, следуя по тропинке, я попаду к хижине Снопа.

— Эй, есть ли жив человек?! — закричал я, задрал голову.

Ужасное горное эхо оглушило меня. Вдруг над скалой показалась косматая рыжая голова, рывкнув густым басом:

— Кто тут бродит, говори!

— Не вы ли господин Сноп? — сказал я, невольно сочувствуя трактирщику при виде мохнатых бровей и огненных глаз кирпично-багровой головы.

— Сноп — это я.

— Как же я попаду к вам?

— Зачем?

— Зачем?!.. Гм... Душа болит, господин Сноп.

— А именно?

— Растерянность... Уныние... страх жизни...

— О господи! — вздохнул Сноп.

— Потом: «Куда мы идем?»

— О господи! — вздохнул Сноп.

— Есть ли что за гробом и какое оно?

— О господи! — вздохнул Сноп.

— Зачем жить, если рок?

— О господи! — вздохнул Сноп.

— Зачем жить, если смерть?

— Довольно! — сказал Сноп. — Бедный умалишенный! Полезай сюда, я брошу тебе веревочную лестницу.

Голова скрылась, показалась снова, и к ногам моим упал конец лестницы.

— Осла я втяну потом, — сказал Сноп. — Иди сюда, уродливый сын природы, я тебя насквозь вижу!

Поднявшись, я очутился на лесистом плоскогорье, лицом к лицу со Снопом. Это был мужчина внушительно-высокого роста, босой, массивный, в голубой шерстяной блузе и таких же штанах. Я поклонился.

— Любишь ли ты пироги с мясом? — спросил он.

— О да.

— А кофе?

— Весьма.

— А холодненькое барабонское?

— Отчасти.

— Врешь! Очень любишь. Получишь ты и то, и другое, и третье, но сперва сядь, выслушай меня, затем поступай, как знаешь.

Мы сели.

— Во-первых, ты заметил, конечно, что у меня веселый характер. Это оттого, что я рассуждаю с точки зрения гордости. Гордость не позволяет мне ломиться в раз навсегда закрытые для меня двери, ломиться только потому, что они закрыты. Ты скажешь, что думать так значит расписаться в бессилии гордого человеческого ума. Друг мой! Мне тридцать пять лет; тебе тоже не меньше; поняли мы что-нибудь до сих пор в тайнах мироздания? Ничего. Будем ли мы настолько наглы, уверены, что именно за оставшиеся нам пятнадцать—двадцать лет уясним все? Ты, не краснея, скажешь, что попасть на луну не можешь, если в таких пустяках ты не чувствуешь себя униженным, то можешь, также не краснея, сказать, что всякие бесконечности тебе не по силам. «Когда-нибудь» — «Когда-нибудь»... — это другое дело; будем говорить о себе: ведь живем мы?!

Ты умрешь. Это неизбежно. Есть ли смысл бояться неизбежного?

Наоборот,— в виду неизбежности естественного для всех конца, следует жить густо и смело, как свойственно человеческой природе. Время — жизнь. Ешь много и вкусно, спи крепко, люби горячо и нежно, в дружбе и любви иди до конца; на удар отвечай ударом, на привет — приветом, и все, что не оскорбляет и не обижает других, разрешай себе полной рукой.

Поверь мне,— только в том и есть смысл жизни, что окружает тебя. Бесчисленное множество комбинаций представлено тебе: явлений, красок, предметов, людей, работ; найди свою комбинацию.

Пустота ли за гробом, жизнь ли — ты и в том и в другом случае ничего не теряешь. В первом потому, что терять не кому, во втором — ясно, почему. Но предствь, что ты бессмертен,— не ломал бы ты себе голову над этой загадкой.

Так или иначе — ты живешь. Так или иначе — умрешь. Так или иначе — ты не знаешь и не узнаешь, что ждет тебя за последним вздохом. Гордо повернись спиной к этой штуке. Зачем унижаться,— бессмысленно, бесплодно; будь горд; смело живи и бестрепетно умирай.

Он встал, скрылся и, пока я переваривал новую для меня точку зрения гордости, вернулся с дымящимся пирогом и — о, боже! — с дюжиной холодненького барабонского. Затем он развел костер, мы сидели под кедром, на краю пропасти, ели, пили и говорили о медвежьих охотах. Взошла луна. Голубые призраки снеговых вершин дымились мутным сиянием. Мне было весело. Осел, втащенный Снопом на плоскогорье, дремал стоя, и уши его смешно дергались, когда громкое восклицание касалось их сонного мира.

Сноп принес из хижины еще дюжину барабонского и гитару.

Низким грудным голосом запел он старую итальянскую песенку:

Море чуть зыблется. Здесь на просторе,
Как рыбаки,— вы все сбросите горе;
И да покинут вас скорби земные!
Санта Лючия! Санта Лючия!!!

ТАИНСТВЕННАЯ ПЛАСТИНКА

I

Крепко сжав губы, наклонясь и упираясь руками в валики кресла, на котором сидел, Бевенер следил решительным, недрогнувшим взором агонию отравленного Гонаседа.

Не прошло и пяти минут, как Гонасед выпил смертельное вино, налитое веселым приятелем. В тот вечер ничто в наружности Бевенера не указывало на его черный замысел. Как всегда, он непомерно хихикал, бегающие глаза его меняли тысячу раз выражение, а когда человека видишь таким постоянно, то эта нервная суетливость способна убить подозрение даже в том случае, если бы дело шло о гибели всего мира.

Бевенер убил Гонаседа за то, что он был счастливым возлюбленным певицы Ласурс. Банальность мотива не помешала Бевенеру проявить некоторую оригинальность в исполнении преступления. Он пригласил жертву в номер гостиницы, предложив Гонаседу обсудить вместе, как предупредить убийство, подготовленное одним человеком, известным и Гонаседу и Бевенеру,— убийство человека, так же хорошо известного Гонаседу и Бевенеру.

Гонасед потребовал, чтобы ему назвали имена.

II

— Имена эти очень опасны,— сказал Бевенер.— Опасно называть их. Ты знаешь, что здесь, в театре, кулисы

имеют уши. Приходи вечером в гостиницу «Красный Глаз», номер 12-й. Я там буду.

Гонасед был любопытен, тучен, доверчив и романтичен. В номере он застал Бевенера, попивающего вино, в отличном расположении духа, громко хихикающего, с карандашом и бумагой в руках.

— Рассказывай же, — сказал Гонасед, — кто и кого собрался убить?

— Слушай! — Они выпили стакан, второй и третий; Бевенер медлил. — Вот что... — заговорил он наконец быстро и убедительно, — сегодня идет «Отелло», Мария Ласурс поет Дездемону, а Отелло — молодой Бардио. Ты, Гонасед, слеп. Все мы, товарищи твои по сцене, знаем, как бешено любит Бардио Марию Ласурс. Она, однако, отвергла его искания. Сегодня в последнем акте Бардио убьет на сцене Марию, убьет, понимаешь, по-настоящему!

— И ты не говорил раньше! — взревел Гонасед, вскакивая. — Идем! Скорее! Скорее!

— Напротив, — возразил Бевенер, загораживая дорогу приятелю, — идти туда нам незачем. Какие у тебя доказательства намерений Бардио? Ты напустишь за кулисами, сорвешь спектакль, бездоказательно обвинишь Бардио, и тебя же в конце концов привлекут к суду за оскорбление и клевету?!

III

— Ты прав, — сказал Гонасед, садясь. — Но каким образом известно тебе? И — что делать? Осталось час с небольшим времени: скоро последний акт... Последний!..

— Как я узнал, — это пока тайна, — сказал Бевенер. — Но я знаю, что делать. Надо сделать так, чтобы Ласурс покинула театр, не допев партию. Напиши ей записку. Напиши, что ты покончил с собой.

— Как?! — изумился Гонасед. — Но какие причины?

— Причин у тебя нет, я знаю. Ты весел, здоров, знаменит и любим. Но чем же иначе вытащить Марию Ласурс? Подумай! Всякое письмо от постороннего, даже с сообщением о твоей смерти, она сочтет интригой, желанием взвалить на нее крупную неустойку. Тому бывали примеры. А кроме смерти близкого человека, что может оторвать артиста от милых его сердцу рукоплесканий, цветов и улы-

бок? Ты сам, собственной рукой должен вызвать Ласурс к мнимому твоему труп.

— Но ты мне расскажешь о Бардио?

— Этой же ночью. Вот бумага и карандаш.

— Как она перепугается! — бормотал Гонасед, строча. — У нее нежное сердце.

Он написал: «Мария. Я покончил с собой. Гонасед. Улица Виктория, гостиница «Красный Глаз».

IV

Бевенер позвонил и отдал запечатанную записку слуге, сказав: «Доставьте скорей», — а Гонасед, повеселев, улыбнулся.

— Она проклянет меня! — прошептал он.

— Она будет плакать от радости, — возразил Бевенер, бросая яд в стакан друга. — Выпьем за нашу дружбу! Да длится она!

— Но ты непременно расскажешь мне о подлеце Бардио? Бевенер, мой стакан пуст, а ты медлишь... От волнения кружится голова... да, мне, видишь, нехорошо... Ах!

Он судорожно рванул воротник рубашки, встал и повалился к ногам убийцы, скомкав ползающими руками ковер. Тело его дрожало, шея налилась кровью.

Наконец он затих, и Бевенер встал.

— Это ты, рыжая Ласурс, убила его! — сказал он в иступлении чувств. — Моя любовь к тебе так же сильна, как и покойника. Ты не захотела меня. За это Гонасед умер. Однако я мастерски отклонил подозрение.

Он дал звонок и, прогнав испуганного лакея за доктором, стал репетировать сцену изумления и отчаяния, какую требовалось разыграть при докторе и пораженной Ласурс.

V

Правосудие в этом деле осталось при пиковом интересе. Подлинная записка Гонаседа к любовнице, гласящая, что певец покончил самоубийством, была неоспорима. Бевенер плакал: «Ах! — говорил он. — С тяжелым чувством шел я в эту гостиницу. Меня пригласил покойный, не объясняя зачем. Мы были так дружны... Стали пить; Гонасед

был задумчив. Вдруг он попросил у меня бумагу и карандаш, написал что-то и распорядился послать записку Ласурс. Затем он сказал, что примет порошок от головной боли; высыпал в стакан, выпил и повалился замертво».

Самые проникательные люди разводили руками, не зная, чем объяснить самоубийство жизнерадостного, счастливого Гонаседа. Ласурс, поплакав, уехала в Австралию. Прошел год, и о печальной смерти забыли.

В январе Бевенер получил предложение от фабрики Лоудена напеть несколько граммофонных пластинок. Приняв предложение, Бевенер спел несколько арий за крупную сумму. Между прочим, он спел Мефистофеля: «На земле весь род людской» и, начав петь ее, вспомнил Гонаседа. Это была любимая ария умершего. Он ясно увидел покойного в гриме, потрясающего рукой, поющего — и странное волнение овладело им. Тело одолевала жуткая слабость, но голос не срывался, а креп и воодушевленно гремел. Кончив, Бевенер с жадностью выпил два стакана воды, торопливо попрощался и уехал.

VI

Месяц спустя в квартире Бевенера собрались гости. Артисты, артистки, музыкальные критики, художники и поэты чествовали десятилетие сценической деятельности Бевенера. Хозяин, как всегда, был нервно смешлив, проворен и оживлен. Среди цветов мелькали нежные лица дам. Сиял полный свет. Приближался конец ужина, когда в столовую вошел слуга, докладывая, что явились от Лоудена.

— Вот кстати,— сказал Бевенер, бросая салфетку и выходя из-за стола.— Привезли граммофонные пластинки, которые я напел Лоудену. Я прошу дорогих гостей послушать их и сказать, удачна ли передача голоса.

Кроме пластинок, Лоуден прислал прекрасный новый граммофон, подарок артисту, и письмо, в котором уведомлял, что по болезни не мог явиться на торжество. Слуга привел аппарат в порядок, вставил иглу, и Бевенер сам, порывшись в пластинках, остановился на арии Мефистофеля. Положив пластинку на граммофон, он опустил к краю ее мембрану и, обернувшись к гостям, сказал:

— Я не совсем уверен в этой пластинке, потому что несколько волновался, когда пел. Однако послушаем.

Наступила тишина. Послышалось едва уловимое, мягкое шипение стали по каучуку, быстрые аккорды рояля... и стальной, гибкий баритон грянул знаменитую арию. Но это не был голос Бевенера... Ясно, со всеми оттенками живого, столь знакомого всем присутствующим произношения, пел умерший Гонасед, и взоры всех изумленно обратились на юбиляра. Ужасная бледность покрыла его лицо. Он засмеялся, но смех был нестерпимо пронзителен и фальшив, и все содрогнулись, увидев глаза хозяина. Раздались восклицания:

— Это ошибка!

— Гонасед не пел для пластинок!

— Лоуден перепутал!

— Вы слышите?! — сказал Бевенер, теряя силы по мере того, как голос убитого мрачно гнул его пораженную волю. — Слышите?! Это поет он, тот, которого я убил! Мне нет спасения; он сам явился сюда... Остановите пластинку!

Суфлер Эрис, белый, как молоко, бросился к граммофону. Руки его дрожали; подняв мембрану, он снял пластинку, но в поспешности и страхе уронил ее на паркет. Раздался сухой треск, и черный кружок рассыпался на мелкие куски.

— Мы были свидетелями неслыханного! — сказал скрипач Индиган, подымая осколок и пряча его. — Но что бы это ни было — обман чувств или явление неоткрытого закона, я сохраню на память эту частицу; ее цвет всегда будет напоминать о цвете души нашего милого хозяина, которого теперь так заботливо уводит полиция!

КАК Я УМИРАЛ НА ЭКРАНЕ

В полдень я получил уведомление от фирмы «Гигант», что предложение мое принято. Жена спала. Дети ушли к соседям. Я задумчиво посмотрел на Фелицату, скорбно прислушиваясь к ее неровному дыханию, и решил, что поступаю разумно. Муж, неспособный обеспечить лекарство больной жене и молоко детям, заслуживает быть проданным и убитым.

Письмо управляющего фирмой «Гигант» было составлено весьма искусно, так, что только я мог понять его; попади оно в чужие руки, никто не догадался бы, о чем речь.

Вот письмо:

«М. Г! Мы думаем, что сумма, о которой вы говорите, удобна и вам и нам (я требовал двадцать тысяч). Приходите на улицу Чернослива, дом 211, квартира 73, в 9 часов вечера. То неизменное положение, в котором вы очутитесь, назначено с соответствующим, приятным для вас, ансамблем».

Подписи не было.

Некоторое время я ломал голову, — каким путем очутившись в «неизменном положении», т. е. с простреленной головой, я могу убедиться в выполнении «Гигантом» обязательства уплатить моей жене двадцать тысяч, но скоро пришел к заключению, что все выяснится на улице Чернослива. Я же, во всяком случае, не отправлюсь в Елисейские Поля без твердой гарантии.

Несмотря на решимость свою, я был все-таки охвачен вихренным предсмертным волнением. Мне не сиделось. Мне даже не следовало оставаться дома, дабы голосом и глазами не лгать жене, если она проснется. Размыслив все, я выложил на стол последние, плакавшие у меня в кармане медные монеты и написал, уходя, записку следующего содержания:

«Милая Фелицата! Так как болезнь твоя не опасна, я решил поискать работы на огородах, куда и иду. Не беспокойся. Я вернусь через неделю, не позже».

Остаток дня я провел на бульварах, в порту и на площадях, то расхаживая, то присаживаясь на скамью, и был так расстроен, что не чувствовал голода. Я представлял отчаяние и скорбь жены, когда она наконец узнает истину, но представлял также и то материальное благополучие, в каком будут ее держать деньги «Гиганта». В конце концов — через год, может быть, — она поймет и поблагодарит меня. Потом я перешел к вопросу о захоронении, но тут рядом со мной на скамейку сел человек, в котором я без труда узнал старого приятеля Бутса. Я не видел его лет пять.

— Бутс, — сказал я, — ты стал, должно быть, очень рассеян! Узнаешь меня?

— Ах! Ах! — вскричал Бутс. — Но что с тобой, Эттис? Как бледен ты, как оборван!

Я рассказал все: болезнь, потерю места, нищету, сделку с «Гигантом».

— Да ты шутишь! — сморщившись, сказал Бутс.

— Нет. Я послал фирме письмо, сообщая, что хочу застрелиться, и предложил снять аппаратом момент самоубийства за двадцать тысяч. Они могут вставить мою смерть в какую-нибудь картину. Почему не так, Бутс? Ведь я все равно убил бы себя; жить, стиснув зубы, мне надоело.

Бутс воткнул трость в землю не меньше как на полфута. Глаза его стали бешеными.

— Ты просто дурак! — грубо сказал он. — Но эти господа из «Гиганта» не более как злодеи! Как? Хладнокровно вертеть ручку гнусного ящика перед простреленной головой? Друг мой, и так уже кинематограф становится подобием римских цирков. Я видел, как убили матадора — это тоже сняли. Я видел, как утонул актер в драме «Сирена» — это тоже сняли. Живых лошадей бросают с обрыва в пропасть — и снимают... Дай им волю, они устроят побои-

ще, резню, начнут бегать за дуэлянтами. Нет, я тебя не пушу!

— А я хочу, чтобы мои дети всегда были обуты.

— Ну, что же! Дай мне адрес этих бездельников. Они ведь не знают твоей наружности. Я стану на твое место.

— Как! Ты умрешь?

— Это мое дело. Во всяком случае, завтра мы обедаем с тобой в «Церемониале».

— Но... если... как-нибудь... деньги...

— Эттис?!

Я покраснел. Бутс всегда держал слово, мое недоверие страшно оскорбило его. Надувшись, он не разговаривал минуты три, потом, смягчившись, протянул руку.

— Согласен ты или нет?

— Хорошо,— сказал я,— но как ты вывернешься?

— Головой. Я не шучу, Эттис! Говори адрес. Спасибо! До свидания. Мне осталось ведь только четыре часа. Иди домой, будь спокоен и займись списком неотложных покупок.

Мы расстались. Я чувствовал себя так, как если бы доверил все свое состояние человеку, уплывшему на дырявом корабле в бурное море. Потеряв Бутса из вида, я спохватился. Как мог я согласиться на его предложение?! Его таинственные расчеты могли быть ошибочны. «Своя рука— свои деньги»— так следовало бы рассуждать мне. Через полчаса я был дома.

Жена встала с постели и плакала над моей запиской. Она не могла мне простить «работу на огородах». Я сказал, что не нашел работы. Наконец мы помирились и задремали, обнявшись. Я уснул; во сне видел жареную рыбу и макароны с грибами. Меня разбудили громкие слова жены: «Как вкусны эти пирожки с луком!»... Бедняжка грезила тем же, что и я. Было темно. Вдруг прогремел звонок, и так решительно, как звонят почтальоны, полицейские и посыльные. Я всгал и зажег огонь.

Человек в длинном клеенчатом пальто вошел и спросил:

— Не вы ли Фелицата Эттис?

— Да, я.

— Вот вам пакет.

Он поклонился и вышел так скоро, что мы не успели его спросить, в чем дело. Фелицата разорвала конверт. Сев от изумления на кровать, держала она в одной руке пачку тысячных ассигнаций, а в другой записку.

— Дорогой,— сказала она,— мне дурно... деньги... и твоя смерть... О, господи!..

Подхватив упавшую записку, я прочел:

«М. Г. Ваш муж покончил с собой на глазах своего старого знакомого, имя которого для вас безразлично. Трону-тый бедственным вашим положением, прошу принять нечто от моего излишка в размере двадцати тысяч. Труп перевезен в больницу св. Ника».

Тогда внезапная полная уверенность, что Бутс умер, сразила меня. Ничем иным, как ни старался, я не мог объяснить получение денег. Стараясь привести в чувство жену, я перебирал воображением все возможности благополучного исхода (для Бутса), но, зная его намерения, готов был заплакать и разорвать деньги. Жена очнулась.

— Что было со мной?— Ах, да... Что все это значит?

Новый звонок заставил меня броситься к двери. Я ждал Бутса. Это был он, и я судорожно повис на его шее.

Среди вопросов, возгласов, перебиваний и смеха рассказал он следующее:

— Ровно в 9 часов вечера я был у двери номера семьдесят три. Меня встретил любезный толстый старик. Я был в лохмотьях и натер глаза луком,— они казались заплаканными. Вот краткий наш разговор за чашкой прекрасного кофе.

Он.— Вы хотите умереть?

Я.— Очень хочу.

Он.— Это неприятно, но я сторонник свободной воли. Согласитесь ли вы умереть в костюме маркиза XVIII столетия?

Я.— Он, надо быть, лучше моего.

Он.— Потом еще... парик... и борода...

Я.— О, нет! Костюм безразличен мне, но лицо должно остаться моим

Он.— Ну, ничего... я так только спросил. Напишите записку... понимаете...

Я написал: «В смерти моей прошу никого не винить. Эттис» — и отдал записку старику. Затем мы условились, что деньги будут немедленно посланы моей, то есть твоей жене. Старик поколебался, но рискнул. Он вложил деньги при мне в пакет и отослал с посыльным.

Теперь смотри, что вышло из этого. Меня провели в сад, ярко залитый электрическим светом, и посадили на стул, спиной к дереву. Перед этим я, кряхтя, напялил

жеманную одежду маркиза. Съемищик с аппаратом стоял в четырех шагах от меня. Он и старик не показались мне особенно бледными, отношение их было, видимо, деловое. Старик предложил мне перед смертью — что бы ты думал? красавицу и вино; но я отказался... Теперь жалею об этом. Я торопился успокоить тебя.

Отправляясь умирать, я надел темный, лохматый парик, под которым скрыл плоскую резиновую трубку, наполненную красным вином. Конец ее, залепленный воском, приходился у правого виска.—«Прощайте, дорогой друг»,— сказал старик.— «Мишель, начинай!», и оператор принялся вертеть ручку аппарата. Я поднял глаза вверх, и подведя дуло к виску, выпалил холостым зарядом. Вино тотчас же потекло за воротник. Я откинулся, хватая воздух руками, и проделал все гримасы агонии, какие придумал, с закрытыми глазами. Старик кричал: «Ближе, Мишель, снимай лицо!» Наконец, я добросовестно замер, свесив на грудь голову (всего метров на тридцать).—«Все-таки это страшно»!—сказал Мишель. Тогда я встал и демонстративно зевнул.

Оба они тряслись в страшном испуге, не сводя с меня пораженных взглядов. «Нечего смотреть»,—сказал я,—моему виску все-таки больно, он обожжен. Если вы поверили в мою смерть, поверит и публика».—Я поклонился им и ушел... в костюме маркиза. Затем переделался дома и поспешил к тебе.

— И они не упрекали тебя? — спросил я.

— Нельзя же расписаться в бесчеловечности. Моя совесть чиста! Думай так же и ты, Эттис. Я видел, как действительно застрелился один человек, и, знаешь, в этом было не много выразительности. Он просто выстрелил и просто упал, как пласт. Подражание правдивее жизни, но «Гигант» еще не дорос до такого, милый мой, понимания.

ОТРАВЛЕННЫЙ ОСТРОВ

I

По рассказу капитана Тарта, прибывшего из Новой Зеландии в Ахуан-Скап, и согласно заявлению его местным властям, заявлению, подтвержденному свидетельством паровой команды, в южной части Тихого океана, на маленьком острове Фарфонте произошел случай повального и единовременного, по соглашению, самоубийства всего населения, за исключением двух детей в возрасте трех и семи лет, оставленных на попечение парохода «Виола», которым командовал капитан Тарт.

Остров Фарфонт лежит на $41^{\circ} 17'$ южной широты, в стороне от морских путей. Он был открыт в 1869 г. хозяином китобойного судна Ван-Лоттом и помечен далеко не на всех картах, даже официальных. Никакого коммерческого и политического значения он не имеет, и Джон Вебстер в своей «Истории торгового мореплавания» презрительно относит подобные острова к разряду «бесполезных мелочей», сообщая, в частности, по отношению к Фарфонту, что остров весьма мал и скалист.

В хронике судового журнала «Виолы» было запротоколено следующее:

«14 июня 1920 года. Сильный зюйд-вест. Весь день сбило с курса; к вечеру разыгрался шторм. Лишились трех парусов.

15 июня 1920 года. Сорваны ветром грот и фокзейль, поставили запасный грот, идем к югу, матрос Нок упал в море и погиб.

16 июня. Умеренный ветер. В полдень показалась земля. Остров Фарфонт. Бросили якорь. На остров направились капитан Тарт, помощник капитана Инсар и пять матросов».

Эти матросы были: Гаверней, Дрокис, Бикан, Габстер и Строк.

Капитан показал, что перед спуском шлюпки был усмотрен им в зрительную трубу человек, стоящий на берегу; он быстро скрылся в лесу. Рассчитывая в силу этого, что островок населен, капитан,— хотя и не заметил по прибытии шлюпки на берег следов жилья,— был, тем не менее, поставлен в необходимость возобновить запасы провизии и отправиться на розыски жителей. Действительно, скоро были замечены им в небольшой, удивительной красоты долине, среди живописной и щедрой растительности, пять бревенчатых домов, крытых тростниковыми матами. Людей не было видно. Они не появились и тогда, когда капитан выстрелил в воздух из револьвера, желая привлечь этим внимание туземцев. Трубы не дымились, и вообще подчеркнутая странная тишина жилого места сильно удивила Тарта. Он начал обходить здания, двери которых оказались незапертыми, но внутри трех домов не нашел никого, ни спящего, ни бодрствующего. В пятом, по порядку обхода, доме тоже никого не было, но в четвертом путешественники нашли человека, умирающего или находящегося в бессознательном состоянии; он лежал на полу с закатившимися глазами, с лицом бледным и мокрым от пота. Слабый стон конвульсивно вырывался из его горла. Около него стояли сильно напуганные и плачущие мальчик и девочка лет шести—семи.

Капитан стал расспрашивать мальчика, но, не добившись ответа, обратился к девочке. Из ее бессвязного и, видимо, спутанного представления о происшедшем он узнал только, что «все ушли», куда именно,— она не знает; с ней и с маленьким Филиппом остался лежавший теперь без чувств человек «дядя Скоррей». Девочка, которую звали Ли,— сокращенное Ливия,— рассказала также, что Скоррей еще полчаса назад шутил с нею и говорил, что сейчас придут люди, которые увезут ее и Филиппа на «большую землю», где им будет неплохо. Сам же он недавно выпил чего-то из кружки, стоявшей и посейчас на столе. После этого он сказал, что умирает, лег на пол и за-

стонал, а затем сказал Ли: «Отдай письмо человеку с золотыми пуговицами»,— и больше они, дети, ничего не знают.

Как ни был силен аромат цветущих у окна кустарников, буквально круживший головы моряков, капитан, понюхав остаток мутной жидкости, сохранившийся на дне кружки, счел нужным, не теряя времени, принять меры к спасению Скоррея. Предполагали, что он отравился. Жидкость обладала неприятным, горьким, густым запахом. Раскрыв стиснутые зубы несчастного складным ножом, Тарт, за неимением под рукой ничего лучшего, стал лить в рот Скоррея водку, но понемногу, дабы бесчувственный не захлебнулся. Через полчаса он опорожнил свою фляжку, Гавернея и Дрокиса. Тем временем матросы вскипятили в глиняном котле воду и обложили нагого Скоррея пучками вымоченной в кипятке травы, сделав таким образом подобие бани. Тарт действовал более по вдохновению, чем по указанию медицины, но, так или иначе, больной перестал хрипеть. Тогда возобновили припарки, применили растирания, и, наконец, больной открыл глаза. Взгляд его был безумен. Он не говорил и не понимал ничего и заговорил лишь ко времени прибытия в Ахуан-Скап, но вразумительность его речи оказалась более чем жалкой для разумного существа.

Детей, совершенно утешенных карманными часами Дрокиса, отданными в их распоряжение, и очнувшегося Скоррея на носилках отправили на «Виолу», а капитан занялся расследованием печального случая. Письмо Скоррея, ныне представленное судебным властям, было написано на пожелтевшем от старости заглавном листе библии; вместо чернил употребляли, надо полагать, быстро темнеющий сок какого-нибудь растения. Малограмотные, но загадочные, ужасные строки прочел Тарт. Вот что было написано (без числа):

«Мы все, жители Фарфонта, заявляем и свидетельствуем перед другими людьми, что, находя более жить невозможным, так как все мы помешаны или одержимы демонами, лишаем себя жизни по доброй воле и взаимному согласию. Настоящее письмо поручено сохранить Иосифу Скоррею до тех пор, пока не наступит возможность вручить его какому-нибудь кораблю или пароходу. Согласно общей просьбе и доброму своему согласию, Скоррей не имеет права лишиться себя жизни, пока не окажется возмож-

ным отправить оставленных живыми, за малолетством, детей: Филиппа и Ливию».

Здесь следовали двадцать четыре подписи с обозначением возраста каждого самоубийцы. Самому старшему было сто одиннадцать лет, самому юному — четырнадцать. Недалеко от поселка Тарт обнаружил высокий, свежена-сыпанный холм — братскую могилу. Высохшие на деревянном кресте цветы были удалены командой «Виолы» и заменены свежими венками.

— Общее впечатление от всего этого,— заключил свой рассказ капитан Тарт,— было таково, как если бы на наших глазах зарезали связанного человека; мы поторопились, как могли, починить такелаж и утром следующего дня покинули страшный Фарфонт.

II

Таким образом, «Виола» бросила якорь в Ахуан-Скапе со следующими доказательствами самоубийства целого населения: остатком ядовитой жидкости, перелитой в тщательно закупоренную бутылку безумным Скорреем; коллективным письмом двадцати четырех мертвых и двумя совершенно дикими, по нашим понятиям, малышами женского и мужского пола.

Расспросы детей прибавили очень немного к показаниям матросов и капитана. Мальчик вообще не мог ничего сообщить, так как почти не умел говорить, а девочка, очевидно, спутавшая воспоминания о жизни на острове с впечатлениями путешествия и большого города, рассказывала явные нелепости: «Отец говорил, что нас всех убьют». — «Кто?» — «Какие-то люди, которых очень много». — «Ты видела их?» — «Не видела». — «А приходили на остров корабли?» — «Один приходил очень большой, выше меня». — «Припомни, Ли, когда это было? Очень давно?» — «Да, давно». — «А может быть, недавно?» — «Недавно». Она не могла ориентироваться во времени, и дальнейшие сообщения ее о корабле, людях, бывших на острове, и о числе их носили характер полузабытого, темного сновидения. Затем она принялась рассказывать о том, как все боялись, что их убьют, и как ночью приходило много кораблей, которые стреляли в дома. Некоторые корабли летали по воздуху. Следовательно отнес это в область детской фантазии, зара-

женной рассказами моряков, а также к замеченной у детей склонности к мистификации. Он, правда, записал все, но из соображений формального характера.

Из объяснений девочки выяснилось, однако, некое своеобразное, почти устранившее чью-либо постороннюю силу в этом деле редкое обстоятельство. На памяти ребенка шести лет Фарфонт был посещен один раз, одним кораблем; допустив, что прочные завоевания памяти начинаются с трехлетнего возраста, выходило, что остров в течение трех лет был отрезан от всякого сообщения с миром, отчего, естественно, возник вопрос, как часто заходили корабли к берегам Фарфонта и не являлось ли каждое захождение своего рода легендой — в ряде последующих годов? Короче говоря, не был ли Фарфонт таким заброшенным местом, куда корабли заглядывают несколько раз в столетие, и то благодаря случайности, как «Виола»?

Согласно почти полной неизвестности Фарфонта для администрации и совершенного небытия его для всех мелких и главных линий морского сообщения, ответ на этот вопрос явился, само собой, утвердительным. В таком случае постороннего преступного вмешательства в дела туземцев Фарфонта быть не могло, и изолированность селения подтвердилась показаниями экипажа «Виолы». Домашняя утварь, орудия, одежда и прочие предметы, бегло осмотренные матросами, носили следы самобытного изготовления, за исключением нескольких старых ружей, книг и мелочей, вроде обломка зеркала или куска ткани, некогда попавшего на Фарфонт. Относительно природы острова все сходилось в том, что «местечко очень красиво». Более впечатлительный, чем другие, Габстер заявил, что там — истинный рай. Капитан Тарт подробнее распространился об острове, но, будучи человеком практичным, отмечал плодородие и тучность земли, а также обилие прекрасной родниковой воды.

Ниже нам придется еще встретить подробное описание острова, а потому мы возвратимся к сопоставлению фактов. В силу изложенного, следовательно остановился на двух версиях: 1.— Жители Фарфонта, под давлением неизбежных, необыкновенных обстоятельств, причин и побуждений местного, а не внешнего происхождения, добровольно, по уговору, лишили себя жизни. 2.— Были убиты из неизвестных следствию соображений единственным оставшимся

в живых, ныне безумным Скорреем, причем последний, стараясь отклонить подозрения, составил и написал подложное, за подложными подписями жителей Фарфонта, по-смертное письмо, удостоверяющее наличие самоубийства.

Вторая версия, как наиболее отвечающая несложности криминалистического мышления и непреодолимому тяготению властей к изобличению злого умысла даже там, где человек просто сам падает, разбив себе голову,— была, к сожалению, подхвачена слишком усердно некоторыми газетами, издатели которых избавили этим публику от раздражающего недоумения, а сотрудники держались легкомысленной позиции «здорового смысла», именно того, чего следует избегать, как чумы, в отношении некоторых явлений.

«Утренний Вестник» писал:

«Ха-ха! Нас хотят уверить, что целая деревня здоровых, выросших на лоне природы, не знавших излишеств, непосредственных, полудиких людей обрела какую-то общую трагедию. Может быть, конечно, что они поссорились из-за туземной красавицы. А женщины? Но в таком случае остается предположить общее разочарование в жизни, крушение идеалов и т. п.! Однако Скоррей жив, живы двое детей, и они-то более всего убеждают нас в хитрой предусмотрительности злодея. Он знал, что на Фарфонт может заглянуть судно, он приготовился к этому маловероятному случаю. Здесь он является нам в роли хранителя детей, якобы порученных ему, Скоррею. Дети, разумеется, могли спать в то время, когда свирепый убийца отравлял земляков. Заметьте, что он тоже выпил яд, но не умер. Ясно, что доза была рассчитана с таким опытом...» и т. д.

«Наблюдатель», стоявший за коллективное самоубийство, придерживался, главным образом, показаний капитана «Виолы».

«Помимо серьезности отравления,— писал «Наблюдатель»,— отравления, едва не отправившего Скоррея на тот свет, невинность его подтверждается видом общей могилы. Холм,— говорит капитан Тарт,— был на виду вблизи поселка; насыпанный весьма добросовестно, обложенный дерном, с прочным крестом, он является лучшим доказательством уважительного выполнения печального долга, возложенного судьбою на Скоррея. В его распоряжении бы-

до несколько лодок; если бы он был убийцею, он мог бы без помехи, не торопясь, бросить трупы в море и объявить громким голосом, что все жители утонули на рыбной ловле. Мы говорим примерно. Разумеется, причины самоубийства непостижимы, так как текст письма, написанного вполне здраво, указывает не на сумасшествие или «одержимость демонами», а лишь на следствие неких причин, покуда еще не выясненных. Составители письма, видимо, сильно сомневались в возможности его оглашения, иначе, быть может, мы имели бы дело с пространным, исчерпывающим положение документом. Краткость письма указывает также на поспешность, с какой эти несчастные торопились умертвить себя; нам остается ждать выздоровления Скоррея, на что, как объяснил доктор Нессар, есть ныне надежда».

Анализ жидкости, привезенной капитаном «Виолы», установил присутствие сильного яда.

Скоррей, помещенный в лечебницу профессора Арно Нессара, был признан буйным помешанным в не очень тяжелой форме. Скоррей провел у Нессара четыре месяца, в течение которых выяснились новые обстоятельства благодаря публикации и экспедиции психиатра Де-Местра.

III

Де-Местр, посвятивший значительную часть жизни изучению самоубийств, подвергался некоторое время осаде журналистов, дам, властей и подставных, от полиции, личностей, но каждому указывал на явную запутанность дела, хотя сам про себя склонялся к гипотезе самоубийства.

11 августа он, субсидируемый журналом «Юниона», надеясь личным посещением острова добыть новые руководящие указания, отплыл из Ахуан-Скапа на зафрахтованном с этой целью пароходе «Теренций» и возвратился 24 сентября, поразив общество обнаружением фактов, сильно поколебавших мнение о независимости смерти фарфонцев от причин внешних. Именно: неподалеку от моря, в скалистом углублении берега, Де-Местр нашел сорок четыре бутылки из-под вина, — продукт, чуждый Фарфонту, — белую пружинную булавку и полуистлевший от старости номер газеты «Стационар» 18 мая 1920 года. Последний предмет окончательно убедил Де-Местра в том,

что на острове незадолго до «Виолы» побывало другое судно.

Тем временем, благодаря публикации и вообще широкой огласке дела, редакцией газеты «Наблюдатель» было получено из Бомбея письмо за подписью капитана Брамса, засвидетельствованное нотариусом. Брамс служил в Сиднейском обществе транспорта, на пароходе «Рикша». Его сообщение было, строго говоря, преддверием истины, печальное лицо которой показалось вполне лишь в день выздоровления Скоррея. Вот это письмо:

«5 апреля 1920 года «Рикша» в поисках пропавшего судна «Вандом» был сбит с курса циклоном и, потерпев значительные повреждения, отнесен далеко к югу. Утром 20 апреля был нами замечен небольшой остров, не значившийся на карте; никто из моей команды на нем не был и не знал об его существовании. Жители,— смешанной крови,— происходили, по их объяснению, от двух семейств эмигрантов, высаженных в этот отдаленный уголок мира в 1870 году военным крейсером «Бробдиньяг», по причинам политического характера. Благодаря этому только две фамилии были на Фарфонте: Скорреи и Гонзалесы; занятиями их были земледелие, охота и рыболовство; поставленные в исключительные условия, они производили и добывали все необходимое для жизни собственными руками и средствами, за исключением небольшого количества привезенных первыми жителями или проданных на остров впоследствии случайными кораблями вещей.

Последний корабль, посетивший их, был взбунтовавшийся «Скарабей»; он бросил якорь к берегам Фарфонта шесть лет назад. Понятно, с каким утомительным вниманием и волнением встретили нас. Жители высыпали на берег, окружив чудесных гостей. Все до последней пуговицы на нашей одежде стало предметом бесконечных споров, толков, вопросов. Оказалось, что мы приехали в день бракосочетания юного Антонио Гонзалеса с не менее молоденькой Джоанной Скоррей. Нас ожидало пиршество, бесконечные расспросы о жизни большого мира и зрелище дикой, но весьма милой свадьбы.

Жених в довольно удачно скроенной одежде и огромной соломенной шляпе не оставлял двух мнений о своей наружности: это был стройный коричневый молодец, с немного глуповатой улыбкой и серьезными большими глазами, в которых читалось сознание важности и торжествен-

ности момента; но невеста в решительную минуту спряталась за углом дома — застыдившись, конечно, нас — и мы потратили немало терпения, пока нам удалось взглянуть на ее славную рожицу. Наконец, она вышла из прикрытия, красная от смущения. Шкипер Полладну, мастер на комплименты, стал громко восхвалять ее качества, отчего она заметно приободрилась и соблаговолила посмотреть на него одним глазом, черным, как орех, и наивным, как недельный цыпленок. Простое платье из грубой домашней ткани облегало ее тонкую, еще связанную в движениях фигуру, хорошенькую и стройную.

Очень прост и величественен был свадебный обряд. Мы стояли на берегу потока, сверкавшего синевой и белизной в изломах гранита, сомкнувшегося впереди нас, через поток, прихотливой тенисто-краснеющей аркой. По ней тянулись бархатные груди ползучей зелени. Солнечные лучи, дробясь над аркой, делали воздух подобием пылающего костра или золотой завесы, сквозь которую просвечивали голубыми тенями извивы берега. Берег пестрел цветами. На горизонте узким серпом блеснул океан.

Дедушка Скоррей прочитал несколько молитв, отрывки из библии, соединил своей отжившей рукой горячие руки молодых людей, и мы вернулись к селению. Там, на берегу моря, в скалистом углублении берега начался пир, сугубо орошенный нами двумя ящиками с вином и ромом. И я начал рассказывать о теперешних великих делах мира, изобретениях и титанической борьбе наших дней, заранее предвкушая, как должен поразить этих людей мой рассказ.

Действительно, они были потрясены. Я нарисовал им возможно полную картину гигантской борьбы девяти государств, представив все ее крупнейшие события, ее план, ход, темп, технические и моральные средства, пущенные в ход противниками. Кое-кто выразил сомнение в правдивости моих слов, тогда я дал им бывший у нас номер «Стационера». Люди с Луны или с Марса, попади они на землю, не вызвали бы такого убийственного интереса к себе, как мы со своим «Стационером» и рассказами о сражениях миллионных армий: нам задали столько вопросов, что ответить на все сколько-нибудь подробно — заняло бы полжизни.

Сознаюсь, что, несмотря на тяжесть событий, омрачивших это десятилетие, я испытывал невольное чувство гордо-

сти, вернее — превосходства над этими полуробинзонами, когда стал рассказывать о гениальных завоеваниях человека в области воздухоплавания, радио, химии, морской и артиллерийской техники. Я описывал им внешность дредноутов, цеппелинов, аэропланов, бетонных окопов и бронированных фортов, приводя слушателей в трепет весом шестнадцатидюймового снаряда или размерами земляной воронки после взрыва бомбы, способной смести деревню.

Мы проговорили всю ночь. К вечеру следующего дня «Рикша» исправил повреждения и, подняв якорь, прибыл 3 мая в Мельбурн. В настоящем письме изложены все обстоятельства нашего пребывания на Фарфонте, причем считаю нужным добавить, что известие о трагической и необычайной смерти наших бывших хозяев произвело на всех нас, видевших их, неописуемо-тяжелое впечатление. Если мое, не имеющее, по-видимому, никакого прямого отношения к делу, сообщение сможет пролить свет на тайну смерти жизнерадостных и гостеприимных людей, я испытую горькую радость человека, способствовавшего раскрытию печальной истины».

IV

20 сентября Скоррей дал, наконец, свое показание. Стенографическая запись рассказа Скоррея весьма спутанна, изобилует повторениями и отступлениями, кроме того, самый язык рассказчика до такой степени непохож на нашу манеру мыслить и выражаться, — манеру, выработанную постоянным общением со множеством людей как лично, так и заочно, путем писем, телеграмм, книг и газет, — что мы нашли нужным дать этому показанию общую литературную форму, не исключая ни фактов, ни впечатления, оставленного ими.

— Нам очень трудно было поверить, — говорил Скоррей, — словам капитана Брамса, объявившего, что пережила Европа страшную войну в то время, когда мы, не подозревая ничего такого, слышали только плеск волн и шелест цветущих веток. Однако Брамс показал нам газету, хотя старую, но убедительно говорившую то же самое.

Всю ночь капитан и его товарищ беседовали с нами, посвящая нас, взволнованных, потрясенных и зачарованных,

в самые глубины событий. Мы узнали, что войной были захвачены сотни миллионов людей. Мы узнали, что разрушено множество городов и целые страны. Мы узнали, что люди летают стаями на крылатых машинах, бросая сверху бомбы в корабли, дома и леса. Мы узнали, что посредством особого удушливого ветра сжигают легкие десяткам тысяч солдат, и многое другое, а также, что неизвестно, не повторится ли снова такая же война.

Утром капитан с товарищами отправился на свой пароход чинить повреждения, а мы продолжали обсуждать слышанное. Никто из нас и не подумал даже работать в этот день. Каждый по-своему оценивал происходящее. Некоторые уверяли, что Брамс нас слегка обманывает и что война, вероятно, продолжается. Иные утверждали, что наступило благоприятное время для морских разбойников и что нам, вероятно, скоро придется подвергнуться нападению. Вообще, нами овладело подозрительное и угнетенное состояние; каждый носился с предчувствиями, рассказывая направо и налево о своих догадках относительно событий в смутно представляемой нами Европе.

Кто-то, — не помню, кто именно, — сказал, что очень может быть, через год или два мы останемся единственными жителями на земле, так как воюющие, несомненно, уничтожат друг друга своими чудовищными изобретениями. Леон Скоррей, мой племянник, говорил, что нужно опасаться не этого, а повального бегства с густонаселенных материков миллионов людей, которые рассеются по отдаленнейшим углам земли в поисках безопасности. Пришельцы многочисленные, хорошо вооруженные, конечно, могли одолеть нас, захватив наше имущество, возделанную землю и лодки. Было внесено даже предложение просить «Рикшу» взять нас с собой, чтобы не оставаться одним в страхе и неизвестности, но труса немедленно пристрашали и образумили, объяснив ему, что неизвестность лучше происходящего ныне в больших странах. Однако вечером, когда «Рикша» снимался с якоря, два наших старика ездили на пароход с просьбой рассказать всем о нас и прислать встречное судно для желающих уехать, если такие окажутся. Брамс успокоил их обещанием исполнить это. На закате «Рикша» снялся и ушел.

Эту ночь я, как и многие другие, провел в тяжелой полудремоте, вставая изредка, чтобы помочь занемогшей от всех

этих волнений жене. Два дня спустя после ухода «Рикши» Хуан Гонзалес, ездивший с Антонио, мужем Джоанны, ловить рыбу,— вернулся рано и объявил, что в полумиле от берега замечен был ими круглый блестящий предмет, усыпанный гвоздями и качавшийся на волнах. Вскоре пришедший Антонио подтвердил это. «Мы едва не наехали на него»,— сказал он и побледнел. По-видимому, это была одна из плавучих мин, о которых говорил Брамс.

В полдень над головами нашими раздался сильный трещащий гул, и все выбежали из домов. С полей спешили испуганные работники. Вверху, огибая дерево, летел с быстротой чайки огромный темный предмет, меняющий очертания; сделав поворот у леса, он нырнул вниз и скрылся.

Мы были так напуганы, что кричали все сразу, не понимая друг друга. Ни у кого, самого недоверчивого, не оставалось сомнения, что вокруг острова, пока невидимые нами, происходят морские сражения и разведчики осматривают окрестности, летая над островом. Глухие удары или взрывы слышались спустя недолгое время со стороны западного горизонта. Все устремились на берег. На линии воды и неба вилось множество дымков; оттуда, заглушенная расстоянием, доносилась медлительная, тяжкая пальба, и казалось — земля дрожит под ногами. Так продолжалось час или более; затем все исчезло.

Вечером трое Гонзалесов, ходивших в лес за дровами, вернулись еле переводя дух. Они слышали стук множества копыт, крики, звон сабельных клинков и стоны, но никого не видали. Аллен Скоррей, бывший в это время с женой у водопада, пришел немного спустя; они видели на скале вооруженного всадника, смотревшего из-под руки в сторону леса. Заметив Скоррея, он исчез, едва натянув поводья.

— На острове произведена высадка,— сказал Аллен, сообщив свое и выслушав Гонзалесов.— Что это за война — мы не знаем, нам угрожает опасность, может быть — смерть. Надо обойти остров.

Антонио Гонзалес и я вызвались сделать это. Потратив половину следующего дня на обыск Фарфонта, мы не заметили никаких следов, но слышали звон и лязг, сопровождаемый криками. Вернувшись, мы застали наших в большом унынии. Женщины плакали. Наш рассказ удивил и еще больше напугал всех.

— Может быть,— сказал, покачивая головой, старик Рэнсом,— может быть, люди ухитряются быть невидимыми. Теперь, говорят, время чудесных выдумок.

— А трупы? — спросил я.

Но он не ответил мне.

— Смотрите, смотрите! — закричала в это время моя сестра, и мы, следя за направлением ее ужасного взгляда, увидели, что все небо покрыто быстро несущимися таинственными кораблями со странным, невиданным такелажем, напоминающим парусные суда и имевшим как бы отражение под собой, в воздухе. Там слышались гул и свист, удары и протяжный звон колоколов, и скоро все затянулось дымом пааьбы, отдавшей в наших ушах смертным приговором. Женщины падали без чувств, бежали в дома, рыдали. Мы, мужчины, стояли как привязанные, не имея сил двинуться с места. Наконец последние кормы чудовищ скрылись за скалами, и мы могли, собравшись опять, с горем и страхом признаться друг другу в нашем общем отчаянии. Никто не мог объяснить происходящее. Эту ночь спали одни дети...

В таких непрерывных, угнетающих, безжалостных, грозных явлениях прошел месяц и еще две недели, и наконец мы пришли в совершенно жалкое, полубезумное состояние. Боялись отходить далеко от дома, чтобы не остаться одним; работы были заброшены; беспокойные и тяжелые сны преследовали тех, кто, ища покоя, кидался в постель; дети, более всех испуганные грозой, разрушившей нашу тихую жизнь, плакали, как и матери их, похуевшие от непрерывного страха; мы, мужчины, решаясь иногда стряхнуть власть воинственных сил, обходили все вместе остров, дабы убедиться, что мы единственные его хозяева, и, каждый раз убеждаясь в этом, впадали в еще более острое отчаяние. Глухой рокочущий гул днем и ночью раздавался над нашими головами; нечто подобное отдаленным взрывам обрывало беседующих на полуслове, и стоны и вопли, то тихие и жалобные, то громкие, полные гнева и боли, наполняли воздух. Ночью слышалась сильная канонада в западной стороне, как будто там шло бесконечное сражение: люди, выходявшие посмотреть на море, видели темные громады судов неизвестной национальности, преследующие друг друга. Мы более не знали покоя. Что происходило с нами? Что вокруг нас? Мы устали задавать друг другу вопросы. Наконец однажды вечером троюродный брат мой

Аллен Скоррей сказал нам, собравшимся у него в доме, что в нашем беспомощном положении не видит он никакого выхода, кроме смерти: «Мы не бодрствуем и не спим. Отданные во власть дьявольского кошмара, а вернее — ужасной действительности, достигшей, с помощью неизвестных нам средств, совершенства неуловимости — мы, отрезанные от всего мира, ничего не знающие, невинные, теряющие рассудок, скоро совершенно сойдем с ума и огласим воздух дикими завываниями. За что? Мы не можем знать этого. Я предлагаю умереть добровольно».

Не было такого, который решился бы или хотел возражать ему. В глубоком молчании собравшихся Аллен приготовил жребья по числу мужчин: вытащивший самую короткую палочку должен был остаться в живых, чтобы похоронить остальных. Мне выпало это несчастье. Тогда сестра моя Алиса Скоррей, вдова, сказала: «Пусть так и будет, но я не возьму с собой моих Филиппа и Ливию». Затем она поручила их мне, умоляя дожидаться какого-либо судна и не убивать себя до тех пор, пока не наступит возможность увезти детей с острова.

Я сопротивлялся, как мог, но должен был уступить просьбам; к тому же действительно надо было кому-нибудь позаботиться о похоронах. Однако я зарыдал, ясно представив всю тяжесть своего будущего. Один, полный черных воспоминаний, с двумя детьми на руках, я должен был терпеть и выносить страдания худшие, чем смерть в пытке. Я согласился, может быть, потому, что мой разум был помрачен и не вполне понимал происходящее.

Скоррей в этом месте рассказа лишился чувств. Придя в себя, он, видимо, торопился досказать остальное. Здесь стенограмма сумбурна, отрывиста и коротка.

— Настоящая лихорадка нетерпения овладела всеми. Написали записку, Аллен принес яд. Я вышел и увел детей, сказав им, что наши скоро придут. Ни за что на свете не вернулся бы я туда, в дом Аллена. Я лежал в полуобмороке, в полузабытьи. Что там происходило — не знаю. Солнце садилось, когда я решился открыть роковую дверь.

И я увидел...

Скоррей отказался рассказывать, как он хоронил этих несчастных. Дальнейшие его показания — мрачную повесть жизни полубольного человека с двумя маленькими детьми, которых нужно было кормить и успокаивать, выдумывая

всякие истории относительно всеобщего исчезновения, — можно найти в «Ежемесячнике Ахуан-Скапа», журнале, поместившем наиболее подробный отчет о деле Фарфонта. Автор, ссылаясь на Миллера, Куинси и Рибо, развивает гипотезу массовых галлюцинаций, а также «страха жизни» — особого психологического дефекта, подробно исследованного Крафтом.

В заключение, описывая прекрасную растительность острова, его мягкий климат и своеобразное очарование заброшенности, нетребовательной и безвредной, — автор заканчивает статью следующим замечанием:

«Это были самые счастливые люди на всей земле, убитые эхом давно отзвучавших залпов, беспримерных в истории».

НАКАЗАНИЕ

I

Вертюга отправился на чердак с подручным «закреплять болты». Оба сели на балку, усыпанную голубиным пометом, и, вынув бутылку спирта, стали опохмеляться.

Накануне, по случаю воскресенья, было большое пьянство, а теперь жестоко болела голова, нудило, и по всему телу струилась мелкая ознобная дрожь. Вертюга, глотнув из бутылки, закусил луковицей и сказал, передавая напиток подручному:

— Ну-ка, благословясь!

Подручный сделал благоговейное лицо и осторожно потянул из горлышка. Глаза его заслезились, на скулах выступили красные пятна. Он оторвался от бутылки, перевел дух и бойко сплюнул. Это был крупный молодой парень с жестким лицом.

— Чудесно! — сказал Вертюга, глотая слюну. — Совсем другой человек стал!

В полутемной прохладе чердака стало как будто светлее. Приятели посидели молча, смакуя желанное удовлетворение. Затем Вертюга встал, взял большой французский ключ и деловито, сосредоточенно подвинул гайку. Болты держались крепко, но совершить хотя бы и бесполезное действие требовалось для «очистки совести».

— Идем, Дмитрич, — сказал подручный, — болты эти в своем виде сто лет просуществуют.

— А все ж! — отозвался Вертлюга, сходя по лестнице.— Бутылку в песок зарой, заглянем еще сюда.

Подручный спрятал бутылку, и оба сошли вниз, в грохот и суету деревообделочной мастерской. Восемь машин разных величин и систем, сотрясаясь от напряжения, выбрасывали одну за другой гладко обстроганные доски. Шипя, как волчки, или же резко жужжа, вихренно вертелись ножи, мягкая, сыроватая, напоминающая мыльную пену, бесконечным кружевом ползла из-под них стружка.

II

Доска, брошенная концом на чугунную решетку машины, медленно втягивалась шестерней и ползла дальше, к бешеной воркотне ножей, встречавших ее. Иногда большие куски дерева, вырванные ножами, летели через всю мастерскую.

Доска проходила станок и, гладко выстроганная, с красивым багетным краем, тихо сваливалась на мягкую кучу стружек. Безостановочно клубилась белая древесная пыль, садясь на пол и потолок, лица и руки.

Сквозь грохот машин слышалось однообразное шипение приводных ремней. Скреживаясь, змеились они от потолка к полу, фыркая швами. Широкие, темные ленты их мерно полосовали воздух, насыщенный запахом керосина, машинного масла и отпотевшего железа.

В окна смотрел ярко-желтый блестящий день. Раздраженные, повышенные человеческие голоса носились по мастерской, вместе с пылью и громом машин. Было непонятно, зачем люди говорят о ненужных им и неинтересных вещах.

Один выражал неудовольствие, что много стружек, хотя стружки ему не мешали и занят он был не у строгальной машины, а у станка для вырезки тормозных колодок. Другой доказывал сторожу, что тот ворует казенные свечи. Третий бранил доску за то, что сучковата и с трещинами...

Вертлюга поднимал доски, тащил их к станку, втискивал и смотрел, как бегло выстрогивались желобки. Мысли его вертелись вокруг гульвивой и стрежистой речки Юргенки, на которой, будучи страстным удиль-

щиком, просиживал он частенько свободные вечера и праздники. Он ясно увидел речку.

Бесчисленные синие колокольчики заливают нежным голубым маревом яркую траву берегов, поросших шиповником и черемухой; чудно пахнет цветами. Тишина, никого нет. А вот глубокий спокойный омут под широким обрывом. Там ветки мокнут в воде, глаза слепит мошкара, обнаженные, упавшие в воду корни струят воду жемчужным блеском.

III

Таинственная жизнь рыб скрыта черной водой. Поплавок заснул над глубоко затонувшими облаками. Вот он задумчиво шевельнулся... поплыл... дернулся... побежали круги... нырнул,— и удочка выбрасывает на воздух брызгающего каплями, свивающегося кольцом, тяжелого красноперого окуня. Снова спит поплавок, ленивая, сладкая тень лежит вокруг рыболова, и пахнёт мгновенный ветерок,— как в раю.

— А хорошо бы теперь уйти рыбу ловить! — тоскливо вздохнул Вертлюга.

Но сейчас же, цепляясь друг за друга, побежали разные соображения. Во-первых, осталась еще тысяча досок спешного, хорошо оплачиваемого заказа. Ножи могут сломаться, притупиться или выскочить, и некому их будет поправить. Затем, и это главное, он лишается половины дневного заработка. На завтра же вагонный мастер спросит:

— Вертлюга! Вчера почему ушел?

— Захворал, Владислав Сигизмундович.

— Хорошо,— говорит мастер, попыхивая сигарой,— а вот поди-ка сюда...

Ведет в контору и говорит:

— Штраф.

Вертлюга подумал еще немного, но было ясно, что, кроме штрафа, других неприятностей быть не может. Наденет он шапку, выйдет за ворота, возьмет дома удочку, жестянку с червями, корзину и — на речку. А доски... Черт с ними! Он даже улыбнулся: детской, несуровой выходкой показалось ему это внезапно загоровшееся желание. Но решение было еще неполным, еще не укре-

пилося в душе настолько, чтобы он мог тут же бросить станок и направиться к выходу.

Вертлюга испытывал тяжесть и раздражение. Бессознательно ворочая непривычные позы души, он боролся с самим собою, изредка раздражаясь короткими, скупыми словами, в которых изливалась внутренняя его работа:

— Ничто меня здесь не держит. Взял да ушел. Эка важности! Ухожу! Чего я стою да себя мучаю?! Ежели не могу я сегодня, так-таки совсем не могу!

IV

Годами копившееся отвращение к скучному однообразному труду перешло в болезненно-капризное состояние, когда человек готов заплатить какой угодно ценой за удовлетворение сильной, внезапной прихоти. Вертлюга посмотрел на часы; стрелки указывали полчаса третьего.

— Вот эту стопку dokonчу и уйду,— сказал Вертлюга.— Штук десять тут.

Сказав это, он понял, что близок к окончательному решению, и это его успокоило. Стопа быстро подходила к концу. Он стал считать доски по мере того, как они вываливались из станка. Одна, другая, третья, четвертая. Еще ползет. Половина. Четверть. Сейчас выйдет... упала.

— Последняя,— пятая.

Шум прекратился. Ножи и шестерни остановились. Ремень, соскочив со шкива, жалобно фыркал и бессильно болтался.

— Ремень соскочил, Дмитрич,— сказал подручный.

— Соскочил, так наденем.

Вертлюга руками захватил ремень и стал натягивать его на крутящийся шкив. Ремень упрямо соскакивал, не поддаваясь Вертлюге, но вдруг, попав на место, повернул шкив неуловимо быстрым движением. Не успел Вертлюга выправиться, как его, ущемив одежду между ремнем и шкивом, сильно дернуло вниз, ударило головой о станок, перевернуло, подбросило и отшвырнуло в сторону, в мягкую кучу стружек.

Последнее, что видел он в этот момент,— грязный, в опилках пол,— заволокло дымной завесой. «Держи!» —

крикнул он безотчетно, падая с саженной высоты постамента, и упал, разбив челюсть. Затем сплошная тьма потопила его.

Вдруг кто-то спросил: «Ну как? Дышит?» Вертлюга вздрогнул, открыл глаза, но быстро закрыл их: свет болезненно резал зрение, ослабевшее от десятидневной горячки.

V

Лежа с закрытыми глазами, Вертлюга продолжал видеть больничную палату, сестру милосердия в сером платье и высокий белый потолок. Это было все ново и странно, и он улыбнулся, думая, что видит сон. На другой день ему стало хуже.

Он умер через четыре дня, а перед смертью попросил доктора вызвать вагонного мастера. Когда тот пришел и смущенно остановился перед койкой,—Вертлюга быстро и отчетливо проговорил:

— Владислав Сигизмундович!

— Что, Вертлюга?

— А вот видите, приходится попрощаться. Умираю. Простите, если что...

— Н-да, неприятно,—сказал мастер, откашливаясь и хмурясь.— Дело такое, божье дельце...

— Ну-к што ж! — перебил Вертлюга деланно-равнодушным голосом.— Помираю. А из-за чего? Почему? Вот потому... Потому, что воли моей я не исполнил.

— Ремень без палки надевал... да.

— Без палки? — переспросил Вертлюга.

— Разумеется. Так никто не делает. Теперь без ног лежишь.

— Ты балда! — сказал вдруг Вертлюга сердито и громко, так, что больные слышали и оглянулись.— Балда! Разве я про палку?.. Дерево стоеросовое!

Он нервно натянул одеяло и повернулся лицом к стене.

ВОКРУГ СВЕТА

I

Последние десять миль, отделявшие торжествующего Жилия от шумного Зурбагана, пешеход прошел так быстро и весело, словно после каждого шага его ожидало несравненное удовольствие. Узнавая покинутые два года назад места, он испытывал восхищение больного, чудом возвращенного к жизни, которому блаженное чувство безопасности показывает домашнюю обстановку в звуках ликующего оркестра.

Костюм Жилия в день его возвращения состоял из серых шерстяных чулок до колен, толстых башмаков с пряжками, кожаных коротких штанов, голубой парусиновой блузы и огромной соломенной шляпы, покоробившейся самым причудливым образом. Дыра от пули была единственным его украшением. У пояса, в кожаной кобуре, висел старый друг, семизарядный револьвер, а за плечами — емкая дорожная сумка.

Жиль твердо постукивал суковатой палкой и свистал так пронзительно, что воробьи вспархивали, увидев его, за сто шагов.

Описав дугу кривой дорогой равнины, отделяющей рабочие предместья Зурбагана от лесистых долин Кассета, Жиль вступил наконец в крикливую улицу Полнолуния. Ранний час дня свежим блеском и относительной для этих широт прохладой придавал уличному движению толковую жизнерадостность. Крупная фигура Жилия, особенная стремительная походка, выработанная долго-

ми странствованиями, густой кофейный загар, подавляющее напряжение лица, вызванное волнением, и бессознательная улыбка, столь сложная и заразительная, что заставила бы обернуться мрачнейшего ипохондрика, скоро обратили на путешественника внимание многих прохожих. Жиль взглянул на часы — было половина девятого. «Ас-соль спит,— решил он.— Зачем портить восторг встречи смесью сна с действительностью? Я все равно — дома». Заметив, что порядком устал, Жиль, свернув в аллею просторного бульвара, выбрал кабачок попроще и, сев в еще пустом зале за круглый стеклянный стол, сказал, чтобы подали яичницу с луком, бутылку водки и крепких сигар.

Почти тотчас вслед за ним вошли: меланхолический лавочник, держа руки под фартуком; толстый надутый мальчик, лет десяти, красный от нерешительности и любопытства; девушка мужского сложения, в манишке и стоячем воротнике, с мужской тростью, мужским портфелем и мужскими манерами; испитой субъект с длинными волосами; кургузый подвижной господин, свежий и крепкий; две барышни и несколько молодых людей, безлично-галантерейного типа с тросточками и золотыми цепочками.

Хозяин, смотря поверх очков и прижимая пальцем то место газеты, на котором застигло его такое изумительное в ранний час нашествие посетителей, почесал свободной рукой спину, воспрянул и потряс огромным звонком. Слуги, вбежав, принялись кланяться, стирать пыль, принимать заказы и покрикивать друг на друга.

Тем временем посетители, сев в разных местах зала, открыто усталились на Жилья взглядами театральных зрителей. Заметив это, молодой человек смутился, но скоро сообразил, в чем дело. Газеты, видимо, были извещены о нем,— вероятно, выклянчили у Ассоль портрет, тиснули его в рамке барабанных статеек, и экспансивные зурбаганды, с догадкой, что герой — он, человек воинственно-бродячей наружности, ждали подтверждения этому; ждали, отдадим справедливость, смиренно и уважительно, однако при виде стольких глаз, круглых и немигающих, третий глоток водки застрял в горле Жилья. Он думал, что хорошо бы удрать. Сигара заставила его кашлять, а яичница упрямо разваливалась на вилке.

Вдруг положение изменилось,— лопнул пузырь томления: мужевидная девица, понюхав поданный шоколад, крикнула, обвела общество призывным взглядом, решительно поднялась и, подойдя к Жилю, громко спросила:

— Разрешите мои сомнения. Портрет кругосветного путешественника, Жилия Седира, напечатанный в журнале «Герольд», хроникером которого имею честь состоять я, Дора Минута, очень напоминает ваши черты. Не вы ли славный зурбаганец Седир, два года назад вышедший на стотысячное пари с фабрикантом Фрионом, что совершите кругосветное путешествие без копейки денег, сроком в два года?

Эта тирада заставила даже хозяина покинуть стойку и придержать дыхание.

— Я, я!— сказал взволнованный Жиль, смеясь и раскланиваясь с повскакавшей вокруг публикой. Послышалось: «ура! браво! приветствуем!» — и Жиль оказался в кругу радостно-любопытных лиц. Все хотели знать, как он путешествовал, с какой целью, что видел и испытал.

Немного можно ответить сотням вопросов и обращений,— однако, настроенный благодушно, Жиль рассказал главное. Его заставило добыть таким способом деньги изобретение, имеющее важное будущее. Никто не давал денег для окончательных опытов. Министерство благосклонно отвертелось, капиталисты не доверяли, а сам изобретатель, вставая поутру, не знал, будет ли сегодня обедать. Эксцентрик Фрион, жестокой забавы ради, предложил ему обогнуть земной шар за сто тысяч, покинув город без денег, съестных припасов и спутников. Нотариус скрепил это условие. Опаздывая сверх двух лет даже на одну минуту (секунды прощались), Жиль не получал ничего.

Но он выполнил задачу неделей раньше условленного. Конец нищете! Начало славы изобретателя пришло к его ногам. Жиль вскользь, но одушевленно и любовно коснулся яркой пестроты двухлетнего путешествия. Прекрасной феерией развернулось в его душе опасное прошлое. Все способы передвижения испытал он: ходьбу, лодку, носилки, слонов, верблюдов, велосипед, барки, пароходы, парусные суда. Храмы и башни, развалины и тоннели, тропические леса, горные цепи, пропасти, водопады, цветы, пальмы, миражи — простое перечисление виденного заставило бы не один раз перевести дух. Настроение опасности, силы, радости, экстаза, величествен-

ного покоя, бури и тишины, молитвы и милых воспоминаний, решительности и вызова — всю сложную мелодию их Жиль передавал сердцам слушателей нервными толчками рассказа, стиснутого возбуждением торжества. Пламенное воспоминание это, витая в избранной красоте прошлого, заразило аудиторию. Лица и глаза светились возвышенной завистью людей подневольных, но увлеченных.

— А видели ли вы рыбий храм? — басом сказал толстый мальчик, видимо, давно уже державший этот вопрос на спуске своей любознательности. Тотчас же великий конфуз съел его без остатка, и, красный, как помидор, смельчак жалостно запыхтел.

— Какой храм, милочка? — улыбнулся Седир.

— В котором дикари поклоняются рыбам, — с отчаянием проголосил бедняк, прячась за Дору Минуту, так как все пристально посмотрели на его круглую, стриженую голову. — Когда дикари пляшут... — выпискнул он при общем хохоте и исчез, покончил существование как сознательный член общества, утопив свою кругленькую фигуру в путанице угловых стульев.

Жиль встал, пожимая руки поклонников, в воздухе было тесно от восклицаний. За дверью кликнул он на всякий случай извозчика, — и не напрасно, потому что любопытные явно были огорчены этим. Скоро Жиль стучал у бедных дверей на шестом этаже, в комнату жены.

Дверь тихо приоткрылась, показала легкую молодую женщину с блистающими глазами и вдруг стремительно отлетела к стене. Оба чуть не упали с высокого порога, на котором стиснули друг друга теплом, счастьем и стосковавшимся руками. Амур, всхлипывая и визжа от восторга, повис на них с цепкостью уистити, поймавшей бабочку, повернул ключ и опустил занавески.

II

Еще два года назад решено было в условии меж Фрионом и Жилем, что установление выигрыша пари и получение премии состоятся в редакции «Элеватора». За два часа перед тем, когда Седиру следовало быть на месте триумфа, в дверь постучали корректным, негромким стуком первого посещения.

Вошел человек, скромной, солидной внешности, с привычно висящим в руках портфелем и осмотрел скудную обстановку комнаты неподражаемо пустым взглядом официального лица, обязанного быть бесстрастным во всех, без исключения, положениях.

— Норк Орк, поверенный известного вам Фриона, — ровно сказал он, кланяясь погибче Ассоль и каменным поклоном — Седиру.

Тень предчувствия напрягла нервы Жилья. Он подал стул Орку и сел на другой сам.

— Дело, благодаря которому я имею честь видеть вас, хотя предпочел бы ради удовольствия этого дело совершенно иного рода, — заговорил Орк, — касается столько же вас, сколько и партнера вашего по пари, заключенному меж вами и доверителем моим, бывшим фабрикантом Фрионом. Я уполномочен сообщить — и тороплюсь сделать это, дабы скорее сложить обязанность печального вестника, — что смелые, но неудачные спекуляции ныне совершенно уравнили с вами Фриона в отношении материальном. Он не может заплатить проигрыша.

— Жиль, Жиль! — кричала Ассоль, поворачивая к себе белое лицо мужа нечувствуемыми им маленькими руками. — Жиль, не дрожи и не думай! Перестань думать! Не смей!..

Седир перевел дыхание. Синяя жила билась на его лбу, — он летел в пропасть. Удар был невероятно жесток.

— Так. И никакой пощады? — тоскуя, закричал Жиль. Норк Орк поднял глаза, опустил их и встал, застегиваясь, с вытянутым лицом.

— Мне поручено еще передать письмо — не от Фриона. Вам пишет известный Аспер. Кажется, это оно... да. Жиль бросил письмо на стол.

— Как-нибудь прочитаю, — вяло сказал он, обессиленный и уставший. — Вы, конечно, не виноваты. Прощайте.

Орк вышел; прямая спина его несколько времени была видна еще Жилью сквозь дверь. Ассоль громко, безутешно плакала.

— Плачешь? — сказал Жиль. — Я тебя понимаю. Вот судьба моего изобретения, Ассоль! Я обнес его вокруг всей земли, в святом святых сердца, оно радовалось, это металлическое чудо, как живое, спасалось вместе со

мною, ликовало и торопилось сюда...— Он осмотрел комнату, бедность которой солнце делало печально-крикливой, и невесело рассмеялся.— Что же? Залепи дырку в кофейнике свежим мякишем. Начнем старую голодную жизнь, украшенную мечтами!

— Не падай духом,— сказала, поднимаясь, Ассоль,— когда худо так, что хуже не может быть,— наверно, что-нибудь повернется к лучшему. Давай подумаем. Твое изобретение не теперь, так через год, два, может быть, оценит же кто-нибудь?! Поверь, не все ведь идиоты, дружок!

— А вдруг?

— Ну, мы посмотрим. Во-первых, что же ты не читаешь письмо?

Жиль содрал конверт, представляя, что это — кожа Фриона: «Жиль Седир приглашается быть сегодня на загородной вилле Кориона Аспера по интересному делу. Секретарь...»

— Секретарь подписывается, как министр,— сказал Жиль,— фамилию эту разберут, и то едва ли, эксперты.

— А вдруг...— сказала Ассоль, но, рассердившись на себя, махнула рукой.— Ты пойдешь?

— Да.

— А понимаешь?

— Нет.

— Я тоже не понимаю.

Жиль подошел к кровати, лег, вытянулся и закрыл глаза. Ему хотелось уснуть,— надолго и крепко, чтобы не страдать. Неподвижно, с отвращением к малейшему движению, лежал он, временами думая о письме Аспера. Он пытался истолковать его как таинственную надежду, но о катастрофу этого дня разбивались все попытки самоободрения. «Меня зовут, может быть, как любопытного зверя, гвоздь вечера». Иные имеющие прямое отношение к его цели предположения он изгонял с яростью женоненавистника, обманутого в лучших чувствах и возложившего ответственность за это на всех женщин, от детского до преклонного возраста. Он был оскорблен, раздавлен и уничтожен.

Ассоль, жалея его, молча подошла к кровати и легла рядом, затихнув на груди Жили. Так, обнявшись, лежали они долго, до вечера; засыпали, пробуждались и засы-

пали вновь, пока часы за стеной не прозвонили семь. Жиль встал.

— Пойдем вместе, Ассоль, — сказал он, — мне одному горестно оставаться. Пойдем. Уличное движение, может быть, развлечет нас.

III

Аспер, перейдя те пределы, за которыми понятие богатства так же неуловимо сознанием, как расстояние от земли до Сириуса, тосковал о популярности подобно Нерону, ездившему в Грецию на гастролы.

Владыка материи сидел в обществе двух господ испытанного подобию страсти. Был вечер; большая терраса, где произошло вышеописанное, в ясном полном свете серебрястых шаров заплывала по контуру теплым глухим мраком.

Когда вошли Жиль и его жена, Аспер встал медленно, точно по принуждению, скупой улыбнулся и сел снова, дав на минуту свободу выжидательному молчанию. Но не он прервал его. Истерзанный Жиль сказал:

— Объясните ваше письмо!

— Оно благосклонно. Вы выиграли пари с Фрионом?

— Да, — безуспешно.

— Фрион — нищий?

— Да... и мошенник, кстати.

— Ах! — любовно прислушиваясь к своему звучному голосу, сказал Аспер. — Право, вы очень суровы к нам, игрушкам фортуны. И мы бываем несчастны. Дорогой Седир, я знаю вашу историю. Я вам сочувствую. Однако нет ничего проще поправить это скверное дело. Если вы, начиная с девяти часов этого вечера, отправитесь второй раз в такое же путешествие, какое выполнили Фриону, в тех же условиях, в двухлетний срок, я уплачиваю вам проигрыш Фриона и свой, то есть не сто тысяч, а двести.

— Как просто! — сказал пораженный Жиль.

— Да, без иронии. Очень просто.

Жиль помолчал.

— Если это шутка, — сказал он, посмотрев на изменившееся лицо Ассоль взглядом, выразившим и жалость и

тяжкую борьбу мыслей,— то шутка бесчеловечная. Но и предложение ваше бесчеловечно.

— Что делать? — холодно сказал Аспер.— Хозяин положения вы.

Насмешка взбесила Жилья.

— Да, я вернулся раз хозяином положения,— вскричал он,— только за тем, чтобы надо мной издевались! Гарантия! Я пошел!

Все силы понадобились Ассоль в этот момент, чтобы не разрыдаться от горя и гордости.

— Жиль! — сказала она.— И любить и проклинать буду тебя! Как мало ты был со мною! Впрочем, покажи им! Я заработаю!

— Гарантия? — Аспер взял из рук у одного притихшего подобострастного господина банковскую новую книжку и подал Жилью.— Просмотрите и оставьте себе. Сегодня 13-е апреля 1906 года. Вклад на ваше имя; вы получите его по возвращении, если не позже 9-ти вечера 13-го апреля 1908 года явитесь получить лично.

— Так,— сказал Жиль,— я должен идти сегодня? Не могу ли я получить отсрочку до завтра? Один день... Или это каприз ваш?

— Каприз...— Аспер серьезно кивнул.— У меня не всегда есть время развлечься, завтра я могу забыть или раздумать. Однако, без десяти девять; решайте, Седир: спустя десять минут вы направитесь домой или будете идти к горам Ахуан-Скапа.

Жиль ничего не сказал ему, он смотрел на Ассоль взглядом полубезумным, силою которого мог бы, казалось, воскресить и убить.

— Ассоль,— тихо сказал он,— еще один раз... последний, верный удар. Сама судьба вызывает меня. Я тебя утешать не буду, оба мы в горе,— помни только, что такому горю позавидуют два года спустя многие подлецы счастья. Дай руку, губы,— прощай!

Ассоль обняла его крепко, но бережно, словно этот мускулистый гигант мог закачаться в ее руках. Носки ее башмаков еле касались пола. Жиль прочно поставил молодую женщину в двух шагах от себя, вернулся к столу, где подписал предложенное условие, и, пристально посмотрев на Аспера, сошел по широким ступеням в сад.

Но едва ноги его оставили последний лестничный камень, как он твердо остановился в ужасе от задуманного. Он знал, что, сделав только один шаг вперед, больше не остановится, что шаг этот ляжет бременем всего путешествия. Потрясенным сознанием начал он обнимать грозную громаду предпринятого. Если утром, незлопамятный от природы, он переживал в восторге удаchi только вдохновенное и красивое, то теперь бился над пыльной, темной изнанкой сверкающего ковра. Пространство стало реальным, ясным во всей необозримости изобилием мучительных переходов; болезни, утомление, скучный попутный труд, изнурительная тоска о письмах, мнительность маниакальной силы, проволочки горше, чем отказ,— все стороны походного угнетения стиснули его сердце.

Аспер стоял несколько позади. Вдруг он побледнел,— состояние Жилья передалось ему с убедительностью внезапно хлынувшего дождя. Он задумался.

— Ну, вот...— сказал Жиль, скрутив слабость всей яростью ослепшей в муках души,— я иду. Ступай домой, милая!

Он шагнул, пошел и временно перестал жить. На мгновение странная иллюзия встряхнула его: ему казалось, что он шагает на одном месте,— но быстро исчезла, когда поворот аллеи устремился к смутно белеющему шоссе.

В глазах его были глаза жены, пульс бился неровно и слабо, сердце молчало, холодные руки встречались одна с другой бесцельно и мертвенно. Он ни о чем не думал. Подобно лунатику, сошел он с шоссе на тропу в том самом месте, где два года назад связал лопнувший ремень сумки. Была весна, странная восприимчивость мрака доносила эхо могучих водопадов Скапа, чувственные благоухания цветущих долин неслись в воздухе, и тысячи звезд вдохновенно жгли тьму огнями отдаленных армад, столпившихся над головой Жилья.

Равнодушный ко всему, ровным, неслабеющим шагом прошел он долину и часть холмов, песчаной тропой вышел на семиверстную лесную дорогу, одолел ее и заночевал в поселке Альми,— первой, как и два года назад, тогда утренней, остановке. Хозяин узнал его.

— За постой я пришло с дороги,— сказал Седир,— дайте вина, свечку и чистое белье на постель, сегодня у меня праздник.

Он сел у окна, пил, не хмелея, курил и слушал, как на дворе влюбленный, должно быть, пастух настраивает гитару.

— Заиграй, запой! — крикнул в окно Жиль. — Нет денег, плачу вином.

Смеясь, поднялась к окну пылкая песня:

В Зурбагане, в горной, дикой, удивительной стране,
Я и ты, обнявшись крепко, рады бешеной весне.
Там весна приходит сразу, не томя озябших душ,—
В два-три дня устанавливая благодать, тепло и сушь.
Там, в реках и водопадах, словно взрывом, сносит лед;
Синим пламенем разлива в скалы дышащее бьет.
Там ручьи несутся шумно, ошалев от пестроты;
Почки лопаются звонко, загораются цветы.
Если крикнешь — эхо скачет, словно лошади в бою;
Если слушаешь и смотришь, — ты, — и истинно, — в раю.
Там ты женщин встретишь юных, с сердцем диким и прямым,
С чувством пламенным и нежным, бескорыстным и простым.
Если хочешь быть убийцей — полюби и измени;
Если ищешь только друга — смело руку протяни.
Если хочешь сердце бросить в увлекающую вьсь,—
Их глазам, как ворон черным, покорись и улыбнись.

Песня развеселила Седира: «Это о тебе, Ассоль,— сказал он.— И ради тебя, право, не пожалею я ног даже для третьего путешествия. Не я один был в таком положении». Он вспомнил ученого, прислуга которого, думая, что старая бумага хороша для растопки, сожгла двадцатилетний труд своего хозяина. Узнав это, он поседел, помолчал и негромко сказал испуганной неграмотной бабе:

— Пожалуйста, не трогайте больше ничего на моем столе.

Разумеется, он повторил труд.

Жиль так задумался, светлея и воскресая, что не слышал, как вошел Аспер. Лишь увидев его, он припомнил стук колеса и голоса на дворе.

— Вернитесь,— побагровев и нервничая, сказал толстяк.— Я скоро поехал догонять вас. Пустой формальностью было бы выжидать два года. Я, так и так,— проиграл; живите, изобретайте.

— Однако,— сказал Асперу в конце недели темный граф Каза-Веккия,— вы, я слышал, поторопились проиграть ваше пари?!

— Нет, меня поторопили! — захохотал Аспер. — И, право, он заслужил это. Конечно, я оторвал деньги от своего сердца, но как хотите,— думать два года, что он, может, погиб... Передайте колоду.

— Да, жиловат этот Седир,— неопределенно протянул граф.

— Жиловат? Это — сокрушитель судьбы, и я ему, живому, поставлю памятник в круглой оранжерее. А та разбойница, Ассоль... Увы! Деньгами не сделаешь и живой блохи. Как, — бита? Нет, это валет, господин...

БРАГИ

I

Я не знаю более уродливого явления, как оценка по «видимости». К числу главных несовершенств мыслительного аппарата нашего принадлежит бессилие одолеть пределы внешности. Вопрос этот мог бы коснуться мельчайших подробностей бытия, но по необходимости мы ограничимся лишь несколькими примерами. Плохо намалеванный пейзаж, конечно, наглухо закрывает нам ту картину природы, жертвой которой пал неумелый художник; мы видим помидор-солнце, метелки-деревья, хлебцы вместо холмов; короче говоря, — изображенное в истине своей нам незримо, хотя часть истины в то же время тут налицо: расположение предметов, их ракурс, тона красок. Однако самое сильное воображение не уподобится здесь Кювье, которому один зуб животного рассказывал с точностью метронома, из чьей челюсти попал он на профессорский стол. Египетские и ассирийские фрески, обладая условной правдой изображений, тем не менее, — разбей мы о них голову, — не заставят нас увидеть подлинную процессию тех времен, — мы смутно догадываемся, грезим, но не созерцаем ее абсолютной, бывшей. Читатель вправе, разумеется, возразить, что требование такой прозорливости, проникающей в подлинность посредством жалких намеков, или хотя бы скорбь об ее отсутствии — претензия достаточно фантастическая, и однако есть область, где такая претензия, такая скорбь достойны всякого уважения. Мы говорим о человеческом

лице, наружности человека, этой осязательной лишь чувствам громаде, заслоняющей истинную его духовную сущность весьма часто даже для него самого. Добрая половина поступков наших сообразована бессознательно с представлением о своей личной внешности: падений, самоубийств, самообольщений, мании величия и вообще самооценок столь ложных, что их можно сравнить с суждением о себе по выпуклому и вогнутому зеркалу. Тем более отношение наше к другим, в лучшем случае, является смещением впечатлений: впечатления, производимого действиями, словами и мыслями, и впечатления от качеств воображаемых, навязанных сознанию внешностью. Здесь всегда есть ошибка, и самое отвратительное лицо самого отвратительного злодея не есть точное отражение черт душевных. Как бы ни было, разъединенность и одиночество людей идут также и от этого корня — механического суждения по «видимости». Обладая природою человека чудесной способностью показать единственное истинно соответствующее его физическому лицу внутреннее лицо, — мы были бы свидетелями странных, чудовищных и прекрасных метаморфоз, — истинных откровений, способных поколебать мир.

Лет десять назад я остановился в гостинице «Монумент», намереваясь провести ночь в ожидании поезда. Я сидел один у камина за газетой и кофе после ужина; был снежный, глухой вечер; вьюга, перебивая тягу, ежеминутно выкидывала в зал клубы дыма.

За окнами слышались скрип саней, топот, щелканье бича, и за распахнувшейся дверью разверзлась тьма, пестревшая исчезающими снежинками; в зал вошла засыпанная снегом небольшая группа путешественников. Пока они отряхивались, распорядились и усаживались за стол, я пристально рассматривал единственную женщину этой компании: молодую женщину лет двадцати трех. Она, казалось, была в глубокой рассеянности. Ничто из ее движений не было направлено к естественным в данном положении целям: осмотреться, вытереть мокрое от снега лицо, снять шубу, шапку; не выказывая даже признаков оживления, присущего человеку, попадающему из снежной бури в свет и тепло жилья, она села, как неживая, на ближайший стул, то опуская удивленные, редкой красоты глаза, то устремляя их в пространство, с выражением детского недоумения

и печали. Внезапно блаженная улыбка озарила ее лицо — улыбка потрясающей радости, и я, как от толчка, оглянувшись, напрасно ища причин столь резкого перехода дамы от задумчивости к восторгу.

Ее спутники, — двое мужчин среднего возраста, — вполголоса беседовали с хозяином, по-видимому, насчет ужина. Когда хозяин отошел, я, подозревая его, тихо спросил:

— Вы знаете эту даму?

Хозяин, пожав плечами, приложил палец ко лбу.

— Нет, я знаю только, что ее везут в лечебницу умалишенных Эспризгуса. Мне сказал это ее брат, вон тот, что снимает с нее калоши. Он просил дать ей удобную, тихую комнату.

Я еще раз пристально осмотрел незнакомку; ничего безумного не было в ее лице и глазах; все, что я мог отметить, это — пораженность, подавленность, некая безропотная, замкнутая грусть, происходившая, быть может, от сознания своего положения. Временами загадочная, чудесная улыбка меняла на мгновение ее лицо, уступая место прежнему выражению. Она ела мало и медленно, изредка роняя неслышные мне слова; все время пребывания внизу она была окружена самым предупредительным и нежным вниманием со стороны своих спутников.

Пробило двенадцать, когда ее отвели наверх. Брат скоро вернулся и, сев у камина, извлек сигару. Я представился, он назвал себя. Помедлив, сколько того требовало приличие, я осторожно привел разговор к интересующему меня вопросу — болезни молодой женщины.

— Допустим, — сказал он, — что это сказка, но и тогда она не была бы более удивительной, чем случившееся. Имя сестры — Ассоль. В путешествии, два года назад, она познакомилась с капитаном «Астарты» Ивлетом и вышла за него замуж. Три месяца назад муж вернулся из плавания. Супруги, утомленные радостью и оживлением встречи, рано легли спать: спали они на одной постели, — Ивлет у стены.

Ночью его разбудил громкий крик, шум падения тела, и, вскочив, он увидел жену лежащей на полу в обмороке. Горело электричество. Капитан, бесполезно употребив домашние средства, вызвал доктора; его содействие вернуло Ассоль сознание: «Кто вы? — спросила она

мужа, смотря на него со страхом, изумлением и восторгом.— Я не знаю вас; как вы очутились здесь? Где Ивлет?»

«Ассоль, милая,— сказал встревоженный капитан,— что с тобой? Здесь нет никого, кроме меня и доктора». Так началось внезапное помешательство сестры; слышимо тяжело рассказывать, как, неузнаваемый ею, он приводил, словно испуганный ребенок, доказательства того, что он,— он, а не некто, видимый молодой женщиной. Теперь обратимся к ней.

Проснувшись и включив электричество, она увидела рядом с собой неизвестного человека,— спящего, как спал всегда капитан,— на спине, с руками под головой. Лицо этого человека было прекрасно, юно, гармонично-правильно, лицо Феба, смягченное духовной изысканностью, изяществом неуловимых оттенков. Крупно выходящие золотистые, блестящие волосы открывали чистый, высокий лоб. Оно показалось ей совершенным лицом человека, мыслимым лишь в видении. Думая, что спит, Ассоль провела руками вокруг себя, уронила стакан, стоявший на ночном столике, и звон стекла, достоверно подчеркнув действительность, лишил ее самообладания. Испуганная, она вскрикнула и упала.

Ее рассказ об этом, повторенный нескольким врачам в разное время, привел последних к заключению, что они имеют дело с редким случаем полной локализации помешательства, ограничением его странной и редкой галлюцинацией. Во всем остальном Ассоль проявила и твердость и полное сознание положения. Убежденная посторонними, что видит мужа, она не сомневалась более в этом, мужественно умалчивая о страданиях, выпавших на ее долю, благодаря этой тайне умозрения, проектированного в действительность. Она сама пожелала ехать в лечебницу и выражала лишь скорбь о том, что, может быть, никогда не узнает, где истина: в прошлом или теперь.

Рассказ брата Ассоль был более, значительно более подробен, чем мой. Я сжал его в той мере, в какой он сжался отдаленным воспоминанием. В шесть часов утра я отправился в Зурбаган, унося жалость к несчастной,— несчастной потому, что никто не мог видеть ее глазами, обреченными отныне на безмолвный и покорный вопрос.

Спустя около полугода, я прочел в «Вечернем Курьере» следующее:

«11 октября пароход каботажного Ллойда «Астарта», получив около Мизогена пробойну кормовой части, пошел ко дну в течение 20 минут. Не более половины пассажиров спаслось на шлюпках. Погиб также почти весь экипаж и капитан парохода Ивлет. Трагичны и трогательны подробности его смерти.

Одна женщина, торопясь сесть в шлюпку, уже спускавшуюся на таях, уронила трехлетнюю девочку. Истукленно крича, женщина повисла на тросах. Ее пальцы были раздавлены блоком, но отчаяние сильнее боли заставило ее цепляться, мешая спуску. Она умоляла спасти девочку. Буря и плеск волн заглушили ее вопли.

Тогда капитан Ивлет, сбросив сюртук, прыгнул в воду и, схватив захлебнувшегося ребенка, передал его матери. Корма «Астарты», образуя гибельную воронку, буквально падала вниз с быстротой вертикально брошенного шеста. Переполненная до отказа шлюпка задержалась у борта, — матросы хотели спасти капитана. «Ну, не разговаривать! — крикнул он. — Отчаливайте! Берегитесь! Вас втянет в водоворот!» Сказав это, он оттолкнулся от шлюпки и скрылся. Матросы заработали веслами как раз вовремя, — кипучая водяная яма разверзлась за кормой лодки, едва не затянув ее в свою грозную пропасть».

На этом месте я отложил газету и пристально рассмотрел помещенный в тексте, с фотографии портрет Ивлета. Портрет весьма согласовался с описанием наружности капитана, сделанным мне братом Ассоль. Это был коренастый человек лет сорока, с квадратным простодушным лицом, короткой верхней губой и маленькими, упрямыми глазами.

Но я думал, что, может быть, — в момент, когда он отталкивался от шлюпки, — лицо это было совершенно таким, каким увидела его Ассоль ночью и какое несомненно вызывало прекрасную улыбку в ее печальном лице и глазах, таивших неведомое.

УЗНИК «КРЕСТОВ»

I

Знаменитый Латюд, попавший в Бастилию за то, что пытался угодить маркизе Помпадур, подослав ей анонимное письмо о вымышленном покушении на ее жизнь, а затем послав второе письмо с приложением щепотки поваренной соли, которая должна была изображать яд — доказательство покушения, — страдал тридцать лет по сравнительно серьезной причине.

Мы говорим сравнительно потому, что некто Аблесимов просидел в нашей доморощенной «Бастилии» — «Крестах» — двадцать два года за удивительную и неимоверную чепуху.

Дело было так.

Аблесимов служил наборщиком в типографии газеты «Пестрое дело». Нынешний, несуществующий уже как царь, Николай II короновался тогда в Москве, заманивая пирогами на Ходынку многих доверчивых простаков, кричавших «ура» византийской пышности коронационного церемониала не столько из привязанности к самодержавию, сколько из тяготения к пирогу, оказавшемуся, как говорит история, изделием, пропеченным плохо и почти без начинки.

Среди наборного материала, принесенного Аблесимову в самый день коронования вечером, была московская телеграмма, в которой описывался ритуал коронования.

На другой день в полдень начальнику знаменитого третьего отделения позвонил по телефону министр внут-

ренных дел, требуя его немедленно к себе тоном строгим и жестким.

Перепуганный начальник помчался сломя голову к все- сильному временщику, ломая по дороге голову, что бы это могло все значить.

Министр стоял у стола, положив руку на разверну- тый номер «Пестрого дела».

— Идите сюда,— неторопливо приказал он вытянув- шемуся в струнку чиновнику.— Смотрите!

Он провел пальцем по подчеркнутой красным каран- дашом газетной строке, и начальник третьего отделения с ужасом прочитал: «Москва. 14 мая 1896 г... Его Величество государь Император Николай II ... в 12 ч. проследовал в Иверскую часовню...»

Выпущенное многоточием в середине фразы слово должно было означать «ровно». Ошибка наборщика в спешной ночной работе заменила первую букву этого слова иной, придавшей всей фразе совершенно цинич- ный и оскорбительный для императорской особы смысл.

Начальник затрепетал.

— Без дальних слов,— сказал министр,— в двадцать четыре часа найдите виновного, арестуйте и спрячьте на- всегда... куда хотите. Вот полномочие.

Он протянул подписанную уже взбешенным царем бумагу, и начальник третьего отделения засвистел шинами щегольской кареты в мрачный застенок третьего отде- ления.

II

Аблесимов обедал, когда после резкого звонка в квартиру вошел рослый жандарм и, показав несчастно- му наборщику приказ об аресте, повлек его в узили- ще, страшно шевеля огромными рыжими усами, плотоядно блестящими на круглой как сыр роже разжиревшего паразита.

Без допроса, без объяснений, без ответа на вопли из- мученного, несчастного труженика, оставившего малолет- них детей и старика отца в их неприветливо голодной свободе,— Аблесимов был брошен в подвальный этаж ужасных «Крестов».

Три месяца провел он в кошмарном полусне, почти лишенный рассудка. Иногда, приободрившись, пытался он

объяснить себе смысл всего происшедшего и бессильно поникал быстро поседевшей головой, обуреваемой думами.

Раз, вспоминая последнюю ночь типографской работы, он поймал в памяти нечто,— какой-то намек, проблеск истины. Чтобы не потерять нити, Аблесимов закрыл глаза и вдруг вспомнил.

Метранпаж Васильев всегда был его врагом и вечно ругал его за дело и без дела. В ту ночь, когда Аблесимов кончал работу, Васильев, придравшись к какому-то пустяку, облил Аблесимова потоком отборной брани, в которой искаженное «ровно» повторялось более часто, чем это необходимо для здоровья и настроения.

Теперь Аблесимов вспомнил, что загипнотизированный этим словом и сердито повторяя его про себя, сделал ошибку, которую хотел исправить, но забыл о ней, так как завязалась крупная ссора...

— Я пропадаю за букву «г»! — вскричал он и умер, проклиная правительство.

СОЗДАНИЕ АСПЕРА

I

В мрачной долине Энгры, близ каменоломен, судья Гаккер признался мне во многом необычайном.

— Друг мой, — заговорил Гаккер, — высшее назначение человека — творчество. Творчество, которому я посвятил жизнь, требует при жизни творца железной тайны. Имя художника не может быть никому известно; более того, люди не должны подозревать, что явления, удивляющие их, не что иное, как произведение искусства.

Живопись, музыка, поэзия создают внутренний мир художественного воображения. Это почтенно, но менее интересно, чем мои произведения. Я делаю живых людей. С этим возни больше, чем с цветной фотографией. Тщательная отделка мелких частей, пригонка их, чистка, обдумывание умственных способностей созданного вновь субъекта, а также необходимость следить за тем, чтобы он поступал согласно своему положению, — отнимают немало времени.

— Нет, нет, — продолжал он, заметив на моем лице недоверие и натянутость, — я говорю серьезно, и вы скоро это увидите. Как всякий художник, я честолюбив и желаю иметь последователей; поэтому, зная, что завтра окончу жизнь, решился доверить вам метод, посредством которого достиг известных результатов.

Земля скупое создает новые виды растений, животных и насекомых. Мне пришла мысль внести в роскошное разнообразие природы еще более разнообразия путем созда-

ния новых животных форм. Открытие новой разновидности кокуйо¹ или орхидеи увековечивает имя счастливого профессора, тем более мог гордиться я, если бы удалось мне,— не путем скрещивания, это путь природы,— а искусственно изменить видовые признаки отдельных особей с сохранением этих изменений в потомстве. Я нашел верный путь, столь странный, но бесконечно простой, что вы, если я посвящу вас в свое открытие, должны изумиться. Однако я молчу, чтобы не сделать бедных животных пасынками ученого мира, забавными униками: теперь же они — предмет благоговейного изучения, завоеватели славы своим исследователям.

Я создал плавающую улитку с новыми органами дыхания; шесть пород майских жуков, из коих одна особенно замечательна выделением благовонной жидкости; белого воробья, голубя-утконоса; хохлатого бекаса; красного лебедя и много других. Как вы заметили, я выбирал общеизвестные, легко встречаемые виды с целью наискорейшего их открытия учеными. Мои произведения вызвали фурор; автором считали природу, а я читал о плавниках новой улитки с улыбкой и нежностью к маленьким тварям, отцом которых был я. В это время, определяя границы возможного, я занялся деланием людей. Я придумал их три, выпустив в жизнь: «Даму под вуалью», известного вам «поэта Теклина» и разбойника «Аспера», относительно которого в стране не существует двух мнений: это — гроза округа.

Являлось беспцельной забавой производить обыкновенных людей, которых весьма достаточно. Мои должны были стать центром общего внимания и произвести сильное впечатление, совершенно так, как знаменитые произведения искусства; след, задуманный и проложенный мной, должен был глубоко врезаться в души людей.

Я начал с «Дамы под вуалью» как с опыта. Однажды к прокурору главного суда в Д. позвонила стройная молодая женщина; лицо ее скрывал черный вуаль. Она объясняла, что желает видеть прокурора для секретных разоблачений по сенсационному процессу Х., обвиненного в государственной измене. Слуга, ходивший с докладом, вернулся, но дама скрылась. В один и тот же час того дня, как обнаружилось, таинственная посети-

¹ Светящийся жук. (Прим. автора).

тельница приходила с аналогичным заявлением к сенатору Г., министру юстиции, военному министру и инспектору полиции и везде скрылась, не ожидая результатов доклада.

Предположения, возникшие в печати и обществе по поводу этого необъяснимого случая, доставили мне множество приятных часов. Уличные газеты кричали о мадам К., любовнице штабного генерала, заинтересованного в гибели подсудимого; другие, с пеной у рта, объявили даму хитрой выдумкой консерваторов, подкупленных министерской полицией, старавшейся прекратить скандал. Третьи, измышляя интригу государств иностранных, обвиняли в измене правительство и утверждали, что дама под вуалью — морганатическая супруга принца В., красавица, опасная для мужчин, какое бы высокое положение они ни занимали. Салонный шепот распространил клевету на женщин света и полусвета; в таинственной даме олицетворяли подкуп, разврат, интригу, происки партий, трусость и предательство. Наконец, общим голосом объявлена она была Марианной Чен, полубольной сестрой капитана Чена, женщиной, которой чудилось, что она знает всегда и везде правду.

Три года в четырех городах появлялась она, скрываясь от назначенных ею самой свиданий по разным, но всегда крупным делам, имеющим мировое значение. Никто не видел ее лица иначе, как на портрете, помещенном ею вместе с собственноручным письмом в «Парижском Глашатае». Вот этот портрет.

Рассказ Гаккера взволновал меня, я начал верить ему; было здесь нечто, похожее на эхо в овраге, когда повторенный звук указывает глубину обрыва; эхом человеческого могущества звучал рассказ Гаккера.

Он подал мне фотографию; удачнее выбрать лицо, выражающее тайну, было бы трудно: с полузакрытыми, прямо смотрящими глазами под высоким и гордым лбом белело оно твердым овалом, и сжатые губы, казалось, только что покинул отнятый от них палец.

— Марианна Чен — символ всего темного, что есть в каждом запутанном и грозном для множества людей деле.

— Сотворение поэта Теклина, переводчиком которого я состоял до его смерти, — более трудное дело. Как вы знаете, это писатель из народа, а художественные тре-

бования, предъявляемые самородкам, не превышают обычного, терпимого уровня; продуктивность их и демократические симпатии обеспечивают им весьма часто жирную популярность.

В редакциях стал появляться застенчивый деревенский гигант, предлагая приличные для необразованного человека стихи; на него обратили внимание, а через год он писал уже значительно лучше. Затем, после нескольких внушительных фельетонов и критических статей о себе Теклин исчез, изредка сообщая, что он в Индии, или Бухаре, или Австралии, с быстротой молнии перекатываясь из одного конца света в другой. Теклин продолжал писать строго-идейные в социальном смысле стихи; здоровая поэзия его удовлетворяла широкие слои общества, а слава росла. Я стал переводить его на всевозможные языки и, могу вас уверить, достиг тоже известности, как недурной переводчик.

Теклин умер недавно от желтой лихорадки в Палестро. Даже разбогатеv, поэт обходился без прислуги, был вегетарианцем и любил физический труд.

— Вы шутите! — вскричал я. — Но ведь это невозможно!

— Почему же? — Гаккер искренне удивился. — Разве я не могу сочинить плохие стихи?

Он замолчал.

II

— Это хорошее было произведение — Теклин, — сказал, выходя из задумчивости, Гаккер. — Я тщательно сработал его. Но перехожу к тому, кто мне интереснее всех, — к Асперу; не распространяясь о технике, я оставлял этот вопрос открытым. В настоящем примере вы увидите черновик, будни художника.

Аспер — тип идеализированного разбойника: романтик, гроза купцов, друг бедняков и платоническая любовь дам, ищущих героизм везде, где трещат выстрелы. Как это ни странно, но, ожесточенно борясь с преступностью, общество вознесло над жуликами своеобразный ореол, давая одной рукой то, что отнимало другой. Потребность необычайного, — может быть, самая сильная после сна, голода и любви; писатели всех стран и народов увековечили в произведениях своих положительное отношение к знаменитым разбойникам. Картуш, Морган,

Рокамболь, Фра-Диаволо, волжский Разин,— все они как бы не пахнут кровью, и мысль человека толпы неудержимо тянется к ним, как тянется, визжа от страха, щенок к медленно раскачивающейся голове удава. Это освежает нервы, и я создал легендарного Аспера. Порывшись в трущобах, где лица заросли волосами и пропиты голоса, я остановился на беглом, весьма опасном каторжнике. Не стоило мне больших трудов выгнать его за океан с помощью денег; он был хорошо известен полиции, его арест был мне невыгоден. Я воспользовался его именем «Аспер» — взял чужую мышеловку, но посадил в нее свою мышь. В нашем округе вооруженные грабежи — обычное явление, и я умело распорядился ими, но не всеми, а лишь такими, где преступники обходились без насилия и убийства. Создав Аспера, я создал ему и шайку, после каждого ограбления пострадавший получал коротенькое письменное уведомление: «Аспер благодарит». В то же время наиболее бедные из крестьян получали от меня деньги и таинственные записки: «От Аспера щедрого» или «Свой своему. Аспер». Иногда послания эти становились длиннее; напуганные фермеры читали, например, следующее: «Я скоро приду. За Аспера — помощник его, скрывающий имя». Случалось, что на фермеров этих действительно нападали, но в случае поимки грабителей они, естественно, протестовали против принадлежности своей к шайке Аспера, и это еще больше удоставляло прекрасную дисциплину неуловимого и, что признавали уже все, отважного бандита.

Дерзость и наглость Аспера обратили на себя особо пристальное внимание. Сам он, как говорили, появлялся весьма редко, и мнения относительно его наружности расходились. Воображение пострадавших помогало мне сильно. Изредка я оживлял впечатления; например, завидя одиноко едущего по дороге крестьянина, — надевал маску и молча проходил мимо него; известная рисовка положением заставляла беднягу рассказывать всем о встрече не с кем иным, как с Аспером. Устроив близ железнодорожной станции потухший костер, я бросил около него на траву две полумаски, несколько пустых патронов и нож; это обсуждалось серьезно, как спугнутый ночлег бандита.

Благодетения его становились все чаще и разнообразнее. Я посылал деньги бедным невестам, вдовам, умирающим

с голоду рабочим, игрушки больным детям и т. п. Популярность Аспера укреплялась с каждым месяцем, полиция же выбивалась из сил, отыскивая злодея. Целые деревни подозревали друг друга в укрывательстве Аспера, но невозможно было уследить ходы и выходы этого замечательного человека. Однажды, зная, что поселку Гаррах по доносу фантазера угрожают надзор и обыск, я послал от имени Аспера письмо в газету «Заря»; Аспер удостоверял клятвенно, что Гаррах враждебен ему.

Около этого времени Аспер влюбился.

Молодая дама Р. поселилась недалеко от Зурбагана в вилле своей сестры. Во время лесной прогулки к ногам ее упал камень, завернутый в лист бумаги. Подняв упавшее, Р. с испугом и удивлением прочла следующие строки: «Власть моя велика, но ваша власть больше. Я тайно и давно люблю вас. Не беспокойтесь; отверженный и преследуемый — я, произнося ваше имя, становлюсь иным. Аспер». Дама поспешила домой. Семейный совет решил, что это глупая шутка кого-либо из соседей, и успокоил взволнованную красавицу. На утро под окном ее нашли целый сад роз; весь цветник, от клумб до подоконников был завален гигантскими букетами, а в дереве стены торчал, удерживая записку, кинжал синей стали с рукояткой из перламутра. На записке стояло «От Аспера».

Р. немедленно уехала в другую провинцию, унося на спине взгляды знакомых дам, не лишенные зависти.

Неуловимость волнует больше, чем преступление. Несколько раз полиция устраивала засады в горных проходах, на берегах рек, в бродах, пещерах и везде, где только можно было предположить тайные лазейки Аспера. Но сверхъестественная неуловимость бандита, лишая полицию даже жалкого утешения в виде стычки или погони, понемногу охладила рвение администрации; вяло, без воодушевления, как хронически-больной, потерявший надежду на излечение, принимала она меры канцелярского свойства — отписку и переписку. Тогда, болея за Аспера, я послал донос с указанием места его постоянного пребывания, выстроив заранее в глухом лесу небольшой дом. По следу этому отправились конница и пехота.

Ранним утром, в то время как преследователи приближались к хижине Аспера, в зеленой чаще раздалась выстрелы. Разбойники стреляли из-за кустов. То были патроны без пуль, укрепленные мною в различных местах леса и

снабженные великолепно скрытыми электрическими проводами; конные полицейские, проехав по единственной в этом месте тропе, не подозревали, что копыта их лошадей давили зарытую доску, нажимавшую, в свою очередь, кнопку. Все это стоило мне больших трудов. Полицейские, бросившись на выстрелы, никого не нашли; разбойники скрылись. В очаге хижинки тлели угли, остатки пищи лежали на оловянных тарелках, ножи и вилки, кувшины с вином — все говорило о спешном бегстве. В ящиках под кроватью, на стенах и в небольшом тайнике было обнаружено несколько париков, фальшивых бород, пистолетов и огнестрельных припасов; на полу валялись черепаховый веер, пояс и шелковый женский платок; это сочли вещами любовницы Аспера.

Игра тянулась шесть лет. В окрестностях поют много песен, сложенных молодежью в честь Аспера. Но Аспер, как я убедился, должен быть пойман. В последнее время полиция наводнила округ до такой степени, что разбои прекратились совсем. Уже год, как об Аспере ничего не слышно, и существование его многими оспаривается.

Я должен спасти его, т. е. убить. Завтра я это сделаю...

Гаккер расстегнул рукав сорочки и показал мне татуировку. Рисунок изображал букву «А», череп и летучую мышь.

— Я копировал с руки настоящего Аспера,— сказал Гаккер,— полиция примет рисунок к сведению.

— Я понял. Вы умрете?

— Да.

— Но ведь жизнь стоит больше, чем Аспер; подумайте об этом, друг мой.

— У меня особое отношение к жизни; я считаю ее искусством: искусство требует жертв; к тому же смерть подобного рода привлекает меня. Умерев, я сольюсь с Аспером, зная, не в пример прочим неуверенным в значительности своих произведений авторам, что Аспер будет жить долго и послужит материалом другим творцам, создателям легенд о великодушных разбойниках. Теперь прощайте. И помолитесь за меня тому, кто может простить.

Он встал, мы пожали друг другу руки. Я знал, что эту ночь не усну, и шел медленно. Аспер, как разбойник, продолжал существовать для меня, несмотря на рассказ Гаккера. Я посмотрел в сторону гор и ясно почувствовал, что

бандит там; прячась, караулит он большую дорогу, взводя курки, и неодолимая уверенность в этом была сильнее рассудка.

«Около одиннадцати часов вечера у скалы Вула, где пропасть, убит легендарный Аспер. Остановив почтовую карету, разбойник, взводя курок штуцера, поскользнулся, упал; этим воспользовался почтальон и прострелил ему голову. Раненый Аспер бросился в кусты, к обрыву, но не удержался и полетел вниз, на острые камни, усеявшие дно четырехсотфутовой пропасти. Обезображенный труп был опознан по татуировке на левой руке и стилету, на лезвии которого стояло имя разбойника. Подробности в специальном выпуске».

Так прочел я в вечерней газете, кипы которой разносились охрипшими газетчиками. «Смерть Аспера!» — кричали они. Я положил эту газету в особый ящик редкостей и печальных воспоминаний. Каждый может видеть ее, если угодно.

БОРЬБА СО СМЕРТЬЮ

I

— Меня мучает недоделанное дело,— сказал Лорх доктору.— Да: почему вы не уезжаете?

— Любезный вопрос,— медленно ответил Димен, сосредоточенно оглядываясь.— Кровать надо поставить к окну. Отсюда, через пропасть, виден весь розовый снеговой ландшафт. Смотрите на горы, Лорх; нет ничего чище для размышления.

— Почему вы не уезжаете?— твердо повторил больной, взглядом заставив доктора обернуться.— Димен, будьте откровенны.

Лорх лежал на спине, повернув голову к собеседнику. Заостренные черты его бескровного лица, обросшего лесом волос, выглядели бы чертами трупа, не будь на этом лице огромных, как бы вывалившихся от худобы глаз, сверкающих морем жизни. Но Димен хорошо знал, что не пройдет двух дней,— и болезнь круто покончит с Лорхом.

— Мне здесь нравится,— сказал Димен.— Меня хорошо кормят, я две недели дышу горным воздухом и быстро толстею.

Лорх с трудом поднес к губам папиросу, закурил и тотчас же бросил: табак был противен.

— Меня мучает недоделанное дело,— повторил Лорх.— Я расскажу вам его. Может быть, вы тогда поймете, что мне надо знать правду.

— Говорите,— сердито отозвался Димен.

— На днях придет Вильтон. В его руках все нити новой концессии, я лично должен говорить с ним. Если я не смогу говорить лично, важно, не откладывая, подыскать надежное лицо. Меня не испугаете. Да или нет?

— Третий день вы допрашиваете меня,— сказал доктор.— Ну, я скажу. Вы, Лорх, умрете, не позже как через два дня.

Лорх вздрогнул так, что зазвенели пружины матраца. Он взволновался и сразу еще более ослабел от волнения. Стало тихо. Доктор с лицом потрясенного судьи, объявившего смертный приговор,— встал, хрустнул пальцами и подошел к окну.

Больной едва слышно рассмеялся.

— Вильтон, положим, не придет,— насмешливо сказал он,— и нет у него никакой концессии. Но я узнал, что нужно. Кровать действительно можно переставить к окну.

— Вы сами...— начал Димен.

— Сам, да. Благодарю вас.

— Наука бессильна.

— Знаю. Я хочу спать.

Лорх закрыл глаза. Доктор вышел, распорядился оседлать лошадь и уехал на охоту. Лорх долго лежал без движения. Наконец, вздохнув всей грудью, сказал:

— Какая гадость! Просто противно. Какая гадость! — повторил он.

II

Лорх заснул и проснулся вечером, когда стемнело. Он не чувствовал себя ни хуже, ни лучше, но, вспомнив слова доктора, внутренне ошетинился.

— Еще будет время размыслить обо всем этом,— сказал он, придавливая кнопку звонка. Вошла сиделка.

Лорх сказал, чтобы позвали племянника.

Его племянник, широкий в плечах, немного сутулый молодой человек двадцати четырех лет, в очках на старообразном, белобрисом лице, услышав приказание дяди, сказал недавно приехавшей сестре:

— По-видимому, Бетси, мы выиграли. Ты уже плакала у него?

— Нет.— Бетси, дама зрелого возраста, торговка опиумом, находила, что слезы — большая роскошь, если можно обойтись и без них.

— Нет, я не плакала и плакать буду только пост-фак-тум. Завещание в твою пользу.

— Как знаешь. Я иду.

— Ступай. Намекни, что я хотела бы тоже увидеть его сегодня.

Вениамин сильно потер кулаком глаза и ласково постучал в дверь.

— Войди,— сурово разрешил Лорх.

Вениамин, страдальчески играя глазами, подошел к постели, вздохнул и сел в прямолинейной позе египетских сидящих статуй.

— Дядя! Дядя! — усиленно горько сказал он.— Когда же, наконец, вы встанете? Ужас повис над домом.

— Слушай, Вениамин,— заговорил Лорх,— сегодня я говорил с доктором.

Он приостановился. Вениамин заблаговременно поднес руку к очкам, чтобы, сняв их в патетический момент — ни раньше, ни позже,— оросить слезами платок.

Лорх смотрел на него и думал:

«У малого три любовницы,— две — наглые, красивые твари, а третья — дура. Сам он — прохвост. Он подделал три моих векселя. Меня он ненавидит, согласно его речи в Спартанском клубе. Сколько получил он за это выступление — неизвестно, но сплетен развел порядочно и провалил меня в окружном списке. Для такой компании мой миллион — короткая жвачка».

— О! Надеюсь, доктор... Дядя! Вы спасены?! — с натугой вскричал племянник.

— Подожди. Мне жалко вас,— тебя, милый, и Бетси, очень жалко...

— Дядя! — разученно зарыдал Вениамин,— скажите, что этого не будет... что вы пошутили!

— Нисколько. Вы должны примириться с судьбой.

— Боже мой?! —

— Да.

— Итак — примириться?! Родной и дорогой дядя...

— Хорошо, спасибо. Я хочу сказать, что моя болезнь прошла спасительный кризис, и я, через сутки, самое большое,— снова буду петь басом «Ловцы жемчуга».

Вениамин оторопел. Прилив грубой злобы заставил его вскочить, но он вовремя перевел порыв этого чувства в нескладное ликование:

— Вот свинья Димен!.. Он мог бы сказать нам... Не мучить нас! Поздравляю, милый дядя! Живи и работай! Я ожидал этого!

Лорх посмотрел на темную замочную скважину, достал через силу из-под подушки револьвер и выпалил в потолок.

Племянник отпрыгнул. За дверью раздался визг: там кто-то упал. Вениамин, открыв дверь, показал себе и Лорху растянувшуюся Бетси.

— Как вы любите это дело, Бетси!— кротко сказал Лорх.

— Дура! — зашипел брат сестре, подымая ее.— Спокойной ночи, дядя! Вам теперь нужен покой!

— Как и вам,— холодно сказал Лорх.

Родственники ушли. В гостиной Бетси заплакала тяжелыми ненавидящими слезами. Вениамин вынул из букета розу, понюхал и свернул цветку венчик.

— Он врет. Он злобно мучает нас,—сказал племянник. Бетси высморкалась. Они сели рядом и стали шептаться.

III

По приказанию Лорха, кровать была передвинута к окну. Стояли жаркие ночи.

Дом был построен на самом краю пропасти — меж стеной и отвесом бездны оставалась тропинка фута два шириной. Лорх видел в россыпи белых звезд полную, над горным хребтом, луну; ее свет падал в пропасть над непролизаемым углом тени. Смотря за окно в направлении ног, Лорх видел на обрыве среди камней куст белых цветов. Он думал, что цветы эти останутся, а его, Лорха, не будет.

Тогда, решив продолжать жить, он тщательно привел мысли в порядок и понял, что самое главное,— побороть слабость. Лорх резко поднялся. Голова закружилась. Он стал, сидя, раскачиваться; затем, взяв с ночного столика нож, ударил себя им в бедро. Резкая боль вызвала тревогу сердцесбияния; кровь бросилась в голову. Лорх вспотел; пот и ярость сопротивления дали его душе порывистую энергию, сопровождающуюся жаром и дрожью.

Не говоря уже о том, что каждое движение было ему невыразимо противно (Лорх хотел бы отдаться болезненному покою), всякое представление о движении казалось совершенно ненормальным явлением. Несмотря на это, Лорх, как

загипнотизированный, встал и упал на пол. Сапоги лежали возле него; он, лежа, натянул их, затем, поймав ножку кровати,— встал, уселся и принялся одеваться. Когда он закончил это дело, его бросало из стороны в сторону. Новый припадок головокружения заставил его несколько минут лежать, уткнувшись лицом в подушку. После этого его стошнило; жадно возжелав пить, он весь облился водой, он осушил графин и выбросил его в пропасть. Затем он направился расползающимися ногами к двери, но попал к печке. От печки Лорх направился снова к двери, но печка вновь приветствовала его и он держал ее в объятиях пять минут. Когда он попал, наконец, к двери, в комнате было все опрокинуто. Лорх опустился на четвереньки, чтобы не производить шума, полчаса потратил на то, чтобы нащупать головой, в темноте, дверцу буфета, отыскал и стал пить коньяк.

Несмотря на строжайшее запрещение доктора употреблять даже крепкий чай, не говоря уже о вине,— Лорх, без передышки, вытянул бутылку крепкого коньяку и впал в того рода иступление, когда, независимо от обстоятельств, человек с пожаром в голове и бурей в сердце, занятый одной мыслью, падает жертвой замысла или одолевает его. Таким замыслом, такой мыслью Лорха явился бассейн. Это был четырехугольный цементный водоем, куда лился горный, ледяной ключ. Удар вина временно воскресил Лорха; шатаясь, но лишь в меру опьянения, мокрый от пота, с обсюенной папиросой в зубах, прошел он боковым коридором во двор, сполз в бассейн,— как был,— в сапогах и костюме, окунулся, мучительно задрожал от холода, вылез и направился обратно в спальню.

Сырой мороз родника согнал все возбуждение организма к неимоверно обремененной мыслями голове. Сердце стучало как пулемет. Лорх думал обо всем сразу,— от величайших мировых проблем до кирпичей дома, и мысль его молниеносно разоряющим светом проникала во все тьмы тем всяческого познания. У буфета он принял вторую порцию огненного лекарства, но этот прием сильно бросился в ноги, и Лорх вынужден был восстановить равновесие с помощью дуплета. У кровати он задумчиво осмотрел различные, на полу, склянки с лекарством и лужу, образовавшуюся на месте его стояния. Затем он перелез подоконник, прошел, несколько трезвея, вдоль стены, к кусту белых цветов, оборвал их, вернулся и лег, раздев-

шись, под одеяло, бросив предварительно на него все брюки и пиджаки, какие нашел в шкафу. Сделав это, он вытянулся, приятно вздрогнул и,— вдруг — потерял сознание.

IV

— Он не просыпался за это время? — спросил Димен сиделку.

— Нет. Даже не повернулся.

— Где же вы были? Во время припадка прошлой ночи больной мог выброститься из окна в пропасть. Все было перебито и опрокинуто. Он пил вино, купался. Это агония!

— Вы знаете, доктор, больной всегда гнал меня вон из спальни. Каюсь — я вздремнула... но...

— Идите; дело все равно кончено. Позовите Вениамина и Бетси.

Вошли родственники: два вопросительных знака, пытающихся стать восклицательными.

— Ну — вот что, — сказал Димен, — дело кончится не позже, как к вечеру. Выхodka (вероятно — горячечный приступ) — имела следствием, как видите, — полное беспамятство. Пульс резок и неровен. Дыхание порывистое. Температура резко упала, — зловещее предвестие. Надо... нам... приготовиться... сделать распоряжения.

Бетси, сверкнув бриллиантами красных рук, закрыла лицо и искренне зарыдала от радости. Вениамин молитвенно заломил руки. Доктор расстроился.

— Общая участь всех нас... — жалобно начал он.

Лорх проснулся. Взгляд его был стремителен и здоров.

— Принесите поесть! — крикнул он. — Я во сне видел жаркое. Принесите много еды — всякой. Хорошо бы пирог с свиной, коньяку, виски, — всего дайте мне — и много!

КЛУБНЫЙ АРАП

I

Некто Юнг, продав дом в Казани, переселился в Петроград. Он был холост. Скучая без знакомых в большом городе, Юнг первое время усиленно посещал театры, а потом, записавшись членом в игорный клуб «Общество престарелых мучеников», пристрастился к карточной игре и каждый день являлся в свой номер гостиницы лишь утром, не раньше семи.

Никогда еще азарт не развивался так сильно в Петрограде. К осени 1917 года в Петрограде образовалось свыше пятидесяти игорных притонов, носивших благозвучные, корректные наименования, как-то: «Собрание вдумчивых музыкантов», «Общество интеллигентных тружеников», «Отдых пропойского района» и т. п. Кроме карточной игры, ничем не занимались в этих притонах. Каждый, кто хотел, мог прийти с улицы и за 10—15 рублей получить членский билет. Публика была самая сборная: чиновники, студенты, мародеры, мастеровые, торговцы, шулера, профессиональные игроки и невероятное количество солдат, располагавших подчас, неведомо откуда, довольно большими деньгами.

Когда Юнг начал играть, у него было около сорока тысяч, вырученных сверх закладной. Крайне нервный и жадный к впечатлениям, он отдавался игре всем существом, входя не только в волнующую остроту данных или же битых карт, но в весь строй игорной ночной жизни. Он

настолько познал ее, что не отделял ее от игры; ее наглядность и размышления о ней как бы сдабривали сухое волнение азарта и часто сглаживали мучительность проигрыша, развлекая своей мошеннической, живой сущностью. Не будь этой игорной кулисы, играй Юнг в клубе старинном, чопорном, где «шокинг» не идет дальше пропавшего карточного долга, пули в лоб или же — верх несчастья — уличения опростоволосившегося элегантного шулера, Юнг, может быть, бросил бы скоро игру. Будучи чужим клубной публике, входя только в игру, с ее лицемерной церемонностью сдерживаемых хорошего тона ради страстей, он, быстро утомленный, пресытился бы однообразным прыганием очков в раскрываемых картах. А в «Обществе престарелых мучеников» его заражал азартом и удерживал именно этот густой, крепкий запах жадной безразличности, нечто животное к деньгам, в силу чего они приобретали веский, жизненный вкус, разжигая аппетиты и делаясь оттого желанными, как голодному кушанье.

Во всех петроградских клубах игра шла главным образом в «макао» — старинная португальская игра, несколько видоизмененная временем.

В неделю Юнг изучил быт «Престарелых мучеников». Шулеров, в прямом артистическом значении этого слова, здесь не было, отчасти потому, что карты при сдаче вкладывались в особую машинку, мешающую передернуть или сделать накладку (лишняя, затаенная в рукаве, подобранная сдача на одну или несколько игр), а более всего по причине множества клубов и большого выбора поэтому арен для шулерских доблестей. Кроме того, богатые притоны, с целью развить игру, перебивали друг у друга известных шулеров на гастроли, дабы те заставили говорить о случившемся в таком-то месте крупном выигрыше и проигрыше. Ради рекламы не останавливались даже перед тем, чтобы дать Х-су крупный куш специально для «раздачи», как называется упорное «невезение» банкомета.

«Престарелые мученики» наполнялись самой отборной публикой. Тут можно было встретить сюртук литератора, пошлую толщиной часовую цепочку мясника или краснотоварца, галуны моряка, кожан, а то и косоворотку рабочего, офицерские погоны и солдатские мундиры, — без погон, по последней моде. Поражало количество денег у сол-

дат и рабочих. Это были едва ли не самые крупные, по азарту и деньгам, игроки почтенного учреждения.

Как сказано, прямого шулерства не было, но существовало «арапничество», среднее в сути своей между попрошайничеством и мошенничеством. Об этом, однако, после.

II

Юнг на первых порах выигрывал. Пословица — «новичкам везет» — права, может быть, потому что новичок инстинктивно принаравливается к единственному закону игры — случайности, он ставит где попало и как попало; прибавьте к этому, что новичок большею частью затесывается в клуб случайно; таким образом, соединение трех случайностей увеличивает шансы на выигрыш, совершенно так же, как выполнение сразу трех намерений редко увенчивается успехом. Позже, присмотревшись, как играют другие, и возмнив, что научился расчету в том, как и где ставить (вещь нелепая), игрок закрывает глаза на то, что он уже борется с законом случайности и борется во вред себе, так как естественно в этом случае изнурение нервов, ведущее к растерянности и безволию. Неизвестно, как лежат карты в колоде. Думаешь, что ты угадал, на какие табло вот теперь следует ставить и в какую очередь, — значит думаешь, что знаешь. Но карты издеваются над такой притязательностью. Есть, правда, небольшое число людей с особо-тонко развитой интуицией в смысле угадывания, но выигрывать всегда людям этим мешает их же недоверие к интуиции; зачастую усумнившись в внутреннем голосе, ставят они на другое, чем показалось, табло и, думая, что обманули судьбу, дуют потом на пальцы.

Пока Юнг отделялся только замиранием сердца, ставя куда попало и мечта ответы без учитывания жира и девяти, ему везло. Каждый вечер уходил он с сотнями и тысячами рублей выигрыша. Нужно отметить, что уйти с выигрышем — вещь несколько трудная. Выигрывающий обыкновенно назначает себе предельную сумму, с которой, доиграв ее, и решает уйти. Если ему везет дальше, — из жадности мечтает он уже о высшей предельной сумме и, не добившись, естественно, предела в беспредельности, начинает в некий момент спускать деньги обратно. Желания теперь суживаются, становятся все кургузее и молитвеннее.

Вот игрок мечтает уже о том, чтобы достичь снова бывшей кульминационной точки уплывающей суммы. Вот он говорит: «Проиграю еще не более, как столько-то, и уйду». Вот он проиграл весь выигрыш, и бледный, с потухшим взором, ставит опять свои деньги. Не везет! Он, торопясь в рай, ставит большие куши, удваивает их и остается, наконец, с мелочью на трамвай или извозчика, но часто лишенный и этого, занимает у швейцара целковый.

Юнгу везло, и около месяца, счастливо закладывая банки, мечая удачные ответы или понтируя, купался он в десятках тысяч рублей, привыкнув даже, когда играл, смотреть на них не как на деньги, а как на подобие игорных марок,— некое техническое приспособление для расчета. Но счастье, наконец, повернулось к нему спиной. Проиграв однажды пять тысяч, он приехал на другой день с пятнадцатью и к закрытию клуба совершенно рассорил их. Удар был ошутителен; желание возвратить проигранное выразилось в силу возникшего недоверия к своей «метке» тем, что Юнг начал давать деньги в банк и на ответ другим игрокам, бойкость и опытность которых казалась ему достаточной гарантией успеха. Лица эти, играя для него, но более (если им решительно не везло) для многочисленных своих приятелей, ставивших в таких случаях весьма усердно и крупно, не далее как в неделю лишили его трех четвертей собственных денег. Иногда незаметно платили они за ставки больше, чем следует, а затем делились с получающим разницей. Иногда, после того как карты были уже открыты на то табло, где сияли выигравшие очки, ловко подсовывалась крупная бумажка и за нее получалось. Иногда банкомет, смешав, как бы ненарочно, юнговы деньги со своими, разделял их затем не без выгоды для себя и клялся, что поступил правильно. С помощью таких нехитрых приемов, бывших обычными среди посетителей «Общества престарелых мучеников», карточные пройдохи привели Юнга в состояние полной растерянности и нерешительности. Оставшись с небольшой суммой, он то ставил мало, когда счастье, казалось, подмигивало ему, то много, когда определенно билась карта за картой, и вскоре, дойдя до придумывания беспроигрышных «систем» — худшее, что может постигнуть игрока,— кончил он тем, что остался с двадцатью—тридцатью рублями, напился и в клубе появился снова через дней пять, подавленный, измученный, без

всяких определенных планов, с одной лишь жадной — играть, играть во что бы то ни стало, быть в аду вечной жадности, — ожидая случая, толпиться и вздрагивать, сосчитывая слепые очки.

Переход от воздержанности к запойной игре, а от последней к арапничеству, совершается незаметно, как все то, где главное действующее лицо — страсть. Окончательно проигравшись или же став в положение, при котором вообще неоткуда достать своих денег, игрок начинает обыкновенно собирать долги. Тот ему должен, тот и тот. Суммы эти служат некоторое время, игра для такого человека сделалась страстью, ее зуд прочно завяз в душе, подобно раздражению десен, когда ненасытно жуют вар или грызут семечки. Но вот истребованы, выклянчены и проиграны все долговые суммы. Возможно, что в этом периоде были моменты относительной удачи, — тем хуже. Игрок смотрит уже на них как на чужие, даром доставшиеся деньги. Истрепанные нервы требуют оглушения. Он пьет, развратничает, играет, не соображая ставок пропорционально наличности, и в скорости начинает занимать сам. Сначала ему дают, затем — морщатся, ссылаясь на собственный проигрыш, затем с ругательствами, издевкой над скулением отбивают охоту вообще просить денег взаймы. Все постоянные посетители знают и его и его привычки, даже тот соединенный неписанным уставом кружок «арапов», к которому он уже принадлежит, но, большей частью, не знают ни его жизни, ни имени, ни фамилии. Такова странность всепоглощающих интересы занятий! Налицо здесь лишь зрительная фигура; фигура менее значит для этого общества, чем «жир» в картах.

Когда так называемая нравственная стойкость достаточно потускнела; когда всю жизнь заполнила и высосала игра, а задерживающие центры перестают обращать внимание на такие пустяки, как унижение и обида, — арап готов. Он сделан из попрошайничества, уменья словить момент, шутовства, настойчивости и мелкого мошенничества. Научившись быстро вести расчет по всей сложности и учету ставок, он, как настоящий крупье, за 10 процентов помогает любому желающему метать ответ, но медлительному в цифровых соображениях. Геройски распоряжается он чужими деньгами; выхватывает их из рук банкомета или из-под его носа; кричит: «Сойдите!» — «Шваши ушли!» — «Крылья полностью», — «Какие слова?»

(Загнутый угол бумажки, обозначающий меньшую, чем ас-сигнация, ставку) — «Комплект!» — «Куш платит!» — «Делайте вашу игру!» — и все другое, подобное, штампованные выражения выигрыша, проигрыша и ожидания. Он способствует закладу часов и колец карточнику или швейцару. Он достает водку. Он дает «на счастье» рубль в банк и бывает в случае выигрыша необыкновенно привязчив. Он подбрасывает на выигравшее табло лишние деньги. Он привозит богатых и пьяных игроков. Он пытается из-под локтя собственника стянуть деньги и, если это замечается, говорит, что хотел поправить их, они, мол, намеревались упасть на пол. В таких клубах легко смотрят на обнаруженное покушение смошенничать или украсть. Никогда дело не вызывает скандала. В худшем случае — короткий гвалт, в лучшем — гневный взор и угроза трясением пальца.

Постоянно играющие должны быть всегда в проигрыше. Расчет их таков: клуб в виде платы за места, за закладывание банков и штрафов (за игру позже известного часа) собирает в день, в среднем, — две тысячи. Общая сумма денег, пускаемых в игру (сообразно процентным отношениям с «ответом» и банком) — сто тысяч. Через месяц и двадцать дней эти сто тысяч целиком переходят в клубную кассу.

Юнг стал а ра по м.

III

Ему не повезло. Когда он отошел от стола, — денег совсем не было.

Трясаясь, шаря по карманам и часто мигая, как ослепленный облаком пыли, Юнг старался припомнить порядок, в каком произошло несчастье, но ощущал лишь бессилие и тоску. Глубокое отвращение к себе, к игре, к жизни овладело им. Не зная, что делать, он крикнул, как сумасшедший, в отчаянии: «Покрыт банк!». У стола, где давалось сорок рублей, банк выиграл.

— Будет за мной! — глухо сказал Юнг.

Поднялся отвратительный шум. Кто-то из выигравших, внимательно посмотрев на Юнга, внес сорок рублей.

— В банке восемьдесят! — сказал утихомиранный банкомет. — Прием на первое!

Юнг прошел в читальню, взял номер статистического журнала, повертел его, бросил и сел в кресло. Глухая подавленность отчаяния держала его вне места и времени.

— Что же делать? — сказал он себе. — Теперь — крышка. Одно остается: броситься с моста в воду. — Он построил это как фразу, но, повторив еще раз, проник наконец в смысл сказанного и понял, что броситься с моста в воду — значит умереть. Решимость покончить самоубийством приходит даже у самых меланхолических натур внезапно. Можно подготовиться к этому в двадцать лет и все же дожидаться внуков; можно, наоборот, никогда не думать серьезно о самоубийстве и, вдруг почувствовав жизнь нестерпимо омерзительной, кинуться, как к отдыху, к смерти. Такое непродуманное, но уже тоскливо влекущее решение вдруг оживило Юнга. В новом, непривычном состоянии безымянного трепета поднялся он с кресла, но в это мгновение случайно взгляд его упал на одну из картинок стереоскопа, рассыпанных на столе. Картинка изображала женщину, сидящую верхом на конце бревна, выдающемся с озерного берега над водой.

Юнг взял картинку. Болезненное желание увидеть перед концом воду, такую же воду, какая должна была в скорости сомкнуться над ним, заставило его установить изображение в стереоскопе и поднести аппарат к глазам. Сначала освещенное электричеством изображение оставалось плоским, но скоро, уступая напряжению взгляда, выявило по-немногу перспективу и жизненность трех измерений. Юнг увидел большое лесное озеро, тень в нем от бревна и босые, обнаженные до колен, напрягающиеся неудобством положения, крепкие ноги женщины. Ее лицо удивило его. Вне аппарата — оно было застывшим, с тем самым неестественным выражением, какое свойственно человеку, снимаемому фотографом, а теперь улыбалось. Тяжелое чувство, предвидение необычайного, родственного тягости перед припадком или в ожидании мрачного известия, овладело им. Он быстро опустил аппарат и вздрогнул, как от внезапной струи холода, заметив, что, когда глаза уже расставались с изображением, — женщина качнула ногой, словно собираясь покинуть бревно и сойти на землю.

— Дико, — сказал он, морщась и прикладывая руку к томительно бьющемуся сердцу. «Неужели сумасшеств-

вие — начало его?» — подумал Юнг. Тревога его не проходила, а нарастала, подобно приближающемуся барабанному бою. Он оглянулся, переживая странное электризующее ощущение, подобно воображенному, конечно,—тому, как если бы все предметы ожили, сошли с мест, а затем мгновенно разместились в прежнем порядке, с быстротою частиц ртути, всплескивающихся взаимно.

Против него в пустом ранее того кресле сидела смуглая молодая женщина,— та самая, на которую в стереоскоп смотрел Юнг. Ее черные, ровные как шнурки, брови были высоко поставлены над смелыми, большими глазами, блистающими того рода жуткой одухотворенностью, какая свойственна старинным портретам, в колеблющемся и неверном свете. От платья и фигуры ее веяло разрушением действительности. То, что испытал Юнг в течение этого замечательного свидания, никак не может быть названо страшным. Начало сверхъестественного лежит в нас и выявленное тайными силами, противу всяческих ожиданий потрясающего недоумения страха, вводит лишь, правда не без сильного возбуждения, в привычную область веры фактам. Чтобы понять это, достаточно представить ощущение человека, впервые попадающего под выстрелы или претерпевающего крушение поезда. Контраст факта разителен с обыденностью предстояния факту, и, однако, что бы ни толковали люди логической психологии,— не страх сопутствует указанным фактам. Оцепенение возбуждений — вот, пожалуй, приблизительно верная оценка переживаний. Что стреляют в тебя,— этому, пока оно не случилось, так же трудно поверить, как явлению демона.

— Это что? — спросил, тяжело дыша, Юнг.

В гостиной, кроме него и неизвестной дамы, никого не было.

— Слушайте внимательно,— сказала женщина, наклоняясь через стол к Юнгу.— Сегодня 23-е число, день, в который я выхожу из тумана. Больше вы меня не увидите. Я предлагаю вам новую, чудную по результатам игру, которая при удаче утысачерит всякое счастье, при неудаче магически усилит несчастье. Это — игра на время. Посмотрите колоду. Возьмите ее себе. У нас она называется Шеес-Магор, что значит — потерянная и возвращенная жизнь.

Юнг взял колоду. В ней, как и в обыкновенной игровой, было пятьдесят два четырехугольных, но квадратных,

лоскутка, сделанных из неизвестного материала, черного и твердого, как железо, тонкого, как батист, шелковистого на ощупь, слегка просвечивающего и легкого. До крайности странны были фигуры, разрисованные от руки, как и все остальные карты, красной и белой красками. Очки пик были изображены в виде коротких стрел; трефы — трилистников; бубны — красных четырехугольных цветов; черви — сердца, сжатых рукой. Тяжелая, гротескная узорность фигур таила в себе нечто идольское, древнее и потустороннее.

— Играйте с любим, с кем хотите, — продолжала дартельница, когда Юнг поднял глаза, весь во власти открывающейся пред ним бездны. — Вам предоставлено ставить в какую хотите азартную игру любое количество лет, месяцев, дней, часов и даже минут. Битая ставка переносит вас в будущее на ставленный интервал времени, ставка выигранная — отдалит в прошлое.

Последние слова женщины звучали глухо и отдаленно. Договорив, она исчезла — не расплылась, не растаяла, а именно исчезла, как в смене кинематографических сцен. Юнг вскочил, уронил газету и, весь трясясь еще от волнения, нагнулся, собирая карты. Не поднимая головы, он увидел, что возле его рук движутся, делая что и он, — еще две руки. Пальцы их были покрыты крупными золотыми кольцами.

Юнг посмотрел выше. Перед ним на корточках сидел, помогая собирать, крайне удивленный видом карт известный игрок Бронштейн, — сложная разновидность Джека Гэмлина в русских условиях. Круглый, с небольшим брюшком, если не всегда веселый, то неизменно оживленный, человек этот сказал:

— Турецкие?

— Нет, — машинально ответил Юнг.

— Греческие?

— Не...

— Первый раз вижу такие карты. Где вы их взяли?

К Юнгу вернулось самообладание. Он гладко солгал:

— Это карты неизвестно какого происхождения. Ко мне они перешли от отца, вывезшего их из Дагестана. Слушайте, Яков Адольфович. У меня есть примета (карты были собраны, и оба присели уже к столу), — если я впустую играю перед настоящей игрой один удар с

кем-нибудь этой колодой,— мне должно тогда повезти за любимым столом.

— Хорошо,— сказал Бронштейн.— Все мы игроки — чудаки. Делайте вашу игру. Закладываю в банк на первый случай, солнце и... хотя бы... луну...

Быстрыми, летающими движениями привычного игрока он сдал, как всегда в макао, на четыре табло и со скукающим видом приподнял свои три карты.

— Девять,— с неизменяющим игроку никогда, даже при игре в «пустую», удовольствием сказал он.

Юнг еле успел взглянуть на свои карты, т. е. на те, что покрывали предполагаемое первое табло. Он проиграл. У него было три.

V

Приглашая Бронштейна сыграть в «пустую», Юнг мысленно определил ставкой пять лет и два месяца с тем расчетом, что, выиграв, вернется он к особенно любимым в прошлом дням первых свиданий с Ольгой Невзоровой, девушкой, которая должна была стать его женой и которую взял от земли тиф. Проигрыш, наоборот, увлекал в неизвестное, может быть, к смерти. Последнее не беспокоило Юнга. Фантастическая жизнь клуба, где каждая битая ставка являлась, в виде малом и скудном, образом смерти, бесчисленным множеством этих отдельных потрясений, давно уже притупила инстинкт самосохранения; к тому же, как видели мы, Юнг сам желал самоубийственного конца.

У карт не было крапа. Когда они, в числе трех, веером легли перед ним,— в блестящей черноте их, отражавшей, словно водами глубокой пропасти, свет люстры, появились, двигаясь, несколько тихо мерцающих точек. Особым, глубинным и безотчетным знанием Юнг понимал, что точки эти — те годы, которые он поставил. Девятка Бронштейна бросила ему в горло первый комок спазмы. Странные подобию гримасы мысли сопровождали движение его руки, когда он открыл свои три карты.

Юнг повернулся на бок. Все тело нестерпимо ныло, как бы просило уничтожения раздражающих прико-

сновений одеяла и тюфяка. Прикрученная на круглом столе лампа горела больным светом. В кресле спала сестра милосердия, полнолицая, рябая женщина. Голова ее низко опустилась на грудь, производя такое впечатление, как будто сестрица всматривается в собственные очки.

Ворочаясь, Юнг задел локтем склянку с лекарством: звонко ударившись о стакан, она разбудила дремавшую женщину.

— Глупости... некуда-с... — забормотала она спросонок и очнулась. — Что вам? Пить? Беспокойно, может? — спросила она привычно заботливым голосом. — А вы хорошо спали нынче, поправиться, видно.

— Да. В середине ночи проснулся, — не замечая ее смущения, сердито сказал Юнг. — Смерть идет... Плохо мне.

— Больные все мнительны, — сказала сестрица. — Не такие на моих глазах выздоравливали.

— А, ну вас, — с отчаянием прошептал Юнг и закрыл глаза.

Вчера вечером с тонкостью интуиции, присущей тяжелобольным, он видел по напряженному лицу доктора, что дело плохо. Различные воспоминания с беспорядочной яркостью пробежали в его тоскующей голове. Между прочим, он вспомнил, как был пять лет тому назад клубным арапом, вспомнил подробности некоторых вечеров, но далее того сила воспоминаний гасла, оставляя значительный промежуток неопределенных туманностей, как это часто бывает у людей слабой или рассеянной памяти; так называемый «провал» лежал между текущим моментом и тем, когда он решил идти топить.

Вдруг Юнг вспомнил о картах. Они лежали под его подушкой. Сознание его не шло дальше возможности очутиться с помощью их в небытии или в новых (старых?) условиях. Оно и не могло идти дальше: магическая игра являла действительность столь опрокинутой, отраженной в себе и послушной необычайному, что Юнг бессильно поморщился. Он хотел быть с Ольгой Невзоровой или не быть совсем.

— Юлия Петровна, — слабым голосом сказал он, — подвиньте мне, пожалуйста, столик.

— Чего вы надумали еще? Лежите, лежите себе!

— Да ну, подвиньте.

Она поспорила еще, но исполнила наконец его желание. Юнг с трудом приподнялся на локте, положив перед собой колоду. По причине слабости, а также чтобы избежать вопросов и любопытных взглядов сестры милосердия, в случае если бы она принялась рассматривать карты, Юнг задумал упрощенную игру в «кучки». В игре этой — если играют двое — колода делится крапом вверх на две равных или неравных половины. Каждый выбирает, какую хочет, выигрывает тот, чья нижняя карта старше нижней карты противной «кучки».

Очки Юлии Петровны с беспокойством и удивлением следили за его действиями.

Юнг стал медленно приподнимать «кучку», лежавшую ближе к нему. «Десять лет... десять лет и четыре месяца», — мысленно твердил он.

— Ах, — дико закричал он, увидев в то же мгновение против короля второй «кучки» свою пиковую десятку.

Все кончилось.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТПАВШЕГО ЛИСТА

I

Ранум Нузаргет сосредоточенно чертил тростью на веселом песке летнего сквера таинственные фигуры. Со стороны можно было подумать, что этот грустный худой человек в кисейной чалме коротает бесполезный досуг. Однако дело обстояло серьезнее. Чертя арабески, изученные линии которых в процессе их возникновения, помогали его напряженной воле посылать строго оформленные волны беззвучного разговора — Ранум Нузаргет вел страстную речь своей сильной, жестоко наказанной душой с далеким углом земли — приютом Великого Посвящения.

Прошел час. Ранум высказал все. Раскаяние, скорбь, тоска — ужас отверженности, — все передал изгнанник в далекую, знойную страну, Великому Посвящению. Трепет незримых струн, соединявших его с вездесущей волей Высшего из Высших, того, чье лицо он, Ранум Нузаргет, не удостоился видеть, — трепет опал. Струны исчезли. Ранум поднял голову и стал ждать ответа.

Перед ним, взад-вперед, пестрой сменой одежд и лиц шло множество городского люда. В этом огромном городе, кипящем лавой страстей, — алчности, гнева, изворотливости, страха, тысячецветных вожделений, растерянности и наглости, — Ранум испытывал острые мучения духа, стремящегося к покою блаженного созерцания, но вынужденного пребывать в грязи, крови и тьме несовершенных существ, проходящих низшие воплощения.

Военный ад и социальное землетрясение мешали ему совершать внутреннюю работу. Заразительность настроения миллионов, чувствительная любому горожанину, с неизмерно большою силой проникала в Ранума, так как малейшее внимание его изощренной силы позволяло ему читать мысли, более — знать всю сокровенную сущность человеческой личности.

Он пристально смотрел на прохожих, временами любопытно оглядывавших белый халат, чалму и тонкое, коричневое лицо индуса с неподвижными, черными глазами, остающимися в памяти как окрик или удар. Пока что Ранум не видел ничего особенного. Двигался прикрытый однообразной формой ряд обычных мерзостей, но среди них, на исходе срока ожидавшегося ответа, прошел некто, — ничем не замечательный нашему наблюдению и поразительный для Ранума. Ему было лет тридцать; одет он был скромно, здоров, с приятным, легким лицом и твердой походкой.

Ранум глубоко вздохнул. Душа прохожего, совершенно ясная ему, была мертва как часы. Ее механические функции действовали отлично, свидетельством чему служили живой, острый взгляд прохожего, его погруженность заботами о семье и пище, но магическое начало души, божественный свет Великой силы потух. Роза, потерявшая аромат, могла бы стать символом этого состояния. Душа прохожего была убита многолетними сотрясениями, ядом злых впечатлений. Эпоха изобиловала ими. Беспредельный их ряд в грубой схеме возможно выразить так: тоска, тягость, насилие, кровь, смерть, трупы, отчаяние. Дух, содрогаясь, пресытился ими, огрубел и умер — стал трупом всему волнению жизни. Так доска, брошенная в водоворот волн, среди многоформенной кипучести водных сил, неизменно сохраняет плоскость поверхности, мертво двигаясь туда и сюда.

Ранум встречал много таких людей. Их путь требовал воскрешения. Меж тем, уловив тон судьбы в отношении этого прохожего, он видел, что не далее как через два часа мертвый духом умрет и физически. Пока он еще не мог определить, какой род смерти прикончит с ним, но проникся к несчастному великим состраданием. Человек, оканчивающий свои дни с мертвой душой, выходил навсегда из круга совершенствования и конечного достижения блаженства Нирваны. Он переживал

свое последнее воплощение Он терял все, не подозревая об этом.

Прохожий, ужаснувшийся Ранума, скрылся в толпе, но индус мысленно видел его путь среди городских улиц. Пока он оставил его, прислушиваясь к ответу Великого Посвящения.

Ответ этот раздался подобно шуму крови или музыкальному восприятию. Он был мрачен и краток. Ранум услышал:

«Тому, чье имя ныне,— Отпавший Лист.

Еще не кончен срок очищения.

Ранум! Ты вернешься, когда не будешь страдать. Сильно земное в тебе; разрушь и проснись».

II

Ранум был жертвой силы воображения. Ему давалось очень легко то, над чем другие ученики игогов трудились годами. Начало воспитания — отправные точки концентрации внутренней силы заключаются в упражнениях, часть которых может быть здесь рассказана.

Сидя в строго условленной позе, в обстановке и времени, определенных вековым ритуалом, ученик представляет на своем темени точку. Представление должно иметь силу реальности. Следующим усилием является превращение — воображением — этой точки в пламенный уголь. Затем: уголь описывает сплошной огненный круг вокруг сидящего и плоскость круга вертикальна земле. Затем круг начинает вращаться справа налево с быстротой волчка, — так что сидящий видит себя заключенным в огненной сфере.

Средняя продолжительность — в отдельности — достижений этих такова: точка — от одного до семи дней; уголь — от трех месяцев до одного года; круг — от трех до пяти лет; сфера — от пяти до семи.

Исключительная сила воображения помогла Рануму овладеть всей этой серией упражнений менее чем в один год. Тридцати лет он готовился уже принять Великое Посвящение.

За три дня до совершения таинства он пал, — его смял бунт связанных молодых сил, взрыв желаний. Все

чистые цветы его духовного сада испепелились безудержным пожаром. Находясь в пустыне, в полном одиночестве, ради последнего сосредоточия высших размышлений, он дал себе — молниями воображения, материализующего представления — все земное: власть, роскошь, негу и наслаждение. Сияющий, разноцветный рай окружал его.

Когда он очнулся, неумолимое приказание изгнало его в мир. Здесь среди потоков темной, материальной жизни он должен был пробыть до того времени, когда в тяжчайших испытаниях и соблазнах станет бесстрастен и нем к земному. Кроме того, под страхом полного уничтожения ему было запрещено проявлять силу. Он должен был идти в жизни простым свидетелем временных ее теней, ее обманчивой и пестрой игры.

III

Скорбь, вызванная ответом, прошла. Поборов ее, Ранум услышал над головой яркий, густой звук воздушной машины. Он посмотрел вверх, куда направились уже тысячи тревожных взглядов толпы и, не вставая, приблизился к человеку, летевшему под голубым небом на высоте церкви.

Бандит двигался со скоростью штормового ветра. За его твердым, сытым лицом с напряженными, налитыми злой волей чертами и за всем его хорошо развитым, здоровым телом сверкала черная тень убийства. Он был пьян воздухом, быстротой и нервно возбужден сознанием опасного одиночества над чужим городом. Он готовился сбросить шесть снарядов с тем чувством ужасного и восхищением перед этим ужасным, какое испытывает человек, вынужденный броситься в пропасть силой ее гипноза.

Труба шестиэтажного дома скрыла на минуту белое видение, гулко сверлящее воздух, но Ранум тайным путем сознания, постичь которое мы бессильны, — установил уже связь меж бандитом и прохожим с мертвой душой. Человек с мертвой душой должен был погибнуть от снаряда, брошенного на углу Красной и Черной улиц. Ранум заставил себя увидеть его, медленно вышедшего из лавки по направлению к остановке трамвая. Он увидел также не заполненную еще падением

бомбы пустую кривую воздуха и понял, что нельзя терять времени.

«Да,— сказал Ранум,— он умрет, не узнав радости воскресения. Это — тягчайшее из злодейств, мыслимых на земле. Я не дам совершиться этому».

Он знал, что погибнет сам, вмешавшись нематериальным проявлением воли в материальную связь явлений, но даже тени колебания не было в его душе. Ему дано было понимать, чего лишается человек, лишаясь радости воскресения мертвой души. Ужас потряс его. Он сосредоточил волю в усилии длительного порыва и перешел,—внутренно,—с скамьи сквера на белое сверло воздуха, к пьяному иступлению человеку и там заградил его дух безмолвными приказаниями.

Летевший человек вздрогнул; им овладели смутение и тоска. Его члены как бы налились свинцом; в глазах потемнело. Его сознание стало безвольным сном. Не понимая, что и зачем делает, он произвел ряд движений, существенно противоположных назначенной себе цели. Аппарат круто повернул в сторону, вылетел над рекой, к огромной пустой площади и, мягко нырнув вниз, разбился с смертельной высоты о кучи булыжника.

Ранум услышал гул неразрушительных взрывов и понял, что совершил преступление. Выпрямившись, спокойно сложив руки, он ожидал казни. В это время от клена, распутившего над его головой широкие, тенистые ветви, на колени Ранума упал отклеванный птицей зеленый лист, и Ранум машинально поднял предсмертный подарок дерева.

Тогда из глубины дивных пространств Индии, из воздуха и из сердца Великого Посвящения услышал он весть, заставившую его улыбнуться:

«Брат наш, Отпавший Лист, ты совершил великое преступление!

Оно прощено,— ради жертвы, перед которою ты не остановился.

Отныне — оторванный навсегда от святого дерева,—ты, слишком непокорный, чтобы быть с нами, но и не заслуживший уничтожения,—ибо восстал против смерти духа,—будешь одинок и вечно зелен живой жизнью, подобной тому листу, какой держишь в руке».

Ранум поцеловал душистый кленовый листик и с легким сердцем удалился из сквера.

СИЛА НЕПОСТИЖИМОГО

В то время как одним в эту ночь снились сказочные богатства Востока, другим снилось, что черти увлекают их в неведомые дали океана, где должны они блуждать до окончания жизни.

Ф. Купер. «Мерседес-де-Кастилья».

I

Среди людей, обладающих острейшей духовной чувствительностью, Грациан Дюплэ занимал то беспокойное место, на котором сила жизненных возбуждений близка к прорыву в безумие. Весьма частым критическим его состоянием были моменты, когда, свободно отдаваясь наплывающим впечатлениям, внезапно вздрагивал он в привлекательно ужасном предчувствии мгновенного озарения, смысл которого был бы откровением смысла всего. Естественно, что человеческий разум инстинктивной конвульсией отталкивал подобный потоп, и взрыв нервности сменялся упадком сил; в противном случае — нечто, огромное сознания, основанное, быть может, на синтезе гомерического, неизбежно должно было сокрушить ум, подобно деревенской мельнице, обслуженной Ниагарой.

Основным тоном жизни Дюплэ было никогда не покидающее его чувство музыкального обаяния. Лучшим при-

мером этого, вполне объясняющим такую странность души, может служить кинематограф, картины которого, как известно, сопровождаются музыкой. Немое действие, окрашенное звуками соответствующих мелодий, приобретает поэтический колорит. Теряется моральная перспектива: подвиг и разгул, благословение и злодейство, производя различные зрительные впечатления, дают суммой своей лишь увлекательное зрелище — возбуждены чувства, но возбуждены эстетически. Меж действием и оркестром расстилается незримая тень элегии, и в тени этой тонут границы фактов, делая их — повторим это — увлекательным зрелищем. Причиной служит музыкальное обаяние; следствием является игра растроганных чувств, ведущих сквозь тень элегии к радости обостренного созерцания.

Такое же именно отношение к сущему — отношение музыкальной приподнятости — составляло неизменный тон жизни Дюплэ. Его как бы сопровождал незримый оркестр, развивая бесконечные вариации некой основной мелодии, звуки которой, недоступные слуху физическому, оставляли впечатление совершеннейшей музыкальной прелести. В силу такого осложнения восприятий личность Дюплэ со всем тем, что делал, думал и говорил, казалась самому ему видимой как бы со стороны — действующим лицом пьесы без названия и конца — предметом наблюдения. Даже страдания в самой их черной и мучительной степени переносились Дюплэ тою же дорогой стороннего впечатления; сам — публика и герой пьесы — был он погружен в яркое созерцание, окрашенное музыкальным волнением.

Вместе с тем во время тревожных и странных снов, переплетавших жизнь с почти осязаемым миром отчетливых сновидений, он несколько раз слышал музыку, от первых же тактов которой пробуждался в состоянии полубезумного трепета. Музыка эта была откровением гармонии, какой не возникало еще нигде. Ее красота ужасала сверхъестественной силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое сознанием совершенство этой божественно-ликующей музыки было — как чувствовал всем существом Грациан Дюплэ — полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил жизнь и которое являлось предположительно эхом сверкающего первоисточника.

Однако память Дюплэ по пробуждении отказывалась восстановить слышанное. Напрасно еще полный вихреных впечатлений схватывал он карандаш и бумагу в обманчивом восторге ложного захвата сокровища; звуки, удаляясь, бледнели, вспыхивая изредка мучительным звуковым счастьем, смолкали, и тишина ночи ревниво останавливала их эхо — музыкальное обаяние.

Грациан Дюплэ был скрипач.

II

Изыскания Румиера в области цветной фотографии и гипноза, в двух столь различных ведомствах ищущей деятельности, достигнув значительных успехов, создали тем самым настойчивому ученому многочисленный и непрерывно увеличивающийся круг почитателей. Поэтому дверной звонок был мучителем Румиера, и он, в тот день, о котором идет речь, с мукой выслушивал его двадцатый по числу треск, заметив слуге, что, если посетитель не выкажет особой настойчивости, — не лишним будет напомнить ему об окончании через пять минут приемного часа доктора.

Однако, возвращаясь, слуга доложил, что посетитель, очень болезненный человек с виду, проявил требовательность раздражительную и упорную. Румиер отложил в сторону бледный снимок цветущих утренних облаков и перешел к письменному столу, где встречал посетителей. Дав знак пропустить неизвестного к себе, он увидел человека вульгарной внешности, типа рыночных проходимцев, одетого безотносительно к моде и с сомнительною опрятностью; он был мал ростом, но страшно худ, что заменяло ему высокие каблуки. Тупое страдание мелькало в его запавших глазах; лоб был высок, но скрыт прядями черных волос, забытых гребнем; нервность интеллигента и огрубение тяжелой жизненной школы смешивались в этом лице, насчитывавшем, быть может, тридцать с небольшим лет.

— Я музыкант, — сказал он после обычных предварительных фраз, произнесенных взаимно, — и чрезвычайно прошу вас не отказать мне в великой помощи. Случай, который видите вы в моем лице, едва ли представлялся разнообразию даже вашей практики. Меня зовут Грациан Дюплэ.

Около года назад среди снов, ощущения и детали которых имеют для меня почти реальное значение, благодаря их, так сказать, печатной яркости, я уловил мотив — неизъяснимую мелодию, преследующую меня с тех пор почти каждую ночь. Мелодия эта переходит всякие границы выражения ее силы и свойств обычным путем слов; услышав ее, я готов уверовать в музыку сфер; есть нечеловеческое в ее величии, меж тем как красота звукосочетаний неизмеримо превосходит все сыгранное до сих пор трубами и струнами. Она построена по законам, нам неизвестным. Пробуждаясь, я ничего не помню и, тщетно цепляясь за впечатление, — единственное, что остается мне в этих случаях, подобно перу жар-птицы, — пытаюсь открыть источник, сладкая капля которого удесят�еряет жажду погибающего в безводии. Быть может, во сне душа наша более восприимчива; раз зная, помня, что слышал эту чудесную музыку, я тем не менее бессилен удержать памятью даже один такт. Как бы то ни было, усердно прошу вас приложить все ваше искусство или к укреплению моей памяти, или же — если это можно — к прямой силе внушения, под неотразимым давлением которой я мог бы сыграть (я захватил скрипку) в присутствии вашем все то, что так отчетливо волнует меня во сне. Два различной важности следствия может дать этот опыт: первое — что совершенство таинственной музыки окажется сонным искажением чувств, как нередко бывает с теми, кому снится, что они читают книгу высокой талантливости, — меж тем, проснувшись, вспоминают лишь ряд бессмысленных фраз; тогда, уверившись в самообмане, я прибегну к систематическому лечению, вполне довольный сознанием, что немного теряю от этого; второе следствие — нотное закрепощение мелодии — неизмеримо важнее. Быть может, весь музыкальный мир прошлого и настоящего времени исчезнет в новых открытиях, как исчезают семена, став цветками, или как гусеница, перестающая в назначенный час быть скрытой ликующей бабочкой. Быть может, изменится, сдвинувшись на основах своих, самое сознание человечества, потому что, — повторяю и верю себе в этом, — сила той музыки имеет в себе нечто божественное и сокрушительное.

Дюплэ высказал все это, сопровождая речь сильной, но плавной жестикуляцией; его манера говорить выка-

зывала человека, привычного к рассуждениям не только лишь о вещах банальных или семейных; взгляд его, хотя напряженный, изобличая крайнюю нервность, был лишен теней безумия, и Румиер нашел, что опыт, во всяком случае, обещает быть интересным. Однако, прежде чем приступить к этому опыту, он счел нужным предупредить Дюплэ об опасности, связанной с таким сильным возмущением чувств в гипнотическом состоянии.

— Вы,— сказал Румиер,— не подозреваете, вероятно, ловушки, в какую может заманить вас чрезмерное мозговое возбуждение, оказавшееся (надо допустить это) бессильным восстановить несуществующее. Допуская, что эта мелодия — лишь поразительно ясное представление — желание, жажда,— все, что хотите, но не сама музыка,— я могу наградить вас тяжелым душевным заболеванием: даже смерть угрожает вам в случае мозгового кровоизлияния, что возможно.

— Я готов,— сказал Дюплэ.— Распорядитесь принести мою скрипку.

Когда это было исполнено и Дюплэ со смычком и скрипкою в руках уселся в глубокое покойное кресло, Румиер в течение не более как минуты усыпил его взглядом и приказанием.

— Грациан Дюплэ! — сказал доктор, испытывая непривычное волнение.— Приказываю вам меня слышать и мне повиноваться во всем без исключения.

— Я повинуюсь,— мертвенно ответил Дюплэ.

Квартира Румиера была в первом этаже, окнами выходя на небольшой переулок. Окно кабинета было раскрыто. Музыкант сидел невдалеке от окна. Он был неподвижен и бледен; крупный холодный пот стекал по его лицу. Румиер, помедлив, сказал:

— Дюплэ! Вы слышите музыку, о которой мне говорили.

Дюплэ затрепетал; невидящие глаза открылись широко и безумно, и молния экстаза изменила его лицо, подобно засверкавшему от солнца тусклому до того морю. Долгий как стихающий гул колокола стон огласил комнату.

— Я слышу! — вскричал Дюплэ.

— Теперь,— дрожа сам в потоке этого нервного излучения, незримо рассеиваемого музыкантом,— теперь,— продолжал Румиер,— вы играете то, что слышите. Скрипка в ваших руках. Начинайте!

Дюплэ встал, резко взмахнул смычком, и сердце гипнотизера, силой мгновенно прихлынувшей крови, болезненно застучало. При первых же звуках, слетевших со струн скрипки Дюплэ, Румиер понял, что слушать дальше нельзя. Эти звуки ослепляли и низвергали. Никто не мог бы рассказать их. Румиер лишь почувствовал, что вся его жизнь в том виде, в каком прошла она до сего дня, совершенно не нужна ему, постыла и бесполезна и что под действием такой музыки человек — кто бы он ни был — совершит все с одинаковой яростью упоения — величайшее злодеяние и величайшую жертву. Тоскливый страх овладел им; сделав усилие, почти нечеловеческое в том состоянии, Румиер вырвал скрипку из рук Дюплэ с таким чувством, как если бы плюнул в лицо божества, и, прекратив тем уничтожающее очарование, крикнул:

— Дюплэ! Вы ничего не слышали и ничего не играли. Вы совершенно забыли все, что происходило во время вашего сна, садьте и проснитесь!

Дюплэ, сев, сонно открыл глаза. Пробуждение оставило ему чувство беспредельной тоски; он помнил лишь, зачем пришел к Румиеру, и, восстановив это, задал соответствующий вопрос.

— Следовало ожидать этого, — сказал Румиер, стоя к нему спиной и повернувшись лишь после того, как овладел волнением. — Вы сыграли несколько опереточных арий, перемешанных с обрывками серенады Шуберта.

После краткого разговора, последовавшего за сообщением Румиера, Дюплэ, растерянно извиняясь, поблагодарил его и вышел на улицу. Здесь, с первых шагов, догнал и остановил его неизвестный, прилично одетый человек; он был чрезвычайно возбужден; взглянув на скрипку Дюплэ и мельком поклонившись, человек этот спросил:

— Простите, не вы ли это играли сейчас за окном, выходящим на переулок? Музыка ваша внезапно оборвалась; случайно проходя там, я слышал ее и желал бы еще услышать. Что играли вы?! Вопрос мой не празден: я, бывший офицер, плакал навзрыд, как маленький, среди шума и суеты дня, от неведомых чувств. Что это, ради бога, и кто вы?

Дюплэ, начавший слушать рассеянно, под конец речи прохожего мгновенно уяснил истину. Бешенство ов-

ладело им. Оставив своего собеседника, с быстротой оскорбительной и тревожной он кинулся назад, позвонил и менее чем через минуту снова стоял перед изумленным гипнотизером. Ярость заставила его потерять всякую связность речи; задыхаясь, он крикнул:

— Ты скрыл!.. Скрыл!.. Негодяй! Знаешь ли ты, что взял у меня?! Хуже убийства! Нет прощения! Смерть!.. Смерть за это!

Он бросился на Румиера и повалил его, нанося удары. В этот момент явились на шум слуги. Они не без труда связали Дюплэ, который после того распоряжением доктора был отвезен в психиатрическую лечебницу.

С тех пор он жил там, проявляя все признаки неизлечимой меланхолии, перемежающейся время от времени припадками самого разнузданного бешенства. В тихом состоянии он обыкновенно подолгу с тоской и слезами играл на своей скрипке, ища потерянное и удивляя врачей оригинальностью некоторых фантазий, сочиняемых непрерывно. Иногда, среди вариаций на одну, особенно грустную тему, из-под смычка слетали странные такты, заставляющие бледнеть,— вспышки обессиленной красоты, намеки на нечто большее... но это повторялось все реже и кончилось с его смертью, пришедшей в бреду, полном горячих просьб поднять безжалостный занавес, скрывающий таинственное, прекрасное зрелище.

ВПЕРЕД И НАЗАД

(Феерический рассказ)

I

В конце мая и начале июля город Зурбаган посещается «Бешеным скороходом». Ошибочно было бы представить этого посетителя человеком даже самой сумасшедшей внешности: длинноногим, рыкающим и скорым, как умозаключение страуса относительно спасительности песка.

«Бешеный скороход» — континентальный ветер степей. Он несет тучи степной пыли, бабочек, лепестки цветов; прохладные, краткие, как поцелуи, дожди, холод далеких водопадов, зной каменистых почв, дикие ароматы девственного леса и тоску о неведомом. Его власть делает жителей города тревожными и рассеянными; их сны беспокойны; их мысли странны; их желания туманны и обаятельны, как видения анахорета или мечты юности. Самое большое количество неожиданных отъездов, горьких разлук, внезапных паломничеств и решительных путешествий падает на беспокойные дни «Бешеного скорохода».

5-го июля в сорока милях от Зурбагана три человека шли по узкой степной тропе, направляясь к западу.

Шедший впереди был крепкий, прямой, нервный человек, лет тридцати трех. Природа наградила его своеобразной цветистостью, отдаленно напоминающей редкую тропическую птицу: смуглый цвет кожи, яркие голубые глаза и черные, выщипанные, с бронзовым отливом, волосы производили весьма оригинальное впечатление, сглаживая некрасивость резкого мускулистого лица, именно богатством его оттенков. Двигался он как бы толчками — коротко и отчетливо. На нем, как и на остальных двух путниках, был охотничий костюм; за спиной висело ружье;

остальное походное снаряжение — сумка, свернутое одеяло и кожаный мешочек с пулями — размещались вокруг бедер с толковой, удобной практичностью предусмотрительного бродяги, пользующегося, когда нужно, даже рельефом своего тела.

Этого звали Нэф.

Второй путник, развалисто поспешавший за первым, был круглолиц, здоров и неинтересен в той степени, в какой бывают неинтересны люди, созданные для работы и маленьких мыслей о работе других. Молодой, видимо, добродушный, но тугой и медлительный к новизне, он являлся того рода золотой серединой каждого общества, которая, по существу, неоспорима ни в чем, подобно столу или крепко пришитой пуговице. Сама природа отдыхает на таких людях, как голодный поэт на окороке. Второго путника звали Пек, а был он огородником.

Третий мог бы нагнать тоску на самого веселого клоуна. Представьте одушевленный гроб; гроб на длинных, как бы перекрученных, испитых ногах, с впавшим животом, вздернутыми плечами, впалыми, кислыми глазами и руками-граблями. Его рыжие усы висели как ножки мертвого паука, он шел размашисто и неровно, вяло шагая через воздух, как через ряд сундуков. Этого звали Хин. В Зурбагане он чистил на улице сапоги.

Все трое шли в полусказочные, дикие места Ахуан-Скапа за золотом, скрытым в тайной жиле Эноха. Умирая, Энох передал план тайников Нэфу¹ Хин, соблазняясь, истратил на снаряжение деньги из сберегательной кассы, а Пек шел как могучая рабочая сила, годная копать землю и вязать на переправах плоты.

II

Когда стемнело, путники остановились у небольшой рощи, разожгли костер, поужинали и напились кофе.

Огромная ночь пустыни сияла цветными звездами, большими, как глаза на ужас и красоту. Запах сухой травы, дыма, сырости низин, тишина, еще более тихая от сонных звуков пустыни, дающей вздохи, шелест ветвей, треск костра, короткий вскрик птицы или обманчиво близкий лепет далекого водопада, — все было полно тайной грусти,

¹ В единственной известной публикации вместо «Нэфу» напечатано «Эхору». (Ред.)

величавой, как сама природа — мать ощущений печальных. Человек одинок; перед лицом пустыни это яснее.

Нэф развернул карту.

— Вот, братцы,— сказал он, отводя ногтем часть линии не более пяти миллиметров,— вот сколько мы сделали в первый день.

— А сколько осталось? — спросил, помолчав, Хин.

— Столько.— Нэф двинул рукой до противоположного края карты.

— Да,— сказал Пек.

Хин промолчал. Устремив глаза в тьму, бесцельно, но напряженно, как бы улетая в нее к далекой цели, Нэф сказал:

— Помните, что путь наш не легок. Я уже говорил это. Нас будет рвать на куски судьба, но мы перешагнем через ее труп. Там глухо: леса, тьма, враги и звери; не на кого там оглянуться. Золото залегло в камне. Если хотите, чтобы ваши руки засветились закатом, как глаза, а мир лежал в кошельке,— не кряхтите.

Пек и Нэф вскоре уснули, но Хин даже не задремал. Беспокойно, первый раз так опасливо и реально, представил он долгий-предолгий путь, дожди, голод, ветры и лихорадки; пантер, прыгающих с дерева на загривок, магические глаза змей, стрелу в животе и пулю в сердце... Чей-то скелет среди глубокого ущелья... Он вспомнил краску отделанного под орех ящика, на котором останавливается щедрая нога прохожего, солнечный асфальт, свою газету, свою кофейню и верное серебро. Он внутренне отшатнулся от того края карты, на котором, смеясь, Нэф положил ладонь; отшатнулся и присмирел.

Хин осторожно встал, собрался и, не разбудив товарищей, зашагал к Зурбагану, унося на спине взгляд догорающего костра. Так, человек, страдающий боязнью пространства, поворачивается спиной к площади и идет через нее, пятясь... Мир опасен везде.

III

Проснувшись, Нэф показал Пеку следы, обращенные к ночлегу пятками.

— Нас двое теперь,— сказал он.— Это лучше и хуже.— Пек выругался, невольно все-таки размышляя о причинах, заставивших Хина вернуться. Он был смущен.

Затем прошел месяц, в течение которого два человека пересекали Аларгетскую равнину с достоинством и упорством лунатиков, странствующих по желобу крыши, смотря на луну. Нэф шел впереди. Он говорил мало; часто задумывался; в хорошую погоду — смеялся; в плохую — кусал губы. Он шел легко, как по тротуару. Пек был разговорчив и скучен, жаловался на лишения, много ел и часто вздыхал, но шел и шел из любви к будущему своему капиталу.

Однажды вечером к поселку, расположенному на берегу большой реки, пришли два грязных, бородатых субъекта. Их ногти были черны, одежда в земле. Они вошли в небольшой дом, где молодцеватый, крупный старик и молодая девушка, красивая, как весенняя зелень, сидели ужинать.

— Вы куда? — осведомился старик.

— К Серым горам, — сказал Нэф.

— Далеко.

— Пожалуй.

— Зачем?

— Слитки.

— Дураки, — заявил старик. — Туда многие ходят, да мало кто возвращается.

— Мало ли что, — возразил Нэф, — ведь я иду в первый раз.

Старик хмыкнул, как лепет ребенка.

— Нерра, покорми их и положи спать, — сказал он дочери. — Пусть они во сне целуются с золотом, а наяву — со смертью.

— Шутки не наполняют кармана, — возразил Нэф.

Девушка засмеялась. Пек сел к пирогу со свиной; Нэф выпил водки, потом занялся и едой.

Ужин прошел в молчании. Затем Нерра сказала:

— Сумасшедшие, ваша постель готова.

— Ты любишь умных? — спросил Нэф.

— Должно быть, если не люблю глупых вопросов.

— Какой принести тебе подарок?

— Свой скальп, если ты разыщешь его.

— Бери сейчас. — Нэф нагнулся, подставив лохматую голову.

Старик, вынув изо рта трубку, густо захохотал. Девушка рассердилась.

— Идите спать! — вскричала она.

Нэф скоро заснул; Пек, ворочаясь, вспоминал круглые

руки Нерры. Утром, когда Нэф занялся чисткой ружья, Пек вышел во двор и сел на бревно, осматриваясь.

Вдали, за цветущей изгородью, виднелись холмы хлебных полей. В сарае толкались свиньи, розовые с черными пятнами. На другом дворе бродили коровы великанского вида. Под ногами Пека суетились крупные, цветные куры, болтливые индейки; вечно падающие гуси шипели, как теши; синие с золотом и хохолками на голове утки охорашивались на солнышке.

Старик вышел из хлева. Увидев Пека, он подошел к нему и сказал:

— Любезный, в горах дико и дрянно, а у меня много работы. Два месяца назад утонул мой сын. Если хочешь, живи работником. Мы всегда спокойны и сыты.

В это время через двор прошла Нерра, улыбаясь себе, в солнце и ярком платье, богатая молодостью. Она скрылась. Вся картина знакомой фермерской жизни была для души Пека как оттепель среди суровой зимы,— тоска мучительного и опасного странствования.

— Хорошо,— сказал Пек.

Старик подбросил лопату. Пек пошел в дом, где столкнулся с Нэфом, одетым и готовым к походу.

— Скорее, идем,— сказал Нэф.

— Нэф... я...

— Где же твое ружье?

— Послушай...

— Время дорого, Пек.

— Я здесь останусь работником.

Нэф отвернулся. Постояв с минуту, он прошел мимо Пека, как мимо пустого места. У ворот он обернулся, увидев Нерру, смотревшую на него из-под руки.

— Ну, я пошел,— сказал он.

— Прощай. Береги скальп!

Нэф досадливо отмахнулся. Девушка презрительно фыркнула и повернулась спиной к дороге, уходящей к горам.

IV

Жизнь знает не время, а дела и события. Поэтому, без точного исчисления месяцев, разделивших две эти главы, мы останавливаемся у окна, только что вымытого Неррой до блеска чистой души. Около нее стоял Пек.

— Что же мне теперь делать?

— Купать лошадей.

— Нерра!

— Отстань, Пек. Твоей женой я не буду.

Он смотрел на ее гибкую спину, тяжелые волосы, замкнувшиеся глаза и маленькие, сильные руки. Так, как смотрит рыбак без удочки на игру форели в быстром ключе. Он вдруг озлобился, вышел и повел лошадей, а когда возвращался с ними, то заметил спускающегося по склону холма неизвестного человека в лохмотьях, так густо обросшего волосами, что сверкали только глаза и зубы. Человек шел сильно хромя.

— Пек!— сказал бродяга, взяв под уздцы лошадь.

— Нэф!!

— Я. Я и мое золото...

— Так ты не умер?

— Нет, но умирал.

Они вошли в дом. Пек привел старика, Нерру; все трое обступили Нэфа, рассматривая его с чувством любопытной тревоги.

Его вид был ужасен. В дырах рубища сквозило черное тело; шрамы на лице и руках, склеенные запекшейся кровью, казались страшной татуировкой; босые ноги раздулись, один глаз был завязан. Он снял мешок, ружье, тяжелый кожаный пояс и бросил все в угол, потом сел.

— Скальп цел,— кратко сообщил он.

Девушка улыбнулась, но ничего не ответила.

Ему дали еды и водки. Он сел, выпил; на мгновение заснул, сидя, и мгновенно проснулся.

— Рассказывай,— сказал старик.

— Для начала...— заметил Нэф, отворачивая левый рукав.

От плеча до кисти тянулись обрывки сросшихся мускулов — подарок медвежьей лапы. Затем, поправив рукав, Нэф спокойно, неторопливо рассказал о таких трудах, лишениях, муках, ужасе и тоске, что Пек, посмотрев в угол, где лежал мешок с кожаным поясом, почувствовал, как все это на взгляд стало приземистее и легче.

На другой день выпавшийся Нэф побрился, вымылся и оделся. Он перестал быть страшным, но вид его все же говорил красноречиво о многом.

Оставшись с ним наедине, Пек сказал:

— Ты меня предательски бросил здесь, Нэф. Я коле-

бался... Ты не утащил меня, как следовало бы поступить верному другу. И вот — ты миллионер, а я — по-прежнему нищий.

Нэф усмехнулся и развязал пояс. Взяв чайный стакан, он насыпал его до краев мутным, желтым песком.

— Возьми! — сказал он покрасневшему от жадности Пеку.

К вечеру Пек исчез. На кровати Нэф нашел его записку и показал Нерре.

«Жадный, вероломный приятель! Прибыв страшным богачом, ты дал мне, всегдашнему твоему спутнику, жалкую часть. Будь проклят. Я уезжаю от тебя и развратной девки Нерры к своему дяде, где постараюсь лет через пять разбогатеть больше, чем ты, хитрый бродяга».

— Закурим этой бумажкой, — весело сказал Нэф. — Не бледней, Нерра; знай, дурак кусает лишь воздух. Послушай... Я сберег скальп для тебя.

Она помолчала, затем положила на его плечо руку, а потом мягко перевела руку на вьющиеся волосы Нэфа.

— Через неделю будет пароход сверху, — сказала Нерра, — если хочешь, я поеду с тобой.

— Хочу, — просто ответил Нэф.

Так началась их жизнь. Одним мужем и одной женой стало больше на свете, богатым разными парами, но весьма бедном любовью и уважением.

У подъезда каменного зурбаганского театра сидел наш знакомый Хин, рассматривая по профессиональной привычке ноги прохожих; выше он почти никогда не поднимал глаз, считая это убыточным.

Прошло несколько времени. На ящик Хина ступила небольшая мужская нога в лакированном сапоге; после нее — другая. Хин заботливо их почистил и протянул руку.

То, что оказалось в руке, сначала удивило его своим цветом, цветом не ассигнаций. Цвет был коричневый с розовым. Развернув бумажку, Хин, встав, с трепетом и почтением прочел, что это чек на предъявителя, на сумму в пятьдесят тысяч. Подпись была «Нэф».

Он судорожно огляделся, и показалось ему, что в зурбаганской пестрой толпе легли тени пустыни и грозноедыхание диких мест промчалось над разогретым асфальтом, тронув глаза Хина свежестью неумолкающих водопадов.

КОРАБЛИ В ЛИССЕ

I

Есть люди, напоминающие старомодную табакерку. Взяв в руки такую вещь, смотришь на нее с плодотворной задумчивостью. Она — целое поколение, и мы ей чужие. Табакерку помещают среди иных подходящих вещей и показывают гостям, но редко случится, что ее собственник воспользуется ею, как обиходным предметом. Почему? Столетия остановят его? Или формы иного времени, так обманчиво схожие — геометрически — с формами новыми, настолько различны по существу, что видеть их постоянно, постоянно входить с ними в прикосновение — значит незаметно жить прошлым? Может быть, мелкая мысль о сложном несоответствии? Трудно сказать. Но, — начали мы, — есть люди, напоминающие старинный обиходный предмет, и люди эти, в душевной сути своей, так же чужды окружающей их манере жить, как вышеуказанная табакерка мародеру из гостиницы «Лиссабон». Раз навсегда, в детстве ли, или в одном из тех жизненных поворотов, когда, складываясь, характер как бы подобен насыщенной минеральным раствором жидкости: легко возмути ее — и вся она в молниеносно возникших кристаллах застыла неизгладимо... в одном ли из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному — душа укладывается в непоколебимую форму. Ее требования наивны и поэтичны: цельность, законченность, обаяние привычного, где так ясно и удобно живет грезам, свободным от придилок момента. Такой человек предпочтет лошадей вагону; свечу — электрической гру-

ше; пушистую косу девушки—ее же хитрой прическе, пахнувшей горелым и мускусным; розу — хризантеме; неуклюжий парусник с возвышенной громадой белых парусов, напоминающий лицо с тяжелой челюстью и ясным лбом над синими глазами, предпочтет он игрушечно-красивому пароходу. Внутренняя его жизнь по необходимости замкнута, а внешняя состоит во взаимном отталкивании.

II

Как есть такие люди, так есть семьи, дома и даже города и гавани, подобные вышеприведенному примеру — человеку с его жизненным настроением.

Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс, кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс. Здесь две гостиницы: «Колючей подушки» и «Унеси горе». Моряки, естественно, плотней набивались в ту, которая ближе; которая вначале была ближе — трудно сказать; но эти почтенные учреждения, конкурируя, начали скакать к гавани — в буквальном смысле этого слова. Они переселялись, снимали новые помещения и даже строили их. Одолела «Унеси горе». С ее стороны был подпущен ловкий фортель, благодаря чему «Колючая подушка» остановилась как вко-

панная среди гиблых оврагов, а торжествующая «Унеси горе» после десятилетней борьбы воцарилась у самой гавани, погубив три местных харчевни.

Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков: женщины делятся на ангелов и мегер; ангелы, разумеется, молоды, опаляюще красивы и нежны, а мегеры — стары; но и мегеры, не надо забывать этого, полезны бывают жизни. Пример: счастливая свадьба, во время которой строящая ранее адские козни мегера раскаивается и начинает лучшую жизнь.

Мы не будем делать разбор причин, в силу которых Лисс посещался и посещается исключительно парусными судами. Причины эти — географического и гидрографического свойства; все в общем произвело на нас в городе этом именно то впечатление независимости и поэтической плавности, какое пытались выяснить мы в примере человека с цельными и ясными требованиями.

III

В тот момент как начался наш рассказ, за столом гостиницы «Унеси горе», в верхнем этаже, пред окном, из которого картинно была видна гавань Лисса, сидели четыре человека. То были: капитан Дюк, весьма грузная и экспансивная личность; капитан Роберт Эстамп; капитан Рениор и капитан, более известный под кличкой: «Я тебя знаю», благодаря именно этой фразе, которой он приветствовал каждого, даже незнакомого человека, если человек тот выказывал намерение загулять. Звали его, однако, Чинчар.

Такое блестящее, даже аристократическое общество, само собой, не могло восседать за пустым столом. Стояли тут разные торжественные бутылки, извлекаемые хозяином гостиницы в особых случаях, именно в подобных настоящему, когда капитаны — вообще народ, недолюбливающий друг друга по причинам профессионального красования, — почему-либо сходились пьянствовать.

Эстамп был пожилой, очень бледный, сероглазый, с рыжими бровями, неразговорчивый человек; Рениор, с длинными черными волосами и глазами навывкате, напоминал переодетого монаха; Чинчар, кривой, ловкий старик с черными зубами и грустным голубым глазом, отличался ехидством.

Трактир был полон; там — шумели, там — пели; время от времени какой-нибудь веселый до беспамятства человек направлялся к выходу, опрокидывая стулья на своем пути; гремела посуда, и в шуме этом два раза удивил Дюк имя «Битт-Бой». Кто-то, видимо, вспоминал славного человека. Имя это пришлось кстати: разговор шел о затруднительном положении.

— Вот с Битт-Боем, — вскричал Дюк, — я не убоюсь бы целой эскадры! Но его нет. Братцы-капитаны, я ведь нагружен, страшно сказать, взрывчатыми пакостями. То есть, не я, а «Марианна». «Марианна», впрочем, есть я, а я есть «Марианна», так что я нагружен. Ирония судьбы: я — с картечью и порохом! Видит бог, братцы-капитаны, — продолжал Дюк мрачно одушевленным голосом, — после такого свирепого угощения, какое мне поднесли в интендантстве, я согласился бы фрахтовать даже сельтерскую и содовую!

— Капер снова показался третьего дня, — вставил Эстамп.

— Не понимаю, чего он ищет в этих водах, — сказал Чинчар, — однако боязно подымать якорь.

— Вы чем же больны теперь? — спросил Рениор.

— Сущие пустяки, капитан. Я везу жестяные изделия и духи. Но мне обещана премия!

Чинчар лгал, однако. «Болен» он был не жестью, а страховым полисом, ища удобного места и времени, чтобы потопить своего «Пустынника» за крупную сумму. Такие отвратительные проделки не редкость, хотя требуют большой осмотрительности. Капер тоже волновал Чинчара — он получил сведения, что его страховое общество накануне краха и надо поторапливаться.

— Я знаю, чего ищет разбойник! — заявил Дюк. — Видели вы бригантину, бросившую якорь у самого выхода? «Фелицата». Говорят, что нагружена она золотом.

— Судно мне незнакомо, — сказал Рениор. — Я видел ее, конечно. Кто ее капитан?

Никто не знал этого. Никто его даже не видел. Он не сделал ни одного визита и не приходил в гостиницу. Раз лишь трое матросов «Фелицаты», преследуемые любопытными взглядами, чинные, пожилые люди, приехали с корабля в Лисс, купили табак и более не показывались.

— Какой-нибудь молокосос, — пробурчал Эстамп. — Не вежа! Сиди, сиди, невежа, в каюте, — вдруг разгорячился он, обращаясь к окну, — может, усы и вырастут!

Капитаны захохотали. Когда смех умолк, Рениор сказал:

— Как ни верти, а мы заперты. Я с удовольствием отдам свой груз (на что мне, собственно, чужие лимоны?). Но отдать «Президента»...

— Или «Марианну»,— перебил Дюк.— Что если она взорвется?! — Он побледнел даже и выпил двойную порцию.— Не говорите мне о страшном и роковом, Рениор!

— Вы надоели мне со своей «Марианной»,— крикнул Рениор,— до такой степени, что я хотел бы даже и взрывать!

— А ваш «Президент» утопнет!

— Что-о?

— Капитаны, не ссорьтесь,— сказал Эстамп.

— Я тебя знаю!— закричал Чинчар какому-то очень удивившемуся посетителю.— Поди сюда, угости старишку!

Но посетитель повернулся спиной. Капитаны погрузились в раздумье. У каждого были причины желать покинуть Лисс возможно скорее. Дюка ждала далекая крепость. Чинчар торопился разыграть мошенническую комедию. Рениор жаждал свидания с семьей после двухлетней разлуки, а Эстамп боялся, что разбежится его команда, народ случайного сбора. Двое уже бежали, похваляясь теперь в «Колючей подушке» небывалыми новогвинейскими похождениями.

Эти суда: «Марианна», «Президент», «Пустынник» Чинчара и «Арамея» Эстампа спаслись в Лисс от преследования неприятельских каперов. Первой влетела быстроходная «Марианна», на другой день приполз «Пустынник», а спустя двое суток бросили, запыхавшись, якорь «Арамея» и «Президент». Всего с таинственной «Фелицатой» в Лиссе стояло пять кораблей, не считая барж и мелких береговых судов.

— Так я говорю, что хочу Битт-Боя,—заговорил охмелевший Дюк.— Я вам расскажу про него штучку. Все вы знаете, конечно, мокрую курицу Беппо Маластино. Маластино сидит в Зурбагане, пьет «боже мой»¹ и держит на коленях Бутузку. Вхсдит Битт-Бой: «Маластино, подымай якорь, я проведу судно через Кассет. Ты будешь в Ахуан-

¹ Нечто убийственное. Чистый спирт, настоящий на кайенском перце, с небольшим количеством меда. (Прим. автора.)

Скапе раньше всех в этом сезоне». Как вы думаете, капитаны? Я хаживал через Кассет с полным грузом, и прямая выгода была дураку Маластино слепо слушать Битт-Боя. Но Беппо думал два дня: «Ах, штормовая полоса... Ах, чики, чики, сорвало бакены»... Но суть-то, братцы, не в бакенах. Али — турок, бывший бепповский боцман — сделаему в брига дыру и заклеил варом, как раз против бизани. Волна быстро бы расхлестала ее. Наконец, Беппо в обмороке проплыл с Битт-Боем адский пролив; опоздал, разумеется, и деньги Ахуан-Скапа полюбили других больше, чем макаронщика, не... каково же счастье Битт-Боя?! В Кассете их швыряло на рифы... Несколько бочек с медом, стоя около турецкой дыры, забродили, надо быть, еще в Зурбагане. Бочонки эти лопнули, и тонны четыре меда задраили дыру таким пластырем, что обшивка даже не проломилась. Беппо похолодел уже в Ахуан-Скапе, при выгрузке. Слушай-ка, Чинчар, удели мне малость из той бутылки!

— Битт-Бой... я упрости бы его к себе,— заметил Эстамп.— Тебя, Дюк, все равно когда-нибудь повесят за порох, а у меня дети.

— Я вам расскажу про Битт-Боя,— начал Чинчар.— Дело это...

Страшный, веселый гвалт перебил старого плута. Все обернулись к дверям, многие замахали шапками, некоторые бросились навстречу вошедшему. Хоровой рев ветром кинулся по обширной зале, а отдельные выкрики, расталкивая восторженный шум, вынеслись светлым воплем:

— Битт-Бой! Битт-Бой! Битт-Бой, приносящий счастье!

IV

Тот, кого приветствовали таким значительным и престестным именованьем, сильно покраснев, остановился у входа, засмеялся, раскланялся и пошел к столу капитанов. Это был стройный человек, не старше тридцати лет, небольшого роста, с приятным открытым лицом, выражавшим силу и нежность. В его глазах была спокойная живость, черты лица, фигура и все движения отличались достоинством, являющимся скорее отражением внутреннего спокойствия, чем привычным усилением характера. Чрезвычайно отчетливо, но негромко звучал его задумчивый голос. На Битт-Бое была лоцманская фуражка, вязаная коричневая фу-

файка, голубой пояс и толстые башмаки, через руку перекинут был дождевой плащ.

Битт-Бой пожал десятки, сотни рук... Взгляд его, улыбаясь, свободно двигался в кругу приятельских ослаблений; винтообразные дымы трубок, белый блеск зубов на лицах кофейного цвета и пестрый туман глаз окружали его в продолжение нескольких минут животворным облаком сердечной встречи; наконец он высвободился и попал в объятия Дюка. Повеселел даже грустный глаз Чинчара, повеселела его ехидная челюсть; размяк солидно-воловий Рениор, и жесткий, самолюбивый Эстамп улыбнулся на грош, но по-детски. Битт-Бой был общим любимцем.

— Ты барабанщик фортуны! — сказал Дюк. — Хвостик козла американского! Не был ли ты, скажем, новым Ионой в брюхе китишки? Где пропадал? Что знаешь? Выбирай: весь пьяный флот налицо. Но мы застряли, как клин в башке дурака. Упаси «Марианну».

— О капере? — спросил Битт-Бой. — Я его видел. Короткий рассказ, братцы, лучше долгих расспросов. Вот вам история: вчера взял я в Зурбагане ялик и поплыл к Лиссу; ночь была темная. О каперах слышал я раньше, поэтому, пробираясь вдоль берега за камнями, где скалы поросли мхом, был под защитой их цвета. Два раза миновал меня рефлектор неприятельского крейсера, на третий раз изнутри толкнуло опустить парус. Как раз... ялик и я высветились, как муха на блюдечке. Там камни, тени, мох, трещины, меня не отличили от пустоты, но не опусти я свой парус... итак, Битт-Бой сидит здесь благополучно. Рениор, помните фирму «Хевен и К⁰»? Она продает тесные башмаки с гвоздями навывлет; я вчера купил пару, и теперь у меня пятки в крови.

— Есть, Битт-Бой, — сказал Рениор, — однако смелый вы человек. Битт-Бой, проведите моего «Президента»; если бы вы были женаты...

— Нет, «Пустынника», — заявил Чинчар. — Я же тебя знаю, Битт-Бой. Я нынче богат, Битт-Бой.

— Почему же не «Арамею»? — спросил суровый Эстамп. — Я полезу на нож за право выхода. С Битт-Боем это верное дело.

Молодой лощман, приготовившийся было рассказать еще что-то, стал вдруг печально серьезен. Подперев своей маленькой рукой подбородок, взглянул он на капитанов, ти-

хо улыбнулся глазами и, как всегда щадя чужое настроение, пересилил себя. Он выпил, подбросил пустой стакан, поймал его, закурил и сказал:

— Благодарю вас, благодарю за доброе слово, за веру в мою удачу... Я не ищу ее. Я ничего не скажу вам сейчас, ничего то есть определенного. Есть тому одно обстоятельство.

Хотя я и истратил уже все деньги, заработанные весной, но все же... И как мне выбирать среди вас? Дюка?.. О, нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе и, чтобы всем сказать: на-те вам! Согласный ты с морем, старик, как я, Дюка люблю. А вы, Эстамп? Кто прятал меня в Бомбее от бестолковых сипаев, когда я спас жемчуг раджи? Люблю и Эстампа, есть у него теплый угол за пазухой. Рениор жил у меня два месяца, а его жена кормила меня полгода, когда я сломал ногу. А ты — «Я тебя знаю», Чинчар, закоренелый грешник — как плакал ты в церкви о встрече с одной старухой?.. Двадцать лет разделило вас да случайная кровь. Выпил я — и болтаю, капитаны: всех вас люблю. Капер, верно, шутить не будет, однако — какой же может быть выбор? Даже представить этого нельзя.

— Жребий, — сказал Эстамп.

— Жребий! Жребий! — закричал стол. Битт-Бой оглянулся. Давно уже подсевшие из углов люди следили за течением разговора; множество локтей лежало на столе, а за ближними стояли другие и слушали. Потом взгляд Битт-Боя перешел на окно, за которым тихо сияла гавань. Дымя испарениями, ложился на воду вечер. Взглядом спросив о чем-то, понятном лишь одному ему, таинственную «Фелицату», Битт-Бой сказал:

— Осанистая эта бригантина, Эстамп. Кто ею командует?

— Невежа и неуч. Только никто еще не видел его.

— А ее груз?

— Золото, золото, золото, — забормотал Чинчар, — сладкое золото...

И со стороны некоторые подтвердили тоже:

— Так говорят.

— Должно было пройти здесь одно судно с золотом. Наверное, это оно.

— На нем аккуратная вахта.

— Никого не принимают на борт.

— Тихо на нем...

— Капитаны! — заговорил Битт-Бой. — Совестна мне странная моя слава, и надежды на меня, ей-богу, конфузят сердце. Слушайте: бросьте условный жребий. Не надо вертеть бумажек трубочками. В живом деле что-нибудь живое взглянет на нас. Как кому выйдет, с тем и поеду, если не изменится одно обстоятельство.

— Валяй им, Битт-Бой, правду-матку! — проснулся кто-то в углу.

Битт-Бой засмеялся. Ему хотелось бы быть уже далеко от Лисса теперь. Шум, шутки развлекали его. Он затем и затеял «жребий», чтобы, протянув время, набраться как можно глубже посторонних, суетливых влияний, рассеяний, моряцкой толкотни и ее дел. Впрочем, он свято сдержал бы слово, «изменись одно обстоятельство». Это обстоятельство, однако, теперь, пока он смотрел на «Фелицату», было еще слишком темно ему самому, и, упомянув о нем, руководствовался он только удивительным инстинктом своим. Так, впечатлительный человек, ожидая друга, читает или работает, и вдруг, встав, прямо идет к двери, чтобы ее открыть: идет друг, но открывший уже оттолкнул рассеянность и удивляется верности своего движения.

— Провались твое обстоятельство! — сказал Дюк. — Что же — будем гадать! Но ты не договорил чего-то, Битт-Бой!

— Да. Наступает вечер, — продолжал Битт-Бой, — немного остается ждать выигравшему меня, жалкого лодмана. С кем мне выпадет ехать, тому я в полночь пришлю мальчугана с известием на корабль. Дело в том, что я, может быть, и откажусь прямо. Но все равно, играйте пока.

Все обернулись к окну, в пестрой дали которого Битт-Бой, напряженно смотря туда, видимо, искал какого-нибудь естественного знака, указания, случайной приметы. Хорошо, ясно, как на ладони, виднелись все корабли: стройная «Марианна», длинный «Президент», с высоким бушпритом; «Пустынник» с фигурой монаха на носу, бульдогообразный и мрачный; легкая, высокая «Арамея» и та благородно-осанистая «Фелицата» с крепким, соразмерным кузовом, с чистотой яхты, удлиненной

кормой и джутовыми снастями, — та «Фелицата», о которой спорили в кабаке — есть ли на ней золото.

Как печальны летние вечера! Ровная полутьма их бродит, обнявшись с усталым солнцем, по притихшей земле; их эхо протяжно и замедленно-печально; их даль — в беззвучной тоске угасания. На взгляд — все еще бодро вокруг, полно жизни и дела, но ритм элегии уже властвует над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли? Звучит ли неслышимый ранее стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни... но жаль, жаль кого-то, как затерянного в пустыне... И многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих.

— Вот, — сказал Битт-Бой, — летает баклан; скоро он сядет на воду. Посмотрим, к какому кораблю сядет поближе птица. Хорошо ли так, капитаны? Теперь, — продолжал он, получив согласное одобрение, — теперь так и решим. К какому он сядет ближе, того я провожу в эту же ночь, если... как сказано. Ну, ну, толстокрылый!

Тут четыре капитана наших обменялись взглядами, на точке скрещения которых не усидел бы, не будучи прожженным насквозь, даже сам дьявол, папа огня и мук. Надо знать суеверие моряков, чтобы понять их в эту минуту. Меж тем неосведомленный о том баклан, выписав в проходах между судами несколько тяжелых восьмерок, сел как раз меж «Президентом» и «Марианной», так близко на середину этого расстояния, что Битт-Бой и все усмехнулись.

— Птичка божия берет на буксир обоих, — сказал Дюк. — Что ж? Будем вместе плести маты, друг Рениор, так, что ли?

— Погодите! — вскричал Чинчар. — Баклан ведь плавает! Куда он теперь поплывет, знатный вопрос?!

— Хорошо; к которому поплывет, — согласился Эстамп.

Дюк закрылся ладонью, задремал как бы; однако сквозь пальцы зорко ненавидел баклана. Впереди других, ближе к «Фелицате», стояла «Арамея». В ту сторону, держась несколько ближе к бригадине, и направился ныряя баклан; Эстамп выпрямился, самолюбиво блеснув глазами.

— Есть! — кратко определил он. — Все видели?

— Да, да, Эстамп, все!

— Я ухожу,— сказал Битт-Бой,— прощайте пока; меня ждут. Братцы-капитаны! Баклан — глупая птица, но клянусь вам, если бы я мог разорваться на четверо,— я сделал бы это. Итак, прощайте! Эстамп, вам, значит, будет от меня справка. Мы поплывем вместе или... расстанемся, братцы, на «никогда».

Последние слова он проговорил вполголоса — смутно их слышали, смутно и поняли. Три капитана мрачно погрузились в свое огорчение. Эстамп нагнулся поднять трубку, и никто, таким образом, не уловил момента прощания. Встав, Битт-Бой махнул шапкой и быстро пошел к выходу.

— Битт-Бой! — закричали вслед.

Лоцман не обернулся и поспешно сбежал по лестнице.

V

Теперь нам пора объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессией которых был организованный, так сказать, риск.

Наперекор умам логическим и скупым к жизни, умам, выставившим свой коротенький серый флажок над величавой громадой мира, полной неразрешенных тайн,— в кроткой и смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все идущие и потрясенные,— наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шепот неисследованного. Есть люди,двигающиеся в черном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо; их речи звучат предчувствиями; их близость навлекает несчастья. Есть такие выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. «Легкий человек», «легкая рука» — слышим мы. Однако не будем делать поспешных выводов или рассуждать о достоверности собственных своих догадок. Факт тот, что в обществе легких людей проще и ясней настроение; что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намеком, что их почин в нашем деле действительно тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеянны и беспечны, но чаще оживленно-серьезны. Одна

есть верная их примета: простой смех — смех потому, что смешно и ничего более; смех, не выражающий отношения к присутствующим.

Таким человеком, в силе необъяснимой и безошибочной, был лодман Битт-Бой. Все, за что брался он для других, оканчивалось неизменно благополучно, как бы ни были тяжелы обстоятельства, иногда даже с неожиданной премией. Не было судна, потерпевшего крушение в тот рейс, в который он вывел его из гавани. Случай с Беппо, рассказанный Дюком, — не есть выдумка. Никогда корабль, напутствуемый его личной работой, не подвергался эпидемиям, нападениям и другим опасностям; никто на нем не падал за борт и не совершал преступлений. Он прекрасно изучил Зурбаган, Лисс и Кассет и все побережье полуострова, но не терялся и в незначительных фарватерах. Случалось ему проводить корабли в опасных местах стран далеких, где он бывал лишь случайно, и руль всегда брал под его рукой направление верное, как если бы Битт-Бой воочию видел все дно. Ему доверяли слепо, и он слепо верил себе. Назовем это острым инстинктом — не все ли равно... «Битт-Бой, приносящий счастье» — под этим именем знали его везде, где он бывал и работал.

Битт-Бой прошел ряд оврагов, обогнув гостиницу «Колучей подушки», и выбрался по тропинке, вьющейся среди могучих садов, к короткой каменной улице. Все время он шел с опущенной головой, в глубокой задумчивости, иногда внезапно бледнея под ударами мыслей. Около небольшого дома с окнами, выходящими на двор, под тень деревьев, он остановился, вздохнул, выпрямился и прошел за низкую каменную ограду.

Его, казалось, ждали. Как только он проник в сад, зашумев по траве, и стал подходить к окнам, всматриваясь в их тенистую глубину, где мелькал свет, — у одного из окон, всколыхнув плечом откинутую занавеску, появилась молодая девушка. Знакомая фигура посетителя не обманула ее. Она кинулась было бежать к дверям, но, нетерпеливо сообразив два расстояния, вернулась к окну и выпрыгнула в него, побежав навстречу Битт-Бою. Ей было лет восемнадцать, две темные косы под лиловой с желтым косынкой падали вдоль стройной шеи и почти всего тела, столь стройного, что оно в движениях и поворотах казалось беспокойным лучом. Ее неправильное по-

лудетское лицо с застенчиво-гордыми глазами было прелестно духом расцветающей женской жизни.

— Режи, Королева Ресниц! — сказал, меж поцелуями, Битт-Бой. — Если ты меня не задушишь, у меня будет чем вспомнить этот наш вечер.

— Наш, наш, милый мой, безраздельно мой! — сказала девушка. — Этой ночью я не ложилась, мне думалось после письма твоего, что через минуту за письмом подоспеешь и ты.

— Девушка должна много спать и есть, — рассеянно возразил Битт-Бой. Но тут же стряхнул тяжелое угнетение. — Оба ли глаза я поцеловал?

— Ни один ты не целовал, скупец!

— Нет, кажется, целовал левый... Правый глаз, значит, обижен. Дай-ка мне этот глазок... — И он получил его вместе с его сиянием.

Но суть таких разговоров не в словах бедных наших, и мы хорошо знаем это. Попробуйте такой разговор подслушать — вам будет грустно, завидно и жалко: вы увидите, как бьются две души, пытаюсь звуками передать друг другу аромат свой. Режи и Битт-Бой, однако, досыта продолжали разговор этот. Теперь они сидели на небольшом садовом диване. Стемнело.

Наступило, как часто это бывает, молчание: полнота душ и сигнал решениям, если они настойчивы. Битт-Бой счел удобным заговорить, не откладывая, о главном.

Девушка бессознательно помогла ему:

— Сделай же нашу свадьбу, Битт-Бой. У меня будет маленький.

Битт-Бой громко расхохотался. Сознание положения отрезало и отравило смех этот коротким вздохом.

— Вот что, — сказал он изменившимся голосом, — ты, Режи, не перебивай меня. — Он почувствовал, как вспыхнула в ней тревога, и заторопился. — Я спрашивал и ходил везде... нет сомнения... Я тебе мужем быть не могу, дорогая. О, не плачь сразу! Подожди, выслушай! Разве мы не будем друзьями? Режи... ты, глупая, самая лучшая! Как же я могу сделать тебя несчастной? Скажу больше: я пришел ведь только проститься! Я люблю тебя на разрыв сердца и... хоть бы великанского! Оно убито, убито уже, Режи! А разве, к тому же, я один на свете? Мало ли хороших и честных людей! Нет, нет, Режи; послушай меня, уясни все, согласись... как же иначе?

В таком роде долго говорил он еще, перемалывая стиснутыми зубами тяжкие, загнанные далеко слезы, но душевное волнение спутало, наконец, его мысли.

Он умолк, разбитый нравственно и физически,—умолк и поцеловал маленькие, насильно отнятые от глаз ладони.

— Битт-Бой...— рыдая заговорила девушка.— Битт-Бой, ты дурак, глупый болтунишка! Ты еще ведь не знаешь меня совсем. Я тебя не отдам ни беде, ни страху. Вот видишь,— продолжала она, разгораясь все более,— ты расстроен. Но я успокою тебя... ну же, ну! — Она схватила его голову и прижала к своей груди.— Здесь ты лежи спокойно, мой маленький. Слушай: будет худо тебе — хочу, чтобы худо и мне. Будет тебе хорошо — и мне давай хорошо. Если ты повесишься — я тоже повешусь. Разделим пополам все, что горько; отдай мне большую половину. Ты всегда будешь для меня фарфоровый, белый... Я не знаю, чем уверить тебя: смертью, быть может?!

Она выпрямилась, и сунула за корсаж руку, где, по местному обычаю, девушки носят стилет или небольшой кинжал.

Битт-Бой удержал ее. Он молчал, пораженный новым знанием о близкой душе. Теперь решение его, оставаясь непреклонным, хлынуло в другую форму.

— Битт-Бой,— продолжала девушка, заговоренная собственной речью и обманутая подавленностью несчастного,— ты умница, что молчишь и слушаешь меня.— Она продолжала, приникнув к его плечу: — Все будет хорошо, поверь мне. Вот что я думаю иногда, когда мечтаю или сержусь на твои отлучки. У нас будет верховая лошадь «Битт-Бой», собака «Умница» и кошка «Режи». Из Лисса тебе, собственно, незачем больше бы выезжать. Ты купишь нам всю новую медную посуду для кухни. Я буду улыбаться тебе везде-везде: при врагах, при друзьях, при всех, кто придет,— пусть видят все, как ты любим. Мы будем играть в жениха и невесту — как ты хотел улизнуть, негодный,— но я уж не буду плакать. Затем, когда у тебя будет твой бриг, мы проплывем вокруг света тридцать три раза...

Голос ее звучал сонно и нервно; глаза закрывались и открывались. Несколько минут она расписывала воображаемое путешествие спутанными образами, затем устроилась

поудобнее, поджав ноги, и легонько, зевотно вздохнула. Теперь они плыли в звездном саду, над яркими подводными цветами.

— ...И там много тюленей, Битт-Бой. Эти тюлени, говорят, добрые. Человеческие у них глаза. Не шевелись, пожалуйста, так спокойнее. Ты меня не утопишь, Битт-Бой, из-за какой-то там, не знаю... турчаночки? Ты сказал — я Королева Ресниц... Возьми их себе, милый, возьми все, все...

Ровное дыхание сна коснулось слуха Битт-Боя. Светила луна. Битт-Бой посмотрел сбоку: ресницы мягко лежали на побледневших щеках. Битт-Бой неловко усмехнулся, затем, сосредоточив все движения в усилии неощутимой плавности, высвободился, встал и опустил голову девушки на клеенчатую подушку дивана. Он был ни жив, ни мертв. Однако уходило время; луна поднялась выше... Битт-Бой тихо поцеловал ноги Режи и вышел, со скрученным в душе воплем, на улицу.

По дороге к гавани он на несколько минут завернул в «Колючую подушку».

VI

Было около десяти вечера, когда к «Фелицате», легко стукнув о борт, подплыла шлюпка. Ею правил один человек.

— Эй, на бригантине! — раздался сдержанный окрик. Вахтенный матрос подошел к борту.

— Есть на бригантине, — сонно ответил он, вглядываясь в темноту. — Кого надо?

— Судя по голосу — это ты, Рексен. Встречай Битт-Боя.

— Битт-Бой!? В самом деле... — Матрос осветил фонарем шлюпку. — Вот так негаданная приятность! Вы давно в Лиссе?

— После поговорим, Рексен. Кто капитан?

— Вы его едва ли знаете, Битт-Бой. Это — Эскирос, из Колумбий.

— Да, не знаю. — Пока матрос спешно спускал трап, Битт-Бой стоял посреди шлюпки в глубокой задумчивости. — Так вытаскаетесь с золотом?

Матрос засмеялся.

— О, нет, — мы погружены съестным, собственной про-

визией нашей да маленьким попутным фрахтом на остров Санди.

Он опустил трап.

— А все-таки золото у вас должно быть... как я принимаю это,—пробормотал Битт-Бой, поднимаясь на палубу.

— Иное мы задумали, лоцман.

— И ты согласен?

— Да, так будет, должно быть, хорошо, думаю.

— Отлично. Спит капитан?

— Нет.

— Ну, vedi.

В щели капитанской каюты блестел свет. Битт-Бой постучал, открыл двери и вошел быстрыми прямыми шагами.

Он был мертвецки пьян, бледен, как перед казнью, но, вполне владея собою, держался с твердостью удивительной. Эскирос, оставив морскую карту, подошел к нему, прищурясь на неизвестного. Капитан был пожилой, утомленного вида человек, слегка сутулый, с лицом болезненным, но приятным и открытым.

— Кто вы? Что привело вас? — спросил он, не повышая голоса.

— Капитан, я — Битт-Бой,— начал лоцман,— может быть вы слышали обо мне. Я здесь...

Эскирос перебил его:

— Вы? Битт-Бой, «приносящий счастье»? Люди обращаются на эти слова. Все слышал я. Сядьте, друг, вот сигара, стакан вина; вот моя рука и признательность.

Битт-Бой сел, на мгновение позабыв, что хотел сказать. Постепенно соображение вернулось к нему. Он отпил глоток; закурил, насильственно рассмеялся.

— К каким берегам тронется «Фелицата»? — спросил он.— Какой план ее жизни? Скажите мне это, капитан.

Эскирос не очень удивился прямому вопросу. Цели, вроде поставленной им,—вернее, намерения — толкают иногда к откровенности. Однако, прежде чем заговорить, капитан прошел взад-вперед, чтобы сосредоточиться.

— Ну, что же... поговорим,— начал он.— Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман. Мой характер покажется вам, думаю, странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не могли, но благодаря им открылись новые, неведомые желания; взгляд стал обширнее, мир — ближе и доступнее. Влечет он меня — весь, как в гости. Я одинок. Проделал я,

лоцман, всю морскую работу и был честным работником. Что позади — известно. К тому же, есть у меня — была всегда — большая потребность в передвижениях. Так я задумал теперь свое путешествие. Тридцать бочек чужой солонины мы сдадим еще Скалистому Санди, а там — внимательно, любовно будем обходить без всякого определенного плана моря и земли. Присматриваться к чужой жизни, искать важных, значительных встреч, не торопиться, иногда — спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение; стоять в цветущих садах огромных рек, может быть — временно пустить корни в чужой стране, дав якорю обрасти солью, а затем, затосковав, снова сорваться и дать парусам ветер, — ведь хорошо так, Битт-Бой?

— Я слушаю вас, — сказал лоцман.

— Моя команда вся новая. Не торопился я собирать ее. Распустив старую, искал я нужных мне встреч, беседовал с людьми и, один по одному, набрались у меня подходящие. Экипаж задумчивых! Капер нас держит в Лиссе. Я увильнул от него на днях, но лишь благодаря близости порта. Оставайтесь у нас, Битт-Бой, и я тотчас же отдам приказание поднять якорь! Вы сказали, что знали Рексена...

— Я знал его и знаю по «Радиусу», — удивленно проговорил Битт-Бой, — но я еще не сказал этого. Я... подумал об этом.

Эскирос не настаивал, объяснив про себя маленькое разногласие забывчивостью своего собеседника.

— Значит, есть у вас к Битт-Бою доверие?

— Может быть, я бессознательно ждал вас, друг мой. Наступило молчание.

— Так в добрый час, капитан! — сказал вдруг Битт-Бой ясным и бодрым голосом. — Пошлите на «Арамею» юнгу с запиской Эстампу.

Приготовив записку, он передал ее Эскиросу.

Там стояло:

«Я глуп, как баклан, милый Эстамп. «Обстоятельство» совершилось. Прощайте все, — вы, Дюк, Рениор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня».

Отослав записку, Эскирос пожал руку Битт-Бою.

— Снимаемся! — крикнул он зазвеневшим голосом, и вид его стал уже деловым, командующим. Они вышли на палубу.

В душе каждого неся, распевая, свой ветер: ветер

кладбища у Битт-Боя, ветер движения — у Эскироса. Капитан свистнул боцмана. Палуба, не прошло десяти минут, покрылась топотом и силуэтами теней, бегущих от штаговых фонарей. Судно просыпалось впотьмах, хлопая парусами; все меньше звезд мелькало меж рей; треща, совершал круги брашпиль, и якорный трос, медленно подтягивая корабль, освобождал якорь из ила.

Битт-Бой, взяв руль, в последний раз обернулся в ту сторону, где заснула Королева Ресниц.

«Фелицата» вышла с потушенными огнями. Молчание и тишина царствовали на корабле. Покинув узкий скалистый выход порта, Битт-Бой круто положил руль влево и вел так судно около мили, затем взял прямой курс на восток, сделав почти прямой угол; затем еще повернул вправо, повинуясь инстинкту. Тогда, не видя вблизи неприятельского судна, он снова пошел на восток.

Здесь произошло нечто странное: за его плечами раздался как бы беззвучный окрик. Он оглянулся, то же сделал капитан, стоявший возле компаса. Позади них от угольно-черных башен крейсера падал на скалы Лисса огромный голубой луч.

— Не там ищешь, — сказал Битт-Бой. — Однако прибавьте парусов, Эскирос.

Это и то, что ветер усилился, отнесло бригантину, шедшую со скоростью двадцати узлов, миль на пять за короткое время. Скоро повернули за мыс.

Битт-Бой передал руль вахтенному матросу и сошел вниз к капитану. Они откупорили бутылку. Матросы, выпив тоже слегка «на благополучный проскок», пели, теперь не стесняясь, вверх; пение доносилось в каюту. Они пели песню «Джона Манишки».

Не ворчи, океан, не пугай.
Нас земля испугала давно.
В теплый край —
Южный рай —
Приплывем все равно.

П р и п е в:

Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка без обмана
Пьет за всех, кому пить лень!

Ты, земля, стала твердью пустой:
Рана в сердце... Седю... Прости!
Это твой
След такой...
Ну — прощай и пусти!

П р и п е в:

Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка без обмана
Пьет за всех, кому пить лень!

Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня
Корабли,
Да помилует нас!

Когда зачем-то вошел юнга, ездивший с запиской к
Эстампу, Битт-Бой спросил:

— Мальчик, он долго шпынял тебя?

— Я не сознался, где вы. Он затопал ногами, закричал, что повесит меня на рее, а я убежал.

Эскирос был весел и оживлен.

— Битт-Бой! — сказал он. — Я думал о том, как должны вы быть счастливы, если чужая удача — сущие пустяки для вас.

Слово бьет иногда насмерть. Битт-Бой медленно побледнел; жалко исказилось его лицо. Тень внутренней судороги прошла по нему. Поставив на стол стакан, он завернул к подбородку фуфайку и расстегнул рубашку.

Эскирос вздрогнул. Выше левого соска, на побелевшей коже торчала язвенная, безобразная опухоль.

— Рак... — сказал он, трезвея.

Битт-Бой кивнул, и, отвернувшись, стал приводить бинт и одежду в порядок. Руки его тряслись.

Наверху все еще пели, но уже в последний раз, ту же песню. Порыв ветра разбросал слова последней части ее, внизу услышалось только:

«Южный Крест там сияет вдали...», и, после смутного эха, в захлопнувшуюся от качки дверь:

«...Да помилует нас!»

Три слова эти лучше и явственнее всех расслышал лоцман Битт-Бой, «приносящий счастье».

ИСТРЕБИТЕЛЬ

I

Когда неприятельский флот потопил сто восемьдесят парусных судов мирного назначения, присоединив к этому четырнадцать пассажирских пароходов, со всеми плывшими на них, не исключая женщин, стариков и детей; затем, после того как он разрушил несколько приморских городов безостановочным трудом тяжких залпов — часть цветущего побережья стала безжизненной; ее пульс замер, и дым и пыль бледными призраками возникли там, где ранее стойко отстукивали мирные часы жизни.

Нет ничего банальнее ужаса, и однако нет также ничего стремительнее, что действовало бы на сознание, подобно сильному яду. Поэтому-то в прибрежных городах и селениях появилось множество сумасшедших. Глаза и неуверенность нелепых движений существенно выдавали их. Они никогда не плакали, — безумие лишено слез, — но произносили темные тоскливые фразы, от которых у слышавших их сильнее стучало сердце. Между тем неприятельский флот остановился в далеком архипелаге, где, как в раю, солнце мешалось с розовым отблеском голубой воды, — среди нежных пальм, папоротников и странных цветов; пламенные каскады лучей падали в глубину подводных гротов, на чудовищных иглистых рыб, снующих среди коралла. Из огромных труб неподвижных стальных громад струился густой дым. Тяжелое любопытное зрелище! Крепость и угловатость, зловещая решительность очер-

таний, соединение колоссальной механичности с океанской стихией, окутанной туманом легенд и поэзии,— сказочная угрюмость форм, причудливых и жестких,— все вызывает представление о жизни иной планеты, полной невиданных сооружений!

В одно из чудесных утр, среди ослепительного сияния радужного тумана, в неге сверкающей голубой воды, взрывая пену, к крейсеру «Ангел бурь» понеслась таинственная торпеда. Удар пришелся по кормовой части. «Ангел бурь» окутался пеной взрыва и погрузился на дно. Флот был в смятении; трепет и тревога поселились среди команд; назначались меры предосторожности; охранители, сторожевые суда и дозорные миноносцы, получив приказание, зарыскали по архипелагу, а в далекой стране сотни молодых женщин надели траурные платья, и сны многих осенило угрюмое крыло страха. Меж тем самые тонкие хитрости не помогли открыть виновников катастрофы, и это казалось изумительным, так как в тех диких водах не было других судов, кроме судов флота, разрушившего цветущие берега.

— Вы посмотрите,— сказал неделю спустя командир огромного броненосца «Диск» старшему лейтенанту,— посмотрите на эти орудия: они напоминают упавшие стволы лесов Калифорнии. Из всех жерл вылетают конденсированные воздушные поезда, сжавшие в своих округлостях вихри и землетрясения.

Он замолчал и повелительно осмотрел вечернее небо. В этот момент «Диск» дрогнул; свирепый гул скатился по его железным сцеплениям в потрясенную тьму, и броненосец получил смертельную рану.

В течение следующих недель были потоплены миноносцы «Раум», крейсера «Флейш», «Роберт-Дьявол» и две подводные лодки. Невозможно было предугадать или отразить катастрофические удары. Их как бы наносил океан. Казалось, в глубоких недрах его отражением напряженной действительности рождались громоподобные силы, принимающие сверхъестественным образом внешность реальную. Морской простор стал угрозой, небо — свидетелем, корабли — жертвами. Угрюмость и отчаяние поселились среди моряков. Тогда, желая раз и навсегда покончить с невидимым ужасным врагом, адмирал велел тайно вооружить две парусные шхуны с тем, чтобы, плавая по архипелагу, они, защищенные безобидностью своего мнимого назначения, старались отыскать неприятеля. Последний, несмотр-

ря на всю осторожность, с какой действовал, мог, наконец, пренебречь ею в виду парусной скорлупы, чего, конечно, не допустил бы с военным разведчиком. Одна шхуна называлась «Олень», другая «Обзор». На «Олене» был капитаном Гирам, человек странный и молчаливый; «Обзором» командовал Лудрей, веселый пьяница апоплексического сложения. Пустившись на розыски, суда взяли противоположные направления: «Обзор» двинулся к материку, а «Олень» — к югу, в пустынное лоно вод, где изредка можно было встретить лишь скалистый риф. На рассвете следующего дня был густой белый туман. К «Обзору» кинулась бесшумная торпеда, разорвала и потопила его, а «Олень», застигнутый тем же туманом, находился в это утро неподалеку от архипелага. Паруса, заполоскав, сникли. Ветер исчез.

Гирам вышел на палубу. В матово-белой тьме, насыщенной душной влагой, царило совершенное молчание. Дышалось тяжело и тревожно. На баке матрос чистил гвоздем трубку, и скрип железа о дерево был так явственно близок, как если бы эти звуки раздавались в жилетном кармане.

II

Гирам некоторое время смотрел перед собою, словно мог взглядом разогнать туман. Затем, бессильный увидеть что-либо, он сел на складной стул в странном, полугипнотическом состоянии. Оно пришло внезапно. Капитан не дремал, не спал, его ум был возбужден и ясен, но чувствовал он, что при желании встать или заговорить не смог бы выполнить этого. Однако он не беспокоился. Ему случалось переходить за границу чувств, свойственных нашей природе, довольно часто, начиная именно подобным оцепенением, и тогда что-нибудь вне или внутри его принимало особый истинный смысл, родственный глубокому озарению. Скоро он услышал шум воды, рассекаемой невидимым судном. По стуку винта можно было судить, что оно проходит совсем близко от «Оленя». Два человека разговаривали на судне; не громко, но так явственно, что все слова, с грустным и величественным оттенком их были слышны, как в комнате:

— Что происходит с нами?

— Не знаю.

- Мы, как во сне.
- Да, это не может быть действительностью.
- Где остальные?
- Все на том свете.
- Кругом море, и нам не уйти отсюда.
- Кажется, сегодня туман.
- Я чувствую сырость и тяжесть в груди.
- О, как мне больно, как безысходно горько!
- В тьме родились мы и в тьме умираем!

Шум отдалился, голоса стихли.

Гирам встрепенулся. Стоя за его плечами, вахтенный офицер вполголоса приводил свои соображения относительно неизвестного судна. Он думал, что оно весьма подозрительно.

— Вы слышали разговор, Тиррен? — спросил капитан.

— Я слышал действительно невнятное бормотание, но был ли это разговор, или проклятие, решать не берусь.

— Нет, это был разговор и очень странный, чтобы не сказать больше.

— А именно?

— Признаюсь, я не мог бы передать его содержания. Однако туман редет.

Туман, точно, редел. Под белым паром просвечивала заспанная вода, а сверху наметился мутный голубой тон. Вскорости, рассекаемый золотым ливнем, туман распался стаями белых теней, в апофеозе блистающих облаков открылось океанское солнце. Сникшие паруса, взяв ветер, крылато потянулись вперед, и «Олень» двинулся дальше, на поиски истребителя. Как ни осматривал горизонт капитан Гирам, — нигде не было видно следов недавно проскользнувшего судна.

III

Прошла неделя. «Олень» безрезультатно вернулся к своему флоту, который тем временем потерпел еще две значительные потери. Так как не было оснований ожидать прекращения военных действий со стороны невидимого врага, то адмирал дал приказ идти в море. Флот направился к берегам Новой Зеландии.

Когда он ушел, когда его одуряющее присутствие, его гарные запахи и металлические звуки исчезли, — архипе-

лаг вернул своим лагунам и островам их прежнее выражение — роскошь страстного творчества, и снова стало казаться мне, свидетелю тех событий, что к этим оазисам в живописном сиянии тонко окрашенных лучей летят райские птицы с оранжевыми и синими перьями.

В бурную ночь, когда дьявол тьмы, взбесившись, поднимал истерзанные волны, целуя их с пеной у рта, за борт почтового парохода упал матрос Кастро. Он хорошо плавал, но, выбившись наконец из сил, потерял сознание и очнулся на пустынных камнях, в утренней тишине маленького залива, куда погибавшего выбросило случайной волной. Кастро был разбит ужасом и усталостью. Однако уголок океана, приютивший его, был так прелестен, что к несчастному немедленно снизошло настроение ясной жизни. Тесный круг сияющих скалистых зубцов отражался в дымчатой синеве моря, а глубина залива, полная облаков, дышала сказочными намеками. Оглядевшись, Кастро заметил недалеко от себя спину подводной лодки, дремлющей в тени каменного навеса. Удивленный таким неожиданным обстоятельством, матрос долго рассматривал опасное судно, пока на его площадку не вышли изнутри два человека, из которых один был, видимо, слеп, так как двигался неуклюжей ощупью, с закрытыми глазами; его лицо, завешенное изнутри тьмой, было грубовато и грустно. Второй, явный моряк, бородач, решительной внешности, говорил с первым, наклоняясь к его уху, и Кастро, хотя прислушивался, ничего не расслышал. Затем оба они скрылись внутрь лодки; через несколько минут она продвинулась к скале, и тот же моряк вышел на мостик один, с сумкой за плечами и палкой в руке. Он спрыгнул на камни и, поспешно шагая, скоро увидел Кастро.

— Остановитесь, приятель,— сказал матрос,— и если прогулка наша не выйдет длинной, уделите мне чуточку чего-либо съестного.

— Что ты за человек?— подозрительно спросил неизвестный.

— Я человек, умеющий хорошо плавать. В эту ночь меня смыло за борт; но я очень сердит; я рассердился и спасся.

— Идем,— помолчав, сказал моряк.— Моя прогулка длинна, но нам хватит галет.

И молча, осторожно рассматривая друг друга, они выбрались из каменного хаоса побережья в тихую пустыню.

— Приятель!—заговорил, не выдержав, Кастро.—Я по природе не любопытен, но если вы не видите во мне врага, то расскажите, как попала в это глухое место подводная лодка? Мы идем вместе. Я ем вашу галету, путь, кажется, предстоит не близкий, так как нет нигде признаков какого-либо селения, а потому осмеливаюсь просить вас приоткрыть маленький уголочек сих странностей.

Неизвестный ничего не ответил, улыбнулся и заговорил о другом, а Кастро в течение дня еще раза три пытался навести разговор на ту же тему, но лишь когда они заночевали у костра под придорожной скалой, моряк открыл тайну подводной лодки:

— Мы плыли из Европы с минным отрядом и,—долго рассказывать, как это произошло в подробностях,—после трех суток бурной погоды потеряли из виду свой отряд, крейсируя вблизи этого берега.

Наконец, волнение стихло; мы остановились неподалеку от старенького монастыря, погрузившего свои белые стены в зелень и аромат цветущих апельсиновых садов. Там жили слепые, тринадцать человек, схоронивших блеск дня и алмазные огни ночей в унылой тьме трагического рождения. Скоро, нуждаясь в пресной воде, я, захватив часть команды, отправился в монастырь.

Пока матросы, руководимые монахами, делали свое дело, я присел в саду; обвеянный теплым ветром, уставший, я не мог противиться смыканию глаз и скоро уснул, а когда очнулся, была ночь. Взошла луна, разостлавшая белый мир среди черных теней. Я вскочил и тревожно стал звать команду. Тогда вздохи и шорохи наполнили сад, и тринадцать слепых мужчин медленно окружили меня, всматриваясь слепыми глазами.

— Вот наш командир,—он ждал нас, и мы пришли.

— Мы знаем его,—сказали другие,—но он еще не узнает нас. Капитан Трен, ведите свою команду!

Я был в страхе, но не мог противиться ничему, что совершалось в ту ночь, как не мог бы противиться вулканическому эксцессу. Я спросил:

— Где мои люди?

— Посмотри,—сказали они, указывая на лужайку, блистающую лунным покоем,—они теперь дома и пробудут среди семей до тех пор, покуда мы не вернемся.

Я увидел всех пришедших со мной и тех, кто остался на «Этне». Как попали они сюда? Все спали в траве, с улыбкой сладкого отдыха. Тогда нечто, сильнее меня, наполнило мою душу трепетом и грустным безмолвием. Я двинулся, окруженный слепыми, к морю; с ними же вошел в подводную лодку и здесь, друг Кастро, я увидел, что слепые все видят.

Да, я подозреваю, что мои сны, мои отчетливые сновидения за прошедший месяц — были действительно. Я просыпался около полудня, всегда в той бухте, где ты встретил меня, как будто «Этна» никогда не покидала ее, и со мной были подлинные слепые, бродившие ощупью в непривычном им сложном помещении военного судна; они громко жаловались на диковинную перемену жизни, спали, много ели и вечно ссорились, и я — объясни мне это? — не мог уйти, как если бы лодка висела на высоте тысячи метров; но, мгновенно засыпая с закатом солнца, видел во сне, что отдаю приказание, что все тринадцать слепых с быстротой и опытностью истинных моряков кипят в боевой работе и что, выплывая рядом хитрых маневров к самому пеклу неизвестного военного флота, мы топим суда, всегда ускользая обратно, а после этого плачем в безысходном отчаянии.

Сегодня меня оставила эта чужая сила, как тучи оставляют поля; я глубоко вздохнул и ушел... Слепые исчезли, остался один, самый старый и равнодушный ко всему, что может произойти с ним. Быть может, на «Этну» скоро вернутся мои проснувшиеся матросы.

— Что же это за монастырь? — спросил Кастро. — Какие демоны живут в нем?

— Не знаю. Но здесь вообще, как я слышал, появилось множество сумасшедших. Они бродят и бредят, — всегда бредят о сияющих берегах, разрушенных синевой моря.

Г Р И Ф

I

ГИМН

Великий лев! Очаровательный спартанец! Дикая победоносная кошка! Гривастый огонь! Шалун с лицом старого капитана! Рык и гнев!

Да славна будет порода твоя, твои толстоголовые котята!

Желаю тебе много мяса, камышей и лунного света!

II

ОШИБКА СТОРОЖА

Тадеуш был пьян. Прислонившись спиной к огромной стальной клетке, по которой безостановочно и бесшумно ходили два льва, поляк думал о коварной Анельке, подарившей свое, не первой свежести, сердце ресторанному повару.

Львы Гриф и Астарот, ступая с могучей мягкостью гигантских кошек, расхаживали по диагонали клетки навстречу один другому, не сталкиваясь, поворачиваясь всегда на одном и том же месте с точностью заводных фигур.

Астарот был стар, с впалыми линияющими боками и худым хвостом. По клетке он ходил двадцать два года.

Гриф был молод, в расцвете сил, массивен, космат и статен. По клетке он ходил восемь лет и помнил еще озеро Чад. Изредка ужасное «Х-грар-р-р!», подобное коротким раскатам грома, вырывалось из горячей его пасти.

Астарот отвечал тем же.

Они говорили:

— Я в клетке!

— Тресни она! И я в клетке!

На задней цементной стене львиной тюрьмы метались их тени.

Тадеуш долго смотрел на пол, утирая слезы любви, затем, махнув рукой, отпер клетку, вошел в нее и сказал:

— Лев! Грифочка! А, Гриша! Съешь меня!

Гриф остановился, сморщился, вытянулся на передних лапах и улыбнулся. Улыбка его напоминала выражение лица человека, собравшегося чихнуть.

— А-хр-гра-р-р?.. — сказал он. (От тебя пахнет водкой. Ты не злой?..)

— Так что, зверюги, растерзайте меня, — продолжал, всхлипывая, Тадеуш. — Пусть она, подлая, тешится моими кусочками. Излохматьте меня, жизнь моя горькая!

— Гра-р! — сказал Астарот. (Скучно. Каждый раз то же самое.)

Тадеуш стоял, покачиваясь. Разжалобив себя, сколько мог, тщетными увещеваниями к зверям использовать его как ужин, сторож наконец расплакался навзрыд, изругав львов уличной бранью, и побежал в не столь отдаленный переулок за порцией «кали-мали».

Разбитое сердце погубило его пьяную память. Он забыл запереть дверь клетки.

III

«БЕЖЕНЕЦ» НОВОГО ТИПА

Львы снова принялись ходить по диагонали, но скоро внимание Грифа было привлечено узкой блестящей щелью между замком и стальной стойкой. Лев изучил каждый дюйм клетки. Он знал, что в этом месте щели никогда не бывает. Лев тронул щель лапой: дверь хлопнулась и открылась шире (вовнутрь). Гриф раскрыл ее легким движением головы.

Астарот, остановившись, смотрел.

— Г-р-р! — сказал Гриф. (Астарот, я удивлен. Тут пуста, свобода!)

— А-х-гр-рг-рах! (Не верю, клеток много на свете.)

Новый взрыв грома. Длительно и грозно заревел Гриф, скакнув в коридор. Астарот беспокойно метался в клетке, но не выходил. Его опустошенное сердце волновалось непонятной тоской.

— Ра-грам-ронг! — ответил Гриф. (Я уйду, старик!)

Астарот молчал.

Обезьяны подняли визг, скача, подобно крошечным безумным старушкам. Дикобраз проснулся и зашуршал иглами. Маленький гималайский медведь вдруг почувствовал себя смертельно обиженным, влез на свою качель, доска которой была украшена надписью: «Миша качается». и, скрючив босые пальцы, проворно залетал взад-вперед. Ипуская тонкие, скулящие возгласы.

Гриф бросился на струю свежего воздуха, лившуюся из-под входной двери. Разбив дверь могучим скачком, зверь прыгнул через садовую ограду и начал производить сенсацию.

Почти тотчас же, как ушел лев, вернулся Тадеуш. Он мгновенно протрезвел, запер Астарота, схватился за голову и побежал к телефону.

IV

СВИНЬЯ. ДВА «ЛЬВА»

За оградою был пустырь, за пустырем — деревянные заборы и уединенные дома окраины.

Гриф остановился среди пустыря и огласил громом окрестность. Тотчас же где-то кто-то пустился бежать. кто-то закричал «караул», — и добрая сотня собак затявкала в различных местах города.

На одном из дворов плотный мужчина с уравновешенно-жирным лицом смотрел на розовую ушастую свинью. хлюпавшую пойло из кадки. Мужчина держал фонарь, поглаживая свободной рукой бороду.

— Лопай, Машенька, — вдумчиво говорил он, — потом хозяина кормить будешь.

— Хрюх! — сказала свинья.

— Правильно дело. Впрочем, — продам я тебя за сто тысяч... Не свинина, а бриллиант. За полтора ста отрекусь от тебя.

Тут произошло нечто: свинья, пронзительно завизжав сшибла хозяина, и, падая, увидел он в вспышке потухающего фонаря грозное чудовище с острым пламенем круглых глаз, заносящее над свиньей лапу, в позе геральдических львов, то есть величественно.

— А-гр-р-р-р!.. — сказал Гриф. (Это свинья!)

Он лишил ее дыхания и стал есть. Кто-то, вопя, бежал к дому. Там замелькали огни, захлопали двери. Оберегая

свое отличное настроение, Гриф захватил ужин и вернулся на пустырь. Закончив дело уничтожения полтора ста тысяч, лев быстро направился к изумляющим его огням трамвайной линии и отсветам окон, где раздавались шум, звон и неясные выкрики.

Вообразите себя тихо переходящим небольшую площадь, где скрещиваются трамваи, — нынешнюю полутемную площадь. Магазины еще торгуют: вы видите наискось в белых квадратах витрин озаренные блузки, чемоданы, роскошные краски фруктов; вы настроены мирно. И вот видите вы в скупом свете фонаря присевшего на задние лапы огромного, черного от полутьмы льва.

Видение или большая собака?!

Именно это увидели на углу Залихватской и Остолбенной улиц сразу тридцать два человека, не считая множества лошадей, ноги, шеи, хвосты и гривы которых мгновенно составили прямые линии, ринувшиеся с великим «игого-го!» куда попало.

Тридцать два человека присели, задохнулись, подскокили и произвели неопишемую суматоху.

Все бежало; лавки закрывались, двери гудели.

Гриф беспомощно, тоскливо оглядывался, изредка посылая раскаты грома: рев льва!..

Где же пустыня? Везде стены, костры вверху и внизу. Ничего не понять.

Сильное возбуждение охватило Грифа. Он метался по площади, до вскакивая на тротуар, то исчезая в тенях углов. Наконец он помчался вдоль улицы.

Лев Пончик, главный по соде и макаронам, благодушно сидел в «Кафе мародеров». Сиял он, сияли его перстни, сиял оранжад в высоком стакане. Лев Пончик был щедущен и мал ростом, но носил высокие каблуки.

Вошел Гриф и опрокинул кафе. Сначала он медленно спустился по ступенькам входа и встал, колотя хвостом. Глаза его горели, как люстры. Затем он молча прыгнул в середину прохода.

Пончик сидел спиной к Грифу.

— Зачем смятение, господа? — внушительно проголосил он, видя, что все лезут под столы, давя друг друга. — Что? Милиция? Обход? Когда я свободный гражданин...

— Лев! — крикнули сзади из-под стола.

Думая, что это — личное к нему обращение, Пончик уже хотел рассердиться на подобную фамильярность и с досто-

инством обернулся. А затем присел перед стулом, приподнял шляпу, чем-то подавился и вытащил почему-то бумажник.

Перед ним стоял Гриф.

Состоялась величественная встреча двух львов.

Пончик замахал руками и упал в обморок.

Гриф поднял его зубами за спину пиджака и сильно встряхнул. Шурша, посыпались из карманов деньги.

Заинтересованный Гриф выпустил Пончика, отчего тот брякнулся в кофейную лужу, и презрительно обнюхал бумажник.

— Раг-х! — коротко сказал он. (Не понимаю, чем он набит!)

Гриф покинул кафе и отправился в ужасной тоске далее.

V

«ЭТО МЫ». ЛЕВ И ШАКАЛЫ.

ЧЕГО БОЯТСЯ ЛЬВЫ. КОНЕЦ

Довольно значительная толпа двигалась по одной из главных улиц. Впереди толпы два человека несли внушительных размеров черное знамя. На знамени стояло: «Это мы». Несравненно более скромное, чем, например, объявление кинематографа, заявление это, однако, сильно смущало прохожих: почти все встречавшие процессию боязливо раступались, сворачивая в боковые улицы.

Навстречу им мерным шагом совершающего моцион зверя вышел и остановился Гриф.

Он зарычал.

«Это мы» заколыхалось, вздрогнуло и повлеклось по земле. Передние ряды, мгновенно став задними, поползли на карачках, пытаясь, подобно страусам, затолкать свои головы меж туловищами бегущих. Бестолково затрещали револьверы. Не прошло минуты, как Грифу не на кого было уже нападать.

Смущенный быстрым исчезновением неприятеля, который, как показалось ему, скрылся, чтобы напасть сзади или окружить его, лев решил переждать. Легкими скачками взобрался он по некой освещенной лестнице.

Одна из дверей была раскрыта. Люди, выходящие из нее с уздами, увидели, как на картине, мясистую жесткогровую голову. Два верхних клыка пасти висели вниз, дымясь горячей слюной.

Лев встрепенулся. От людей несло особым, хорошо знакомым ему запахом истребления, вернее, нервным током убийства. Он сшиб лапами одного грабителя, упавшего замертво. Другой, бросив узел, прыгнул в раскрытое окно и ухватился за водосточную трубу, но оборвался — с пятого этажа. Эхо, раздавшееся внизу, напоминало звук раскола того полена.

Дрожа от гнева, Гриф пробежал ряд комнат, разыскивая новых врагов.

Внезапно из дверей кухни выступило нечто живое, полуголое, ростом немного ниже глаз Грифа. В одной руке оно держало нечто круглое — красное, вившееся на короткой нитке. Ужасный, ледящий душу звук огласил квартиру.

— А-а-а-а-а!.. — пронзительно верещало это.

Лев попятился. Оно хлопнуло его круглым — красным по лбу, отчего красное лопнуло, как выстрелило; затопав, оно залилось снова:

— А-а-а-а! М-а-а-м-ма!

Лев струсил. Он беспомощно оглядывался, но кругом были три стены коридора и оно. Бегство немыслимо! Пытаясь умиловить его, лев лизнул это в щеку, отчего оно пошатнулось и шлепнулось. Гриф снова лизнул, оно опрокинулось. Вдруг, задрожав, лев отпрыгнул и скорчился в углу: оно заголосило так звонко, что сердце менее храброго зверя лопнуло бы от страха.

В этот момент, глухо вскрикнув, вошла женщина. Она не упала в обморок, но, бескровно побледнев, стояла несколько мгновений, упираясь ладонями и спиной в стену; затем, стиснув зубы, подошла к мальчику, вынесла его на площадку и, шатаясь, заперла дверь.

Гриф облегченно вздохнул.

Женщина, крепко прижимая сына к груди, спустилась к телефонной будке и позвонила в комиссариат. Трубка бешено плясала в ее руке.

— Вот, — сказала она. — Нижегородская улица. Дом сто двадцать один.

— Что вы хотите? Мы заняты.

Слова еще не вполне повиновались ей. Наконец, она нашла силу договорить.

Она сказала:

— Здесь лев!

БЕЛЫЙ ОГОНЬ

I

«Зал художественных аукционов» — коммерческое учреждение, основанное, как гласила вывеска, в 1868 г., лишилось ценного служащего. То был Джозеф Лейтер, повесивший ударами молотка на золотые гвозди покупателей десятки тысяч картин.

Он продавал с азартом, с пламенным ожесточением поведника. Его глаза, налитые нервным блеском, останавливались на лицах колеблющихся соперников с затаенным льстивым восторгом; скромно опуская ресницы или вдруг насмешливо озирая публику, он подстрекал самолюбие, дразнил жадность, медля опустить молоток, срывая последние судороги запоздавшего аппетита; он в совершенстве постиг власть пауз, выкрикивая ни раньше, ни позже, но именно в нужный момент, с оттенком непоправимой потери: «Восемьсот слева! Спереди — центр — тысяча! Сзади — направо — три, — три тысячи сзади; три, три, три, — кто более?!» — в результате чего кто-нибудь, как бы слыша вызов или презрение, бросал решительную надбавку.

Обстоятельства сложились так, что один из сподвижников Лейтера заболел, другой переменял место, а третий был рассчитан за мошенничество, почему последние одиннадцать дней Лейтер безотлучно стоял на аукционной эстраде. Надсаживаясь и хрипя от переутомления, с горлом, повязанным платком, небритый, бледный и грязный, он не выпускал молотка, следя за выражением лиц, подобно опыт-

ному рыболову, которому вздрагивание лесы точно говорит о величине и породе рыбы, схватившей приманку. Его голос срывался, рука дрожала; ослабевающее внимание упускало важные моменты тишины; теряя способность угадать, что даст следующая минута, — падение молотка или взрыв надбавок, — он делал непростительные ошибки, выходя из ритма общего внутреннего движения, теряясь без нужды на вялые моменты и плохо соображая там, где следовало подчеркнуть большую игру.

У его левой руки, меняя форму и силу, сверкала вечная человеческая душа, выраженная художественным усилием. Она появлялась, исчезала и появлялась вновь с номером на лице. Картина, статуя, вышивка, гобелен, бронза, камей, этюд, рисунок, медальон, бюст — и каждый раз в каждом творении Лейтер находил немного себя, тотчас продавая это немного тем, кто владел силой зажать рот чужому желанию безнадёжным холодом высокой цены.

Последний месяц по количеству вещей, выброшенных на аукционные рынки, был исключителен. В том мире есть шквалы и штили, затмения и ясные дни, приливы и отливы. Эпидемия продаж подобна чуме, в силу обстоятельств весьма сложных и значительных для того, чтобы была возможность без надобности объяснить их в кратком повествовании.

Эта эпидемия, этот непрерывный трепет души, выраженный трагическим усилием и ощупываемый грязной ладонью художественной похоти, треплющей ее по щеке с видом глубокомыслия, — выяснил, наконец, полное бессилие Лейтера стучать впредь молотком по карману и нервам. Решительную роль сыграл рисунок Берн-Джонса — узкая полоса желтой бумаги с изображением обнаженной женской руки. Еще ранее Лейтер останавливался перед этим рисунком со вздохом тихого облегчения. У Лейтера было второе внутреннее лицо, над которым он не задумывался.

Эта совершенно прекрасная рука, вытянутая горизонтально от плеча до кисти, которая слегка свешивалась с нежным и твердым выражением, объясняла нечто неназываемое так бесспорно, что зрителю оставалось лишь отвечать ей мыслью и чувством так же красиво и чисто, как красиво и чисто было изображение.

— Рисунок Берн-Джонса! — провозгласил Лейтер. — Собственность Марка Твида, заявленная цена двести... — Привычным движением он поднял свою руку и вдруг уви-

дел ее по-новому. Эта рука с нечищеными ногтями тряслась в грязной манжете, облитая набухшими жилами.

Произошло некоторое смещение предметов и мыслей, подобно тому, что называется «двоится в глазах». Лейтер милостиво улыбнулся; у него было сухо и горько во рту, скверно и разносторонне противно на душе. С остротой боли вдохновенно подметил он все оттенки идиотизма, рассеянные в физиономиях, увеселился и рассмеялся. В то же время на него направились глаза всех портретов и статуй. Он выпрямился.

— Я имею сказать,— захрипел Лейтер,— что этот рисунок должен быть куплен безусловно по цене небесной зари. Это оттого, что я очень устал. Давно уже замечаю я, что покупаете вы множество всякой дряни, до которой вам, как и до Берн-Джонса, нет никакого дела. Однако я желал бы продать этот рисунок, предварительно узнав, был ли покупатель рожден женщиной. Закрываю аукцион!

На него хлынул туман, заставив отступить к стене; бормоча: «попала мне пальцем в глаз какая-то шельма»...— он был подхвачен усердными руками служащих. И неторопливые, степенные, безусловно приличные, вполне нормальные люди отвезли Лейтера в больницу умалишенных.

II

— Довольно!—сказал Лейтер, еще не открывая глаз.— Я не хочу вашего супа. От него делается изжога. С меня достаточно чая, хлеба и масла.

Никто ему не ответил. Он сел и осмотрелся с досадой, тотчас уступившей место глубокому изумлению.

Он находился в глухом лесу, у ствола старого дуба, на краю узкого зеленого луга, замкнутого со всех сторон чащей. Блаженное утреннее солнце поджигало траву. Веселый аромат сырости, зелени и земли возбуждал легкие. За деревьями, в гнездах лесного мрака вспыхивали зеленые искры. Ближайшие птицы, подхватывая или перебивая далекое щебетание, раздражались неистовой трелью; бабочки, сидя на цветах, медленно поникали крыльями; бродил свет, трепетали тени, дымилась роса.

Лейтер, сжав голову, минут пять осваивался с положением, пока не натолкнулся на единственное правильное толкование происшедшего.

— Я бежал,— сказал он, внимательно прислушиваясь к своему голосу, с тревожной и добросовестной подозрительностью человека, не вполне уверенного в благополучном состоянии собственного рассудка.— Да, я, очевидно, бежал из больницы,— тресни она. Я был болен. Теперь, кажется, я здоров, я чувствую, что я здоров, так как у меня нет больше этой проклятой тоски.

Невероятным усилием вырвал он из недр ослабевшей памяти блеск лунного окна, расшатанную решетку и четыре пустых бочки, поставленных одна на другую в углу садовой стены.

— Прекрасно,— продолжал он.— Сделаем экзамен рассудку: «Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками».— «Сомнение в собственном сумасшествии должно быть признано доказательством психического здоровья». Я — Джозеф Лейтер, тридцати лет, нахожусь в дикой лесистой местности. с явным желанием немедленно вернуться домой к обычным своим занятиям.

Но он уже понимал, что выздоровел,— и без этих навязных упражнений,— быть может, благодаря потрясению свободы, добытой путем связанных усилий, долгому сну, отдыху,— вернее же всего — силой тех душевных течений, какие при остром помешательстве, бурно выйдя из берегов, скоро нащупывают прежнее основное русло.

Успокоенный и почти счастливый,— так как полному счастью мешало тревожное нетерпение выбраться возможно скорее к заселенным местам,— Лейтер обошел лесной луг, избирая верное направление. По теням скоро заметил он, что двигается спиной к западу, и тотчас повернул обратно, сделав спустя короткое время привал ради орехов и диких слив, что, утолив голод, не вернуло, однако, его смягченному воспоминанию о больничном супе прежнего отвращения. Затем Лейгер продолжал путь, следуя течению маленького ручья, бегущего к западу.

В поту, с ободренным лицом и руками, он делал милое за милое то вброд, то по руслу, если растительность, свисавшая над водой, мешала идти берегом, то проваливаясь в овраги, заваленные буреломом, или продираясь в густой тьме, с клочком неба над головой, сквозь заросли, вызывавшие припадок сердцебиения. Чем больше он уставал, тем острее подгоняла его сама усталость, которую он стремился опередить, оставив лес позади. Меж тем, вначале маленький, как струя воды из опрокинутого ведра, ручей расши-

рился; его течение нарастало, ширина увеличивалась, а призрачный блеск мелкого песчаного дна медленно угасал, оставляя местами воду черной, как полоса бархата, трепещущая под ветром. Изменялся характер берегов: довольно просторная опушка, усеянная мысами и желтыми мелями, незаметно образовала крутые обрывы, к осыпям которых в угрюмой тесноте и вечном молчании подступали прямые влажные стволы чащи. Их вершины разделялись высоко над головой Лейтера извилистой синей щелью; внизу бродил искаженный свет, еле шевеля черноту потока серыми отблесками. Лейтер принимался кричать, но крики возвращались к нему тупым эхом, запертым на замок. Затем отстаивалась прежняя тишина, нарушаемая так внезапно и редко, что испуганный слух болезненно переносил эти краткие нарушения; подавленный, угнетенный, бессильный, с извращенным удовлетворением раба, возвращался он к прежнему состоянию покорного напражнения. Плеснула рыба, выдра прошумела в траве, скакнула и заверещала пума; отдаленный треск, ворочаясь, как кора в огне, звучал дикой тоской. Эти явления разделялись долгими промежутками лесного безмолвия.

Так проходил день, пока, наконец, не увидел Лейтер впереди себя, сквозь стволы, поворота течения, род просвета, заполненного сверкающей белизной. Вначале показалось ему, что это известковый утес, чему он весьма обрадовался, надеясь с высоты обозреть местность, но, приближаясь, был вынужден неоднократно останавливаться, так как белое нечто усложнялось странными очертаниями, напоминающими группу человеческих тел или статуй; Лейтер протер глаза. Между тем сомнениям все менее оставалось места; уже, заслоненный ветвями, мелькнул впереди мраморный профиль, за ним другой, третий и, наконец, тонкий рисунок фигуры, стоящей где-то вверху, в полных, как веселый крик, лучах солнца, поднявшегося к зениту.

Лейтер отвернулся, пятясь спиной к таинственному явлению, в надежде, что оно, если, приближаясь, он станет к нему вдруг снова лицом, рассеется, подобно туману; однако поймал себя на том, что невольно прибавляет шагу, подгоняемый любопытством. В том месте лес отступал и был значительно реже; лишь там, где сверкала чудная белизна, его крылья вновь смыкались у берегов пышными остриями. Лейтер не выдержал. Он обернулся шагах в двадцати от зрелища, которое, раскрывшись теперь вполне, исторгло

у него крик изумления. Не бред, не галлюцинация поразили его. Пред ним блистало подлинное произведение чистого и высокого искусства, брошенное, подобно аэролиту,— телу непостижимой звезды,— в стомильные дебри лесной пустыни.

Здесь берега ручья несколько возвышались, образуя естественные устои, на которых держалось сооружение. Это была мраморная лестница без перил, согнутая над ручьем высокой аркой, с круглым под ней отверстием, в которое, серебрясь и темнея, шумно устремлялся поток. Оба конца лестницы повертывались внизу легким винтообразным изгибом так, что нижние их ступени почти сходились, образуя как бы рассеченное снизу кольцо. По лестнице, улыбаясь и простирая руки, сбегал рой молодых женщин в легкой, прильнувшей движением воздуха одежде; общее выражение их порыва было подобно звучному веселому всплеску, овеянному счастливым смехом. Две нижних женщины, коснувшись ногой воды, склонялись над ней в грациозном замешательстве; следующие, смеясь, увлекали их; остальные, образуя группы и пары, спешили вслед, и с их приветливо вытянутых прекрасных рук слетала улыбка.

Это мраморное движение разделялось на обе стороны лестницы, с живописным разнообразием, столь естественным, что строго рассчитанная гармония внутреннего отношения форм казалась простой случайностью. Центром чуда была легкая фигура девственной чистоты линий, стоявшая наверху, с лицом, поднятым к небу, и руками, застывший жест которых следовало приписать инстинкту тела, ощущающего себя прекрасным. Они были приподняты с слабым сокращением маленькой кисти, выражая силу и стыд, смутную прелесть юной души, смело и бессознательно требующую признания, и запрещение улыбнуться иначе, чем улыбалась она, охваченная тайным наитием.

Внизу и на верху лестницы, свешивая ползучие ветви, покрытые темными листьями, стояло несколько плоских ваз. Растения, выбегающие из них, были, по-видимому, посажены здесь давно, так как, пробравшись на самую лестницу, Лейтер заметил, что земля в вазах и дикий вид старых ветвей, почти высохших, помечены рядом лет. Но ничто не говорило о древности самих ваяний, в них чувствовалась нервная гибкость и сложность новых воззрений, мрамор был бел и чист, на медной доске, врезанной под нога-

ми верхней прекрасной женщины, чернел крупный курсив: *«Я существую — в силе, равной открытию»*.

Какой замысел, какой глубокий каприз, какая могучая прихоть крылись под этой надписью? Более двух часов провел Лейтер, рассматривая фигуры, созданные неизвестным резцом для того, чтобы навсегда помнил их лишь некий случайный и, — мнилось — столь редкий в этих местах, что самое появление его здесь следовало считать чудом, — одинокий бродяга.

От лестницы ручей резко поворачивал к югу. Лейтер, держась прежнего направления, покинул место, осененное святым мрамором, и через два дня достиг, наконец, поселка, оказавшегося так далеко от города, что он сел в поезд.

Врачи подтвердили его выздоровление, хотя, расскажи он им о своем открытии, больница могла бы его вновь пригласить к супу, вызывающему изжогу. Но другим, тем, кто не имел к психиатрии ни малейшего отношения, Лейтер рассказывал о прекрасной мраморной группе. Никто не верил ему; он стал повторять рассказ все реже и реже, сохранив его, наконец, только для одного себя.

КАНАТ

Посмотри-ка, кто такой
Там торчит на минарете?
И решил весь хор детей:
«Это просто воробей!»

Величко

I

Если бы я был одержим самой ужасной из всевозможных болезней физического порядка — оспой, холерой, чумой, спинной сухоткой, проказой, наконец, — я не так чувствовал бы себя отравленным и погибшим, как в злые дни ужасной и сладкой фантазии, закрепостившей мой мозг грандиозными образами человеческих мировых величин.

Кому не случалось, хоть раз в жизни, встретить на улице блаженно улыбающуюся личность, всегда мужчину, неопределенного или седоволосого возраста, шествующего развинченной, но горделивой походкой, в сопровождении любопытных мальчишек, нагло смакующих подробности нелепого костюма несчастного человека?

Рассмотрим этот костюм: на голове — высокая шляпа, утыканная петушьими и гусиными перьями, ее поля украшают солдатская кокарда, бумажка от карамели и елочная звезда; сюртук, едва скрепленный сиротливо торчащей пуговицей, испещрен обрывками цветных лент, бантами и самодельными орденами, из которых наиболее почетные, наиболее внушительные и грозные обслужены золотой бу-

магой. В руке безумца палочка с золотым шариком или сло-
манный зонтик, перевитый жестяной стружкой.

Это — король, Наполеон, Будда, Христос, Тамер-
лан... все вместе. Торжественно бушует мозг,
сжигаемый ядовитым светом; в глазах — упоение
величием; на ногах — рыжие опорки; в душе — престолы
и царства. Заговорите с грандиозным прохожим — он мет-
нет взгляд, от которого душа проваливается в пятки пя-
ток; вы закуриваете, а он видит вас, стоящего на коленях;
он говорит — выкрикивает, весь дергаясь от полноты вла-
сти: «Да! Нет! Я! Ты! Молчать!» — и эта отрывистая ис-
терика, мнится ему, заставляет дрожать мир.

Такой-то вот дикой и ужасной болезнью, ужас-
ной потому, что — перевернем понятия — у меня бывали
приступы просветления, я был болен два года тому назад,
в самую счастливую, со стороны фактов, эпоху моей жиз-
ни: брак по любви, смешные и хорошие дети — и золо-
то, много золота в виде бледных желтых монет, — наслед-
ство брата, разбогатевшего чайной торговлей.

II

Я потерял в памяти начало болезни. Я никогда не мог
впоследствии, не могу и теперь восстановить то крайне
медлительное наплывание возбужденного самочувствия,
в котором постепенно, но ярко меняется оценка впечатле-
ния, производимого собой на других. Приличным случаем
примером может здесь служить опрокинутость музыкально-
го впечатления, вызываемого избитым мотивом. Нормаль-
ный порядок дает вначале сильное удовольствие, пони-
жающееся по мере того, как этот мотив, в повторении оста-
ваясь одним и тем же, заучивается детально до такой сте-
пени, что даже беглое воспоминание о нем отбивает всякую
охоту повторить его голосом или свистом.

Такая избитость мотива делает его надоедливой и пус-
тым. Теперь — если представить шкалу этого привыкания
в обратном порядке — получится нечто похожее на шествие
от себя, как от обыкновенного человека, к восхищению
собой, — во всех смыслах, — к фантастическому, счаст-
ливому упоению.

Я не могу точно рассказать всего. Меня это волнует. Я
как бы вижу себя перед зеркалом в вычурно горделивой

позе, с надменным лицом и грозно пляшущими бровями. Но — главное, г л а в н о е необходимо мне рассказать потому, что в процессе писания я, обнажив это главное от множества перемешанных с ним здоровых моментов, ставлю между ним и собой то решительное расстояние зрителя, когда он знает, что не является частью мрачного и унылого пейзажа.

Отменно хорошее настроение, упорная мысль о чем-либо, поразившем внимание, и особенный род ликующей нервозности служили для меня точными признаками надвигающегося безумия. Однако способность к самонаблюдению, неуловимо исчезая, скоро уступала место демону Черного Величия. В период протрезвления я вспоминал все. Отчаяние ума, свирепствующего в бессильной тоске анализа, подобного цифрам бухгалтерской книги, рассказывающей крах предприятия, отчаяние хозяина, видящего, как пожар уничтожает его дом и уют, — вот пытка, которую я переносил три с половиной года.

Демон овладевал мною с помощью следующих ухищрений.

Первое: мир прекрасен. Все на своем месте; все божественно стройно и многозначительно в некоем таинственном смысле, который виден мне тридцать шестым зрением, но не укладывается в слова.

Второе: я всех умнее, хитрее, любопытнее, красивее и сильнее.

Третье: впечатление, производимое мною, незабываемо глубоко, я очаровываю и покоряю. Каждый мой жест, самый незначительный взгляд, даже мое дыхание держат присутствующих в волшебном тумане влюбленного восхищения; их глаза не могут оторваться от моего лица; они уничтожаются и растворяются в моей личности; они для меня — ничто, а я для них — все.

Четвертое: я — владыка, император неизвестной страны, пророк или страшный тиран. Мне угрожают бесчисленные опасности; меня стерегут убийцы; я живу в дворцах сказочной красоты и пользуюсь потайными ходами. Меня любят все красавицы мира.

Пятое: мне поставлен памятник, и памятник этот — я, и я — этот памятник. Чувство жизни не позволяет мне оставаться подвижным на пьедестале, а чувство каменной статуйности заставляет ходить.

Теперь, полностью восстанавливая канат и все, что с ним связано, я опишу события на фоне припадка болезни, временами взглядывая на себя со стороны. Это необходимо.

Я шел по набережной. Стоял кроткий апрельский день. Белые балконы, желтые плиты тротуара и голубая река с перекинутыми вдали отчетливыми мостами казались мне, в торжественной строгости моего отношения ко всему этому блеску жизни, робкой лестью побежденных неукротимому победителю. Мое предназначение—спасти мир; мои слова и добродетель Великого Пророка стоят неизмеримо выше соблазнов несовершенного человеческого зрения, так как второе, пророческое мое зрение видело «вещи в себе» — потрясающую тайну вселенной.

Я родился в Сирии три тысячи лет тому назад; я бессмертен и всеобъемлющ; не умирал и не умру; мое имя — Амивелех; мое откровение — благодное злодейство; я обладаю способностью превращений и летаю, если того требуют обстоятельства.

Я захотел есть и вошел в кафе.

Низенькое длинное помещение это было отмечено посредине узкой, прилегающей бордюром к стенам и потолку аркой. Я принял ее за зеркало благодаря странному совпадению. Столик, за которым я сидел лицом к арке, одинаковый с другими столиками, помещался геометрически точно против столика, стоявшего за аркой. У того столика, на равном моему расстоянии от бордюра, так же уперев руки в лицо, сидел второй я. Беглый взгляд, каким я обменялся с воображаемым благодаря всему этому зеркалом, вскоре отразил, надо думать, сильнейшее мое изумление, так как мое предполагаемое отражение встало. Тогда я заметил то, чего не замечал раньше: что этот неизвестный — чудовищно похожий на меня человек одет различно со мной. Иллюзия зеркала исчезла.

Он встал, перешел, внимательно присматриваясь ко мне, узкое, почти лишенное посетителей зало и сел у окна вне поля моего зрения, так что, желая взглядывать на него, я должен был отрываться от еды и поворачивать голову. Я взволнованно ждал. Я знал, кто это с моим взглядом и моими щеками. Это был он, князь мира сего, вечный и ненавистный в р а г.

Я съел то, что подал издали наблюдавший за моими движениями слуга с чрезвычайно глупым и напряженным лицом, затем решительно повернулся к нему. Я хотел немедленной схватки, борьбы чудесных влияний и торжества Духа.

— Ты — трус! — громко сказал я, стукнув кулаком по столу.

В продолжение всего нашего разговора, начатого так шумно, но оконченного вполголоса, — так как речь шла о полубожеских силах, — в углах залы и за стойкой происходили отвратительные кривляния. Люди шептались, подмигивали друг другу, показывали на нас пальцами и кивали. Зная, что они помешаны, я не обращал на этих жалких отродий особенного внимания. Вся сила моего волнения сосредоточилась на нем. Я повторил:

— Ты — трус!

Он молчал, загадочно улыбаясь, как бы думая обмануть меня относительно истины своего существа, затем встал и пересел за мой столик. Держался он очень скромно; его поза, движения, улыбка и взгляды говорили о могучем притворстве. Я видел его крайне внимательные зрачки и читал в них: казалось, их черный блеск блистал рыжим огнем ада. Однако вся моя пророческая пронизательность спасовала перед западной мстительного плана, изобретенного этим Двуличным.

— До удивления, — начал он, — до крайнего удивления похожи мы с вами, сударь. Смееу спросить, кто вы и ваше имя?

Мгновение я колебался: сорвать с него маску или притвориться наивным? Подумав, я решил быть самим собой, относительно же него держаться доверчиво, дабы показать врагу все презрение, какое я мог обнаружить таким явным издевательским способом.

Я сказал:

— До крайнего, крайнего удивления. Мое имя — Амивелех. Вы, конечно, не знаете этого. Откуда вы можете иметь, в самом деле, какие-либо сведения обо мне? Наша страна пустынна, это — страна вздохов, и я послан Пророком Пророков ради страшного труда спасительного злодейства. А вы?

— Я — Марч. Канатоходец Марч.

Он говорил, конечно, подобострастно, но в слове «Марч» слышалась профессиональная гордость. Меня сильно за-

бавляло все это. Дьявол на земле должен иметь профессию! Доверия к профессионалу у людей значительно больше, чем к тем, кто на вопрос о себе невразумительно отвечают: «Я... собственно... знаете...» — и тому подобное.

— Итак?

— Совершенно верно. Я зарабатываю хлеб очень трудным искусством.

— Знаю,— сказал я.— Вы появляетесь над толпой в шелковом раззолоченном костюме. В руках у вас шест. Вы бегаєте взад и вперед по туго натянутой проволоке, приседаете и приплясываете с похвальной целью доказать зрителю, что это не так легко, как кажется.

— Совершенно верно, господин Амивелех. Я здорово устаю. Когда я был помоложе, мне легко давались такие вещи, как переход Ниагары или подсакивание на одной ноге. А теперь не то. Жаль, что вы, глубокоуважаемый Амивелех, имеете о нашем ремесле туманное представление. Оно очень нелегкое и опасное. Вы, например... хо-хо! Я говорю, что если бы вы... попробовали... Даже вообразить это нельзя без ужаса. Нет, нет, у меня очень мягкое сердце. Одна мысль о том, что вам, например, пришло в голову... У меня даже голова закружилась... тьфу! Какие иногда бывают смешные мысли!

— Марч! — внушительно сказал я.— Я вижу, как извивается и трепещет твоя душа. Спрячь ее!

— Вот так штука! — захохотал он.— Задали же вы мне задачу! Да разве от вас спрячешь что-нибудь? Вы людей насквозь видите!

— А! Ты дрожишь?!

— Дрожу, весь дрожу, господин Амивелех. Дело в том, что у меня, знаете, есть воображение. Воображение — это мое несчастье. Оно меня мучает, господин Амивелех, особенно в те минуты, когда ходишь по проволоке. Ты идешь, а оно тебе говорит: «Марч, твоя левая нога поскользнулась»... И мне нужно крепко стоять этой ногой. Она утомляется, вздрагивает. Опять голос: «Марч, ты теряешь равновесие... наклонился... падаешь... вот твое тело у земли — три фута, фут, дюйм... удар!» Становится очень холодно, господин Амивелех, пот бежит по лицу, шест тяжелеет, канат стремится выскользнуть из-под ног. Я на уровне циферблата соборных часов — раз было так — и я вижу, что стрелки больше не двигаются. Мне нужно еще полчаса уве-

селять публику. Но стрелки не двигаются... Ах! Вот вам воображение, господин Амивелех, ну его к черту!

— Так далеко? — спросил я. — Конечно, ты шутишь, опасливый Марч. Но я, я могу помочь твоей беде. Повелеваю: расстанься с воображением!

— Готово! — воскликнул он, подняв с выражением необычайного изумления свои, такие же, как мои, черные глаза к потолку. — Ага! Вот оно и улетело... воображение... дымчатый комочек такой. Чуть-чуть осталось его... совсем немного...

Его притворство становилось невыразимо отвратительным. Он потирал руки и вкрадчиво улыбался. Он обшаривал взглядом мое лицо и кривлялся, как продажная женщина.

— Сегодня, в три часа дня, — продолжал он, осторожно понизив голос, — я выступаю на площади Голубого Братства со своей обычной программой. Работая, я буду думать о вас, только о вас, дорогой учитель Амивелех. Я горжусь, что несколько похож на вас, — смел ли я быть совершенно похожим? — что судьба оказала мне великую честь, создав меня как бы в подражание великому вашему существу! О, я преклоняюсь перед вами! Ваша жизнь драгоценна! Одна мысль, что каким-то чудом вы могли бы оказаться на моем месте, не имея ни малейшего представления о том, как надо держаться на канате... что вы шатаетесь, падаете... какой ужас! Вот он, остаток воображения. Да сохранит вас бог! Пусть никогда нелепая мысль...

Я остановил его жестом, от которого содрогнулись в своих пыльных гробницах египетские цари. Он искушал меня. Он становился железною пятой своего черного духа на белое крыло моего призвания, и я принял вызов с царственной свободой цветка, безначально распространяющего аромат в жадном эфире.

— Марч! — тихо заговорил я. — На наш невиданный поединок смотрит погибающая вселенная. Так надо, и да будет так! Я, а не ты, я в три часа дня сегодня появлюсь на площади Голубого Братства и заменю тебя со всем искусством жалкой твоей профессии!

— Но...

— Ни слова. Ни слова, Марч!

— Я...

— Молчи! Тише!

— Вы...

— Слушай, не думаешь ли ты, что тайна великой борьбы священна? Умолкни! Когда говорит Амивелех, молчат даже амфибии. Мы отправляемся!

Наступило молчание. За прилавком кафе сидели три кобольда — свита ненавистного Марча. Я слышал, как гремит в его душе подлая, трескучая радость. Что касается меня, то я переживал нечто подобное величавому грому — предчувствие пышного торжества. Я знал, что уничтожу черного двойника. Я уже видел его полный отчаяния полет в бездну, откуда он появился.

Мы молча смотрели друг на друга. Нас соединял жуткий ток взаимного понимания. Затем Марч, таинственно подмигнув мне, встал и вышел. Я, не торопясь, последовал за ним.

IV

Когда я очнулся от продолжительного раздумья, в течение которого совершенно не замечал и не мог заметить, что говорю и делаю и что говорил Марч, я увидел, что стою в просторной полотняной палатке у стола, на котором лежал расшитый золотом бархатный костюм Марча. Полуприподнятая занавеска входа позволяла видеть часть площади, черную от массы людей. Неясный, хлопотливый шум проникал в палатку. Я видел еще нижнюю часть столбов, между которыми была протянута проволока; дальний столб казался не толще карандаша, а ближний, почти у самой палатки, толщиной с хорошую мачту. Лестница, приставленная к нему, отбрасывала на столб тень; между лестницей и столбом, среди булыжников, искрилась трава. Помню, меня как бы толкнула эта простота обыкновеннейшего явления: трава, камни. Не более как на момент я содрогнулся от сильнейшей тоски. Не будь со мной Марча, я, может быть, оказался бы в начале реакции, перелома. Я вспомнил о нем, как о дьяволе, и внутренний, неизъяснимый удар безумия тотчас же вернул меня в круг ложного озарения.

Замысел Марча, как искусителя, был ясен до очевидности. Зная, что я бессмертен, хитрец этот надеялся, — о, жалкий! — увидеть мое унижение, когда, по злобным его расчетам, я, силой его заклинаний, грохнусь с высоты пятиэтажного дома. Нимало не сомневался я, что именно этим вознамерился вечный мой враг стяжать лавы победы.

теля. Я знал, однако, что не только по проволоке, а по морской буре могу пройти с легкостью водяной блохи, не замочив ноги. Поэтому, сгорая от нетерпения скорее поразить демона своей властью над послушной материей, я, оглянувшись на Марча с гримасой, надо полагать, не совсем вежливой, стал раздеваться так порывисто, что оборвал несколько пуговиц.

Разумеется, я вел себя, как заправский канатоходец. Хотя Марч помогал мне одеваться, я чувствовал, что мог бы отлично справиться без него. На мне появилось трико телесного цвета, короткие штаны голубого бархата с таким обилием позументов, что я напоминал сказочную жар-птицу, и плюшевая зеленая шляпа с белым пером.

Как только Марч пытался подать мне совет касательно баланса или чего другого, я мигом осаживал его, говоря, что все эти указания бесполезны даже попугаю на жердочке, не только мне, поющему хвалу Духу. Я взглянул в зеркало и подбочился. Затем я стал дрыгать поочередно ногами, любуясь их формами и упругостью. Послав иронический воздушный поцелуй Марчу, смотревшему на меня, — притворно, конечно, — с беспредельным обожанием, я, подняв голову, вышел из палатки и огляделся.

Ха! Гул и рев! Толпа побелела от поднятых для рукоплесканий рук. Здравствуйте, компрачикосы! Я кивнул и стал взбираться по лестнице.

С момента моего выхода меня охватил вдруг подмывающий, как стремительная волна, род нервной насыщенности, заполнившей все видимое пространство. Я как бы двигался в невесомой плотности, став частью среды, однородно слитой и напряженной в той же степени неуловимо быстрых вибраций, какие, — я потрясенно чувствовал это, — пронизывают меня с ног до головы вихренными касаниями. Я сделался легким, как в отчетливом сне, когда отсутствуют ощущения тяжести и мускульных усилий. Мне было ясно, что я лишь делаю вид, будто подымаюсь, пользуясь, с соответственными тому движениями, перекладинами лестницы. Мной двигало желание двигаться. Я не испытывал, не замечал усилий. Я мог, в том же или ином любом темпе, совершить лестничное путешествие на луну, дыша по окончании его ни чаще, ни медленнее. Только исключительной остротой безумия могу я объяснить такое состояние и то, что произошло дальше.

Подымаясь в подымающемся вместе со мной, застрявшем в ушах обширном гуле толпы, рассматривая ее овал, охвативший линию натянутой между столбов проволоки, я на теплом ветре между небом и землей был соединен с зрителями именно той нервной насыщенностью пространства, о которой упомянул выше. Я не могу объяснить, как я воспринимал токи, подобные электрическим, которые, безостановочно вступая в меня волнистыми усилениями, составляли как бы нечто среднее между настроением, выраженным словами, и яркой догадкой, подтвержденной обострением интуиции. Эти колебания токов, относимые мною тогда за счет пророческого прозрения, я покажу нанудобнее простыми словами, ставя в вину несовершенству человеческого языка вообще то странное обстоятельство, что мы осуждены читать в собственной душе между строк на невероятно фантастическом диалекте.

Я воспринимаю следующее:

Он вышел из палатки.

Он приближается к лестнице.

Он лезет по лестнице.

Он продолжает ловко взбираться по лестнице.

Скоро он перейдет на проволоку.

Неизменным, основным тоном этих поступлений была уверенность, — серьезная, непоколебимая уверенность в том, что я, Марч, искусный канатоходец, покинул палатку и делаю совершенно безошибочно все нужное для того, чтобы произвести ряд опытов напряженного равновесия. Я был патентованным сумасшедшим, но не настолько, чтобы в этом исключительном положении не отмечать некоторую, таившуюся захирело и глухо здоровую часть души своеобразного действия, производимого всплывающим извне массовым тоном уверенности. Представьте человека, связанного по рукам и ногам, в полном неведении относительно срока освобождения, представьте затем, что веревки, стянувшие его тело, чудесно ослабевают в сюрпризной, очаровательно доброй постепенности; что обнадуженный человек, пробуя двигать членами, двигается действительно, встает, ходит, подпрыгивает, и вы получите некоторое приближение к истине моих ощущений, с той разницей, что я нимало не сомневался в родстве своем со всем чудесным и исключительным.

Взобравшись наверх, я уселся в приделанное к концу бревна деревянное кресло, а ноги опустил на толстую

блестящую проволоку, тянувшуюся от моих ступней вогнутой воздушной чертой к далекому противоположному столбу с маленьким на нем цветным флагом. Второй флаг, сзади, над моей головой, шелестел под ветром, иногда касаясь лица, и это — близость предмета, с которым вообще соединено понятие высоты, предмета, употребленного согласно своему назначению, — более, чем доказательство глаз, дало мне то острое ощущение высоты, которое одновременно гипнотизирует, туманит и возбуждает, подобно ожиданию выстрела. Я сидел под небом, над охваченной глазами толпой, а предо мной на специальной рогатке лежал поперек каната длинный тяжелый шест, служащий необходимым балансом.

Послав зрителям воздушный поцелуй, я услышал рев и рукоплескания. О, если бы они знали, кто я! Впрочем, я собирался немного погодя сойти к ним с проволоки по воздуху. Все вопросы должно было решить это чудесное сходение небесного ставленника. Я решил дать великое откровение.

Радостно засмеявшись, так как очевидность моего торжества была полной, я встал, взял шест (я должен был до времени быть во всем Марчем) и, отделившись таким образом от последнего прочного основания, ступил на зыбкую проволоку. Не более как секунду я стоял совершенно неподвижно над пустотой, с чувством немоты мысли и остолбенения; затем двинулся и пошел.

V

Да, я пошел, и пошел не с большим затруднением, чем то, с каким, расставив руки, способен пройти по ровному толстому бревну всякий человек, вообще способный ходить. Оркестр заиграл марш. Я ставил ноги в такт музыке, колебля шест более для своего развлечения, чем по необходимости, так как, повторяю, после первого впечатления внезапности пустоты я оказался вне губительной нормы. Нормально я должен был оцепенеть, потерять самообладание, зашататься, с отчаянием полететь вниз, не попытавшись, быть может, даже ухватиться за проволоку. Вне нормы я оказался, — необъяснимо и, главное, самоуверенно, — стойким, без тени головокружения и тревоги. Я продолжал быть в фокусе напряженных токов, излучаемых ог-

ромной толпой; их незримое действие равнялось физическому. Я двигался в совершенно поглощающем мое телесное сознание незримом хоре уверенности, знания того, что я, Марч, двигаюсь и буду двигаться по канату, не падая, до тех пор, пока мне этого хочется.

Разумеется, в те минуты я не был занят подробным анализом ощущений. Я восстановил и определил их впоследствии. Я думал главным образом о посрамлении Марча, о тех муках, какие должен испытывать он теперь, видя, что его расчеты на мою гибель рассыпались в прах, и о том, что блаженство духовной власти в соединении с маршем «Славные ребята», — предел восторга, выносимого человеком.

При каждом шаге ноги мои, согласно закону тяжести, находились в вершине тупого угла, образуемого проволокой. Она колебалась, отвечая давлению ноги многократным, разливающимся по всей ее длине гибким волнением; я шел как бы по глубокому суну. Постепенно, когда я начал приближаться к середине пути, раскачивания проволоки делались сильнее и глубже. Это, при почти полной атрофии физического сознания, при машинальности движений моих, производило на меня страннейшее впечатление. Мне казалось, что между мной и проволокой нет никакой связи, кроме обманчивого подобия взаимной зависимости, что канат, таинственным образом подражает — следует моим движениям, и я, если бы захотел, мог бы успешно шествовать над ним, заставляя проволоку так же колебаться и оттягиваться вниз, как следуя по ее линии.

Я только что собрался произвести этот опыт — опыт окончательного презрения ко всяким точкам опоры, как быстро, но незаметно для себя вынужден был перейти к созерцанию новых, весьма значительных и конкретных прозрений — результату сложности, возникшей в первоначальном однородном тяготении токов. Я мог бы даже сказать, откуда, из какой части толпы шли тяги знаменуетости оригинальной. Остальные видоизменения токов, словесная душа их, воспринимались мной на протяжении всего кольца зрителей; иногда лишь незначительные, дрожашие колебания давали в этой среде сгустки подобно скрешиванию лучей рефлекторов.

Первоначально стало навеваться в меня нечто хмыкающее, ровное, как барабанная трель, что, обострив внимание, я безотчетно стал переводить так: «Это акробат Марч,

Марч, чувствующий себя на канате, как дома. Вот мы на него смотрим. Акробаты, говорят (мы говорим, все говорят), показывают иногда чудеса ловкости. Острое восхищение — увидеть чудеса ловкости! Однако этот Марч, видимо, не из тех. Он идет по канату; просто идет. А что же дальше? Нам мало этого. Пусть он станет на голову и завертится волчком. Разве это так трудно — идти по канату? Я не пробовал идти по канату. Я, может быть, попробую. Да. Вдруг это совсем пустяковое дело? Наверное, это не совсем замысловатое дело. Вот он идет, просто идет и держит в руках шест, высоко над землей. Он идет, а мы смотрим (скучно!), как он идет, как будет идти».

Этот чужой идиотизм заставил меня насторожиться. Я охлаждался, начал охлаждаться, как кипятик, когда в него суют ложку, уменьшает бурление. Я осмотрелся. Я был наравне с крышами. Преглупый вид у крыш! Их выпяченные слуховые окна зевали, как беззубые рты. Внизу весело носилась лохматая собачка, взад-вперед, взад-вперед! У меня тоже был фоксик, я о нем вспомнил теперь и удивился. Зачем, собственно, фоксик Амивелеху? Я — кто же такой? Я — Амивелех, да...

Неожиданно в противное густое хмыканье врезался развеселивший меня тонкий вздох радости:

— Весьма приятно, и мы благодарны. Ходите на здоровье! Хорошо видеть ловких людей!

Я не успевал думать. Я был прикован к хору своей души, где смешивались все тяги и перекликались волеизъявления. Это начинало мне мешать двигаться; я подходил к другому столбу, но, находясь от него не далее как в двадцати футах, остановился. Я чувствовал себя мошкой, попавшей в чей-то большой, неподвижно смотрящий глаз, на самое пламя зрения, в то время как должен был держать сам в себе все видимое и невидимое. Я решил немедленно сойти по воздуху к зрителям, сбросив жалкую личину канатоходца. Марч не мог быть в претензии на меня, так как, по моему мнению, я достаточно доказал ему всю невозможность дальнейшей борьбы. Движение по воздуху, надо полагать, окончательно уничтожило бы бессмысленного противника.

Размышляя об этом, я в то же время обратил внимание на суматоху, поднявшуюся слева от меня, сзади толпы. Там бесновалась кучка людей, в середине которой, схваченный за ворот, извивался человек в котелке. Раздавались крики:

«Мошенник! Вор! Я тебе покажу! Полицию!» — и т. п. По-видимому, поймали карманника. Потому ли, что это банальное приключение вызвало ряд мыслей практического характера, закрепленных чьим-то пронзительным визгом, или нервная система, перегруженная безумием до отказа, напряженно ждала малейшего движения, чтобы, прорвав плен, излить яд,— только я почувствовал, что внутренние мои движения, их сверкающий вихрь внезапно остановились. Сознание прояснилось. Туча ассоциаций, сопровождающих понятие воровства, во всей их плотно земной зависимости, включительно до размышлений о пользе исправительных тюрем, мгновенно оседлав мозг, разодралась с великими тайнами Амивелеха, прозаически погасила их, и я, продолжая стоять на проволоке с шестом в усталых руках, проникся, несмотря на жару, терпким ознобом. Я потрясенно возвратился к действительности. Видения, жалостно поблдевав, взвились подобно волшебному пейзажу театрального занавеса, и за ними сам себе предстал я — лунатик, разбуженный на карнизе крыши, я — чиновник торговой палаты Вениамин Фосс, над грозно ожидающей пустотой, в костюме канатоходца, с головокружением и отчаянием.

Давно уже настойчивый холод (понятия времени, разумеется, здесь очень условны) отвратительного желаяния, разлитого в толпе, осенял меня убийственными посылами. Теперь усилилось людское тяготение. Меня попросту желали видеть убитым. Началось это глухо и спрятанно, как чирканье спички поджигателя, опасаящегося произвести шум. Желаящие не хотели желать. Они рассматривали свои черные мысли, как неотвественную игру ума. Однако хотение это было сильнее принципов гуманности. Раздвигая корни, оно укреплялось в податливом состоянии душ с неуклонностью вождения. Его зараза действовала взаимно среди всех, объединенных раздражающей зрительной точкой — мной, могущим потерять равновесие. Я читал:

— «Почему ты не падаешь? Мы все очень хотим этого. Мы, в сущности, явились сюда затем, чтобы посмотреть, не упадешь ли ты с каната случайно. Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты. Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть — надеяться. Мы желаем волнения, вызванного тво-

им падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, можег быть, когда-нибудь, кто-то все-таки упадет при нас. Падай! Падай! Падай! Ну же... ну!.. Падай, а не ходи! Падай!»

Я смутно, с ужасом воспринимал это. Я действительно шатался. Шест бешено прыгал в моих руках. Каждое, казалось бы, целесообразное усилие вызывало неопишваемое волнение проволоки. Спина и ноги готовы были сломаться от напряжения. Площадь, заполненная народом, кружилась и опрокидывалась: на нее стремглав падало небо. Солнце пылало у моего лица.

— Спасите! Спасите! — кричал я.

Дальнейшее не во всем подвластно памяти. Я выпустил шест, мгновенно черкнувший воздух; затем, согнувшись, ухватился руками за канат и повис, содрогаюсь от потрясения. Канат вследствие сильного толчка бешено раскачался. Проволока резала руки. С воплями, в отчаянии бессмысленной смерти, сопротивляясь падению, я наконец испытал нечто напоминающее насильственное, грубое разжатие пальцев. Это было очень болезненно. Я выпустил канат с ощущением стремительного полета вверх, и сознание мое смолкло.

Я упал в сетку. Помощники Марча успели, подбежав как раз вовремя, растянуть ее подо мной. Суматоха, поднявшаяся после этого несчастного случая, доставила мне множество неприятностей. Марч скрылся. Два дня я доказывал следствию и корреспондентам, что, будучи Фоссом, никак не могу быть Марчем. Самоличность моя, подтвержденная второстепенными физическими различиями и показаниями моей семьи, установила, однако, что я, даже на пристальный взгляд, несомненно разительно схож с Марчем, не исключая голоса и еще кое-чего, заметного при движении.

Я объяснил приключение капризом, похмельной фантазией; хождение объяснил гимнастикой юности... Так ли это? Этот вопрос, может быть, мысленно задавали многие, знающие меня. Но кто им ответит? Я спрятал правду в момент своей болезни, навсегда оставившей меня после каната. Я не испытывал даже легчайших приступов. Идея величия безвозвратно померкла. Я слышу: «Падай!» — всякий раз, когда при мне произносят сколь-

ко-нибудь заметное, отрешившееся в особую жизнь имя. Между тем я очень люблю людей. Их неудержимо страстное отношение к чужой судьбе заставляет внимать различного рода рукоплесканиям с пристальностью запоздавшего путника, придерживающего пальцем спуск револьвера. Кислота, а не помада заставляет блестеть железо. Вот, это бы железо...

Поиски Марча привели к полному разъяснению его авантюры. Его жизнь была застрахована крупной суммой — значительным состоянием, а ряд шантажей, жертвами которых являлись богатые истеричные дамы, заставлял думать о безопасности. Раскалив податливого безумца, так заметно похожего на него, Марч после неминуемой, по его расчетам, моей смерти — при первых же шагах по проволоке — получал через жену страховую премию, а через гроб «Фосса-Марча» — загробную жизнь под любым именем.

Мне кажется, мое толкование вполне правильно. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я каждый день пью за его здоровье. Это мой избавитель. Его портрет вы можете видеть в «Вестнике цирковых деятелей» за 1913 год. В нем нет ничего дьявольского.

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ОТЦА И МАЛЕНЬКОЙ ДОЧЕРИ

I

В городе Коменвиль, не блещущем чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем тем, что являет раздражающий, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочно городов, поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонд Дрэп.

Здесь лет пятнадцать назад начал он писать двухтомное ученое исследование.

Идея этого сочинения овладела им, когда он был еще студентом. Дрэп вел полунищенскую жизнь, отказывал себе во многом, так как не имел состояния; его случайный заработок выражался маленькими цифрами гонорара за мелкие переводы и корреспонденции; все свободное время, тщательно оберегая его, он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Постепенно дошел он до того, что не интересовался уже ничем, кроме сочинения и своей дочери Тавинии Дрэп. Она жила у родственников.

Ей было шесть лет, когда умерла мать. Раз или два в год ее привозила к нему старуха с орлиным носом, смотревшая так, как будто хотела повесить Дрэпа за его нищету и рассеянность, за все те внешние проявления пылающего внутреннего мира, которые видела в образе трубочного пепла и беспорядка, смахивающего на разрушение.

Год от году беспорядок в тесной квартире Дрэпа увеличивался, принимал затейливые очертания сна или футуристического рисунка со смешением разнородных предметов в противоестественную коллекцию, но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделении небольшого шкапа. Давно уже терпела она соседство всякого хлама.

Скомканные носовые платки, сапожные щетки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке, среди тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечевкой, разнообразных обрывков, на которых в нетерпении разыскать приличную бумагу нервный и рассеянный Дрэп писал свои внезапные озарения.

Года три назад, как бы опомнясь, он сговорился с женой швейцара: она должна была за некоторую плату раз в день производить уборку квартиры. Но раз Дрэп нашел, что порядок или, вернее, привычное смешение предметов на его письменном столе перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетно разыскивал заметки, сделанные на манжетах, прикрытых, для неподвижности, бронзовым массивным орлом, и, уследив, наконец, потерю в корзине с грязным бельем, круто разошелся с наемницей, хлопнув напослед дверь, в ответ чему выслушал запальчивое сомнение в благополучном состоянии своих умственных способностей. После этого Дрэп боролся с жизнью один.

II

Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил наконец, что долго стоит перед шкапом, усиливаясь вспомнить, что хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму.

«Мой дорогой папа,— значилось там,— я буду сегодня в восемь. Целую и крепко прижимаю к тебе. Тави.» Дрэп вспомнил, что собрался на вокзал.

Два дня назад была им сунута в шкап мелкая асигнация, последние его деньги, на которые рассчитывал он взять извозчика, а также купить чего-либо съестного. Но он забыл, куда сунул ее, некстати задумавшись перед тем о тридцать второй главе; об этой же главе

думал он и теперь, пока текст телеграммы не разорвал привычные чары. Он увидел милое лицо Тави и засмеялся.

Теперь все его мысли были о ней. С судорожным нетерпением бросился он искать деньги, погрузив руки во внутренности третьей полки, куда складывал все исписанное.

Упругие слои бумаги сопротивлялись ему. Быстро осмотрясь, куда сложить все это, Дрэп выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в нее рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнаженной странице фразу, или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом.

Когда Дрэп начинал думать о своей работе или же просто вспоминал ее, ему казалось, что не было совсем в его жизни времени, когда не было бы в его душе или на его столе этой работы. Она родилась, росла, развивалась и жила с ним, как развивается и растет человек. Для него была подобна она радуге, скрытой пока туманом напряженного творчества, или же видел он ее в образе золотой цепи, связывающей берега бездны; еще представлял он ее громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно.

Он разыскал ассигнацию, застрявшую в пустой сигарной коробке, взглянул на часы и, увидев, что до восьми осталось всего пять минут, выбежал на улицу.

III

Через несколько минут после этого Тави Дрэп была впущена в квартиру отца мрачным швейцаром.

— Он уехал, барышня, — сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскивали тень улыбки в бородастом лице, — он уехал и, я думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли.

— Да, время идет, — согласилась Тави с сознанием, что четырнадцать лет — возраст уже почтенный. На этот раз она приехала одна, как большая, и скромно гордилась этим. Швейцар вышел.

Девочка вошла в кабинет.

— Это конюшня, — сказала она, подбирая в горестном изумлении своем какое-нибудь сильное сравнение тому.

что увидела.— Или невыметенный амбар. Как ты одинок, папа, труженик мой! А завтра ведь Новый год!

Вся трепеща от любви и жалости, она сняла свое хорошенькое шелковое пальто, расстегнула и засучила рукава. Через мгновение захлопали и застучали бесчисленные увесистые томы, решительно сброшенные ею в угол отовсюду, где только находила она их в ненадлежащем месте. Была открыта форточка; свежий воздух прозрачной струей потек в накуренную до темноты, нетопленную, сырую комнату.

Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду; наконец, затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, сором и остатками угля, разысканного на кухне; затем вскипятила кофе. С ней была ее дорожная провизия, и она разложила ее покрасивее на столе. Так хлопоча, улыбалась и напевала она, представляя, как удивится Дрэп, как будет ему приятно и хорошо.

Между тем, завидев в окне свет, он, подходя к дому, догадался, что его маленькая, добрая Тави уже приехала и ожидает его, что они разминутся. Он вошел неслышно. Она почувствовала, что на ее лицо, закрыв сзади глаза, легли большие, сильные и осторожные руки, и, обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя, как ребенка.

— Папа, ты, — детка мой, измучилась без тебя! — кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое, нервное личико, сияющее ему всей радостью встречи.

— Боже мой, — сказал он, садясь и снова обнимая ее, — полгода я не видел тебя. Хорошо ли ты ехала?

— Прекрасно. Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой Цецилии. Но, представь, мне все-таки пришлось принять массу услуг от посторонних людей. Почему это? Но слушай: ты ничего не видишь?

— Что же? — сказал, смеясь, Дрэп. — Ну, вижу тебя.

— А еще?

— Что такое?

— Глупый, рассеянный, ученый дикарь, да посмотри же внимательнее!

Теперь он увидел.

Стол был опрятно накрыт чистой скатертью, с расставленными на нем приборами; над кофейником вил-

ся пар; хлеб, фрукты, сыр и куски стремительно нарезанного паштета являли картину, совершенно не похожую на его обычную манеру есть расхаживая или стоя, с книгой перед глазами. Пол был выметен, и мебель расставлена поуютнее. В камине пылало его случайное топливо.

— Понимаешь, что надо было торопиться, поэтому все вышло, как яичница, но завтра я возьму все в руки и все будет блестеть.

Тронутый Дрэп нежно посмотрел на нее, затем взял ее перепачканные руки и похлопал ими одна о другую.

— Ну, будем теперь выколачивать пыль из тебя. Где же ты взяла дров?

— Я нашла на кухне немного угля.

— Вероятно, какие-нибудь крошки.

— Да, но тут было столько бумаги. В той корзине.

Дрэп, не понимая еще, пристально посмотрел на нее, смутно встревоженный.

— В какой корзине, ты говоришь? Под столом?

— Ну да же! Ужас тут было хламу, но горит он неважно.

Тогда он вспомнил и понял.

IV

Он стал разом сесть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак. Не сознавая, что делает, он протянул руку к электрической лампе и повернул выключатель. Это спасло девочку от некоего момента в выражении лица Дрэпа,— выражения, которого она уже не могла бы забыть. Мрак хватил его по лицу и вырвал сердце.

Несколько мгновений казалось ему, что он неудержимо летит к стене, разбиваясь о ее камень бесконечным ударом.

— Но, папа,— сказала удивленная девочка, возвращая своей бестрепетной рукой яркое освещение,— неужели ты такой любитель потемок? И где ты так припылил волосы?

Если Дрэп в эти мгновения не помешался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, рассекшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави. Прижав сложенные руки к щеке, она воззрилась на него

с улыбкой и трогательной заботой. Ее светлый внутренний мир был защищен любовью.

— Хорошо ли тебе, папа? — сказала она. — Я торопилась к твоему приходу, чтобы ты отдохнул. Но отчего ты плачешь? Не плачь, мне горько!

Дрэп еще пыхтел, разбиваясь и корчась в муках неслышного стога, но сила потрясения перевела в его душу с яркостью дня все краткое удовольствие ребенка видеть его в чистоте и тепле, и он нашел силу заговорить.

— Да, — сказал он, отнимая от лица руки, — я больше не пролью слез. Это смешно, что есть движения сердца, за которые стоит, может быть, заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. Работая, — а мне понадобится еще лет пять, — я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом.

— Ну, вот мы и дома!

УБИЙСТВО В КУНСТ-ФИШЕ

...Так произошли вещи, о которых более логические умы принуждены думать лишнее; во всяком случае — придавать им расплывчатость и неопределенность, без чего им, пожалуй, не стоило бы и размышлять о происшествии в предместьи Кунст-Фиш. На мой, в то время, пытливый взгляд — ожидалось торжество судебного следствия. Из этого правильно заключить, что — вообще — я думал н о р м а л ь н о; лишь неопределенный страх гнал меня прочь отовсюду; отовсюду, где мне мерещилось преследование. Болезнь эта достаточно известна; ее симптомы изучены, ее явления однородны, поэтому я предлагаю сразу увидеть меня среди роскошных парков Кунст-Фиша, скрывающегося в кустах или перелезающего ограды с чувством смертельной опасности, сжимающей свой черный круг по всем путям, на которые ступал я. Ее не было, — этой опасности, так же как у меня не было достаточного самообладания и рассудка, чтобы перестать мучить себя.

Когда луна скрылась, я почувствовал себя лучше: в тьме есть гарантии, важные злодеям и жертвам. В этот момент я находился перед стеной, покрытой виноградными лозами. Вокруг по смутно проступающей белизне статуй и скамеек едва можно было судить о направлении и расположении аллей. Чей был этот сад, — я не знал, не мог также восстановить последовательность



«ГЕНИАЛЬНЫЙ ИГРОК»



«СЛОВООХОТЛИВЫЙ ДОМОВОЙ»

забросивших меня сюда условий, но помнил с горечью и отвращением к жизни, что страх — необъяснимый страх гнал меня весь день из конца в конец города; что я бродил, прятался, бежал и скрывался от неизвестных врагов, подстерегающих меня в толпе, за углами зданий и везде, где было место ступить ноге человеческой.

Вдруг луна вышла и озарила сад, выделив мою тень в тени кустов. Серебристо-трепещущие деревья стояли в центре черных кругов. Лужайки дымились. Я был виден, виден весь всем и каждому, кто захотел бы всадить нож или пулю в мою похолодевшую кожу.

В это время запел — очень далеко и спокойно — петух.

Кого предостерегал он? Не было времени думать о нерешенной загадке его тройного ночного крика. Казалось, силы ночи играют на его нервах в определенные часы, — что мог бы он рассказать сам?! Но мысль эта, как коротко пролитая струя, плеснула и разбилась бесформенно.

И я тотчас вернулся к своей главной заботе — бежать. Быть может, за стеной крылись новые обстоятельства, новые спасительные условия. Я разыскал ящик, встал на него и перескочил по ту сторону стены.

В это время я уже чувствовал изнурение, требующее приюта. С наступлением утра припадок ослабевал; тени вечера обостряли его; ночь терзала, как пытка. Я хотел разыскать что-нибудь, — трещину, собачью конуру, подвал — все равно, лишь бы забыться сном, начинавшим мучить меня не менее сильно, чем страх. Осмотрясь, я увидел, в кругу высоких дубов, небольшой дом того легкого и острого типа, какой быстро вошел в моду с счастливой руки Дорна, застроившего немало загородных участков подобными зданиями.

Свет луны снова пошел на убыль, так что рассмотреть дом я мог только отчасти. В свете внутреннего окна, скрытого под навесом, выступала полукруглая терраса, и я довольно смело поднялся на нее по изящным ступеням, перевитым среди перил цветущим австрийским вьюнком. Как был уже поздний, глубоко-ночной час — середина ночи, — то я не ожидал встретить на террасе людей, надеясь быстро разыскать среди ниш и внутренних лесенок, — так как эти дома изобиловали подобными практически ненужными добавлениями, — тот безопасный

угол и тьму, где мог бы заснуть. Я шел тихо, я двигался мимо единственного освещенного на террасу окна и на мгновение заглянул в него.

У камина стоял, ко мне спиной, стройный человек, подняв, как бы с намерением ударить нечто, на чем еще не остановилось мое внимание, бронзовые каминные щипцы; но он тихо опустил их и повернулся.

Следя за направлением его взгляда, я увидел молодую женщину, сидящую в низком кресле; ее ноги были вытянуты, лицо откинута с напряженной и нетерпеливой улыбкой,— которая, раз ожидаемое движение не совершилось, тотчас перешла в ласковое и смелое выражение. Тогда неплотно прикрытое окно позволило мне слышать их разговор.

Но прежде я укажу вам вещь, какую единственно угрожали разбить щипцы, единственно — потому, что на каминной доске более ничего не было.

Я говорю о небольшой фарфоровой статуе, изображавшей бегущего самурая, с рукой, положенной на рукоять сабли. Нечего говорить, что японцы вообще не подражаемы в жизненности этих своих изделий.

Желтое лицо с острыми косыми глазами и свисавшими кончиками черных усов, под которыми змеилась тонкая азиатская улыбка, так естественно отражало угрожающее движение тела, что хотелось посторониться. Он был в шитом шелками и золотом кимоно. За драгоценным поясом туго торчали две сабли. Левая нога, с отставшей от туфли пяткой, была как раз в том вытянутом положении, какое видал я в пьесе «Куросиво», где японский артист, пав, ловит бегущего врага за ногу.

Более нечего сказать об этой небольшой статуе,— уже мое внимание было отвлечено коротким и странным разговором.

— В конце концов это — ребячество,— сказал мужчина, сев рядом с той, кто продолжала смотреть на самурая с задумчивой насмешливостью.— Ее можно убрать, Эта.

— Нет.— Женщина засмеялась, выразив смехом что-то обдуманное и злое.— Он хотел, чтобы подарок стоял здесь, в этой гостиной. Тем более, что он связал с ним себя.

— То есть?

— Но, боже мой, пусть он смотрит, если ему так хочется, на меня с тобой глазами этого идола. Впро-

чем, ему никогда не везло в подарках; он покупает то, что нравится ему, а не мне.

— Не это же он хотел сказать?

— Тебе ли упрекать меня, Дик? Но я часто не знаю сама, что делаю, я слишком люблю тебя и ненавижу его. Но он скоро, — о! — слишком скоро, — вернется!

— Не думай, Эта. Пока мы вместе — сейчас.

— Но он сумел отравить это «пока». — Она взяла сумочку, где лежало письмо, расправила его на коленке и, подняв, стала читать тем тоном, каким читают газету:

«С некоторых пор меня все более тревожат, смущают мысли о тебе. Уже год, как мы расстались. Но нужно окончить дела, в них наше будущее. Я вижу, дорогая, странные и дерзкие сны: тебя целует другой... прости, но это лишь сон... Твои письма нервные и короткие. Я приеду через месяц. Посылаю тебе старинную статуэтку самурая, купленную мной на аукционе, — вместо меня посылаю ее, так как долго с чувством свидания рассматривал эту вещь, зная, что твои глаза также увидят ее. Но я не умею сказать, что чувствую. Да сохранит и защитит тебя этот воин, как если бы я сам был с тобой».

— Я вижу только, — сказал Дик, — что твой муж, Эта, пламенно любит тебя. И он сильно тоскует. Прости мою вспышку и... щипцы.

Я смотрел. Они встали, обнялись, и я отступил со смущением, так как поцелуй был хорош. Что бы ни делали эти люди, — они любили друг друга. Неожиданно свет погас.

Обманывал меня слух, или то твердило естественное мое волнение, но я чувствовал шорох, шепот, дыхание двух, — и чувствовал, что теперь там свой и все отрицающий мир. Вдруг крик нарушил эту страстную тишину, — мертвящий, рассекающий душу вопль.

Я вздрогнул; лед и огонь смешались в моей душе. Еще теперь, по пугающему звуку воспоминания, я вижу, как страшен был этот цепляющийся всем отчаянием своим за тьму крик существа, рухнувшего под ноги ужасу.

Он смолк, повторился, перешел в стон и исчез. Затем послышалось странное, сухое и жесткое сцепление звуков, в которых решительно ничего нельзя было понять.

Довольно было мне и того, что перенес я до этого крика, до этой сцены, окончившейся так потрясающе

мрачно. Не думаю, чтобы тряс я дверь, соображая, что-либо в те головокружительные мгновения. Но я сломал и распахнул дверь.

С помощью спичек я разыскал выключатель и осветил спокойно-роскошную комнату, где за поцелуем промчался и угас крик. Они лежали крест-накрест. Но я больше не мог рассматривать эту трепещущую, почти живую смерть, залитую кровью, еще лишь минуту назад цветущую розами и огнем. И я бежал в тьму, но где блуждал и где был — не знаю.

Как рассвело — бред кончился, и, в тысячный раз давая клятву не злоупотреблять более кокаином, я, дрожа от усталости и тоски, грелся вином в кафе, из окна которого видны были заставы и фермы.

Я сидел и вспоминал то, что рассказал вам, и вспоминал о том снова, со всей яркостью вторичного переживания, когда, уже днем, с ужасом споткнулся в газете о заголовок: «Загадочное убийство в Кунст-Фише».

Не столь отменно разрабатывая факты, ибо они, наверное, были подчинены приличию, сообщение детально останавливалось на характере ран, имеющих точный вид сабельных ударов, нанесенных сильной и холодной рукой.

Что было думать об этом? Но была выражена надежда, что экстренное возвращение Ван-Форта, мужа убитой женщины, — «прольет свет» на ставящее в тупик происшествие, — я не помню, где еще я читал подобное выражение в таком же лишенном ограждений и всяких следов случае. Однако никто не может принудить людей «думать лишнее» — о чем упомянул я в начале этих страниц.

Мое сердце полно смирения, и я благодарю судьбу за взгляд, каким иду мимо точек и запятых среди строк.

ПРОПАВШЕЕ СОЛНЦЕ

I

Страшное употребление, какое дал своим бесчисленным богатствам Авель Хоггей, долго еще будет жить в памяти всех, кто знал этого человека без сердца. Не раз его злодейства — так как деяния Хоггея были безмерными, утонченными злодействами — грозили, сложив гроб купленного молчания, пасть на его голову, но золото вывозило, и он продолжал играть с живыми людьми, — самым различным образом; неистощимый на выдумку, Хоггей не преследовал иных целей, кроме забавы. Это был мистификатор и палач вместе. В основе его забав, опытов, экспериментов и игр лежал скучный вопрос: «Что выйдет, если я сделаю так?»

Четырнадцать лет назад вдова Эльгрев, застигнутая родами в момент безвыходной нищеты, отдала новорожденного малютку-сына неизвестному человеку, вручившему ей крупную сумму денег. Он сказал, что состоятельный аноним — бездетная и детолюбивая семья — хочет усыновить мальчика. Мать не должна была стараться увидеть или искать сына.

На этом сделка была покончена. Утешаясь тем, что ее Роберт вырастет богачом и счастливецем, обезумевшая от нужды женщина вручила свое дитя неизвестному, и он скрылся во тьме ночи, унес крошечное сердце, которому были суждены страдание и победа.

Купив человека, Авель Хоггей приказал содержать ребенка в особо устроенном помещении, где не было окон. Комнаты освещались только электричеством. Слуги и учитель Роберта должны были на все его вопросы отвечать, что его жизнь — именно такова, какой живут все другие люди. Специально для него были заказаны и отпечатаны книги того рода, из каких обычно познает человек жизнь и мир, с той лишь разницей, что в них совершенно не упоминалось о солнце¹. Всем, кто говорил с мальчиком или по роду своих обязанностей вступал с ним в какое бы ни было общение, строго было запрещено Хоггеем употреблять это слово.

Роберт рос. Он был хил и задумчив. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, Хоггей среди иных сложных забав, еще во многом не раскрытых данных, вспомнив о Роберте, решил, что можно, наконец, посмеяться. И он велел привести Роберта.

III

Хоггей сидел на блестящей, огромной террасе среди тех, кому мог довериться в этой запрещенной игре. То были люди с богатым запертым на замок прошлым, с лицами, бесстрастно эмалированными развратом и скукой. Кроме Фергюсона, здесь сидели и пили: Харт — поставщик публичных домов Южной Америки, и Блум — содержатель одиннадцати игорных домов.

Был полдень. В безоблачном небе стояло пламенным белым железом вечное Солнце. По саду, окруженному высокой стеной, бродил трогательный и прелестный свет. За садом сияли леса и снежные цепи отрогов Ахуан-Скапа.

Мальчик вошел с повязкой на глазах. Левую руку он бессознательно держал у сильно бьющегося сердца.

¹ Равным образом, ни о чем светящемся в небе — луне, звездах. Фергюсон — правая рука Хоггея, — чаще других навещавший Роберта, приучил его думать, что люди сами не желают многого в этом роде. А. Г.

а правая нервно шевелилась в кармане бархатной куртки. Его вел глухонемой негр, послушное животное в руках Хоггея. Немного погодя вышел Фергюсон.

— Что, доктор? — сказал Хоггей.

— Сердце в порядке, — ответил Фергюсон по-французски, — нервы истощены и вялы.

— Это и есть Монте-Кристо? — спросил Харт.

— Пари, — сказал Блюм, знавший, в чем дело.

— Ну? — протянул Хоггей.

— Пари, что он помешается с наступлением тьмы.

— Э, пустяки, — возразил Хоггей. — Я говорю, что придет проситься обратно с единственной верой в лампочку Эдисона.

— Есть. Сто миллионов.

— Ну, хорошо, — сказал Хоггей. — Что, Харт?

— Та же сумма на смерть, — сказал Харт. — Он умрет.

— Принимаю. Начнем. Фергюсон, говорите, что надо сказать.

Роберт Эльгрёв не понял ни одной фразы. Он стоял и ждал, волнуясь безмерно. Его привели без объяснений, крепко завязав глаза, и он мог думать что угодно.

— Роберт, — сказал Фергюсон, придвигая мальчика за плечо к себе, — сейчас ты увидишь солнце — солнце, которое есть жизнь и свет мира. Сегодня последний день, как оно светит. Это утверждает наука. Тебе не говорили о солнце потому, что оно не было до сих пор в опасности, но так как сегодня последний день его света, жестоко было бы лишать тебя этого зрелища. Не рви платок, я сниму сам. Смотри.

Швырнув платок, Фергюсон внимательно стал приглядываться к побледневшему, ослепленному лицу. И как над микроскопом согнулся над ним Хоггей.

IV

Наступило молчание, во время которого Роберт Эльгрёв увидел необычайное зрелище и ухватился за Фергюсона, чувствуя, что пол исчез, и он валится в сверкающую зеленую пропасть с голубым дном. Обычное зрелище дня — солнечное пространство — было для него потрясением, превосходящим все человеческие слова. Не умея овладеть

громадной перспективой, он содрогался среди взметнувшихся весьма близких к нему стен из полей и лесов, но наконец пространство стало на свое место.

Подняв голову, он почувствовал, что лицо горит. Почти прямо над ним, над самыми, казалось, его глазами, пылал величественный и прекрасный огонь. Он вскрикнул. Вся жизнь всколыхнулась в нем, зазвучав вихрем, и догадка, что до сих пор от него было отнято все, в первый раз громовым ядом схватила его, стукнувшись по шее и виску, сердцу. В этот момент переливающийся раскаленный круг вошел из центра небесного пожара в остановившиеся зрачки, по глазам как бы хлестнуло резиной, и мальчик упал в судорогах.

— Он ослеп,— сказал Харт.— Или умер.

Фергюсон расстегнул куртку, взял пульс и помолчал с значительным видом.

— Жив? — сказал, улыбаясь и довольно откидываясь в кресле, Хоггей.

— Жив.

V

Тогда решено было посмотреть, как поразит Роберта тьма, которую, ничего не зная и не имея причины подозревать обман, он должен был считать вечной. Все скрылись в укромный уголок, с окном в сад, откуда среди чинной, но жестокой попойки наблюдали за мальчиком. Воспользовавшись обмороком, Фергюсон поддержал бесчувственное состояние до той минуты, когда лишь половина солнца виднелась над горизонтом. Затем он ушел, а Роберт открыл глаза.

«Я спал или был болен»,— но память не изменила ему; сев рядом, она ласково рассказала о грустном и жестоком восторге. Воспрянув, заметил он, что темно, тихо и никого нет, но, почти не беспокоясь об одиночестве, резко устремил взгляд на запад, где угасал, проваливаясь, круг цвета розовой меди. Заметно было, как тускнут и исчезают лучи. Круг стал как бы горкой углей. Еще немного,— еще,— последний сноп искр озарил белый снег гор — и умер,— навсегда! навсегда! навсегда!

Лег и уснул мрак. Направо горели огни третьего этажа.

— Свалилось! Свалилось! — закричал мальчик. Он сбегал в сад, ища и зовя людей, так как думал, что наступит невыразимо страшное. Но никто не отозвался на его крик. Он проник в чащу померанцевых и тюльпанных деревьев, где журчание искусственных ручьев сливалось с шелестом крон.

Сад рос и жил; цвела и жила невидимая земля, и подземные силы расстилали веера токов своих в дышащую теплом почву. В это время Хоггей сказал Харту и Блюму: «Сад заперт, стены высоки; там найдем, что найдем,— утром. Игрушка довольно пресная; не все выходит так интересно, как думаешь».

Что касается мальчика, то в напряжении его, в волнении, в безумной остроте чувств все перешло в страх. Он стоял среди кустов, стволов и цветов. Он слышал их запах. Вокруг все звучало насыщенной жизнью. Трепет струй, ход соков в стволах, дыхание трав и земли, голоса лопающихся бутонов, шум листьев, возня сонных птиц и шаги насекомых,— сливалось в ощущение спокойного, непобедимого рокота, летящего от земли к небу. Мальчику казалось, что он стоит на живом, теплом теле, заснувшем в некой твердой уверенности, недоступной никакому отчаянию. Это было так заразительно, что Роберт понемногу стал дышать легче и тише. Обман открылся ему внутри.

— Оно вернется,— сказал он.— Не может быть. Они надули меня.

VI

За несколько минут до рассвета Фергюсон разыскал жертву среди островков бассейна и привел ее в кабинет. Между тем в просветлевшей тьме за окном чей-то пристальный, горячий взгляд уперся в затылок мальчика; он обернулся и увидел красный сегмент, пылающий за равниной.

— Вот! — сказал он, вздрогнув, но сжав торжество, чтобы не разрыдаться.— Оно возвращается оттуда же, куда провалилось! Видели? Все видели?

Так как мальчик спутал стороны горизонта, то это был,— единственный, для одного человека,— случай, когда солнце поднялось с запада.

— Мы тоже рады. Наука ошиблась,— сказал Фергюсон.

Авель Хоггей сидел, низко согнувшись, в кресле, соединив колено, локоть и ладонь с подбородком, смотря и тоскуя в ужасной игре нам непостижимой мечты, на хилого подростка, который прямо смотрел в его тусклые глаза тигра взглядом испуга и торжества. Наконец, бьющий по непривычным глазам свет ослепил Роберта, заставил его прижать руки к глазам; сквозь пальцы потекли слезы.

Проморгавшись, мальчик спросил:

— Я должен стоять еще или идти?

— Выгнать его,— мрачно сказал Хоггей,— я вижу, что затея не удалась. А жаль. Фергюсон, ликвидируйте этот материал. И уберите остатки прочь.

ПУТЕШЕСТВЕННИК УЫ-ФЬЮ-ЭОЙ

Это пролетело в Ножане.

Но прежде я должен объяснить, что страсть к путешествиям вовлекла меня в четыре кругосветные рейса; совершив их, я с простодушием игрока посетил, еще кроме того, отдельно, в разное время — Австралию, Полинезию, Индию и Тибет.

Но я не был сыт. Что я видел? Лишь горизонты по обеим сторонам тех линеек, какие вычертил собственной особой своей вокруг океанов и материков. Я видел крошки хлеба, но не обозрел хлеба. Не видел всего. Всего! И никогда не увижу, ибо для того, чтобы увидеть на земном шаре все, требуется, при благоприятных условиях и бесконечном количестве денег — четыреста шестьдесят один год, без остановок и сна.

Так высчитал Дюклен О'Гунтас. Этому вы поверите, если я вам скажу, что для того, чтобы пройти решительно по всем улицам Лондона (только), надо пожертвовать три года и три месяца.

Итак, я устал и проиграл. Я почти ничего не видел на нашей планете.

Мое отчаяние было безмерно. В таком состоянии, в Ножане 14 марта 1903 г. я вышел на улицу из гостиницы «Голубой Кролик».

В этот момент невиннейший ветерок змейкой промел уличную пыль.

Под ноги шаловливому ветерку бросился встречный ма-люсенький ветерок, от чего поднялся крошечный пыльный смерчик и засорил мне глаза.

Пока я протирал глаза, было слышно, как возле меня сопит и свистит, временами тяжело отдуваясь, некий человек в грязном и лохматом плаще. Плащ был из парусины, такой штопаной и грязной, что, надо думать, побыл он довольно на мачте. Его мутная борода торчала вперед, как клок сена, удерживаемая в таком положении, вероятно, ветром, который вдруг стал порывист и силен. На непричесанной голове этого человека черным шлепком лежала крошечная плюшевая шапочка, подвязанная под подбородок обыкновенной веревкой.

Как поднялась пыль, то я не мог толком рассмотреть его лицо... Черты эти перебегали, как струи; я припомнил лишь огромные дыры хлопающих, волосатых ноздрей и что-то чрезвычайно ветреное во всем складе пренепритной, хотя добродушной, физиономии.

Мы как-то сразу познакомились, с первого взгляда. Положим, я был подвыпивши; кроме того, оба заговорили сразу, и к тому же я никогда не слышал, чтобы у человека так завлекательно свистело в носу. Что-то было в этом неудержимом высвистывании от нынешней капающей и скребущей музыки. И он дышал так громко, что с улицы улетели все голуби.

Он сказал:

— А? Что? Эй! Фью! Глаз засорил? Чихнул? Не беда! Клянусь муссоном и бризом! Пассатом и норд-вестом! Это я, я! Путешественник! Что? Как зовут? У-у-Фью-Эой! Ой! А-а! У-у-у!

Я не тотчас ответил, так как наблюдал охоту степного человека за собственным котелком. Котелок летел к набережной. Оглянувшись, я увидел еще много людей, ловивших что бог пошлет: шляпы, газеты, вырванные из рук порывом пыльной стихии; шлепнулся пузатый ребенок.

— Ну, вот...— сказал Фью (пусть читатель попробует величать его полным именем без опасности для языка),— всегда неудовольствие... беготня... и никогда... клянусь мистралем, ну, и аквилонном... никогда, чтоб тихо, спокойно... А хочется поговорить... у-у... у-у-у... по душам. Нагнать, приласкать. А ты недоволен? Чем? Чем? Чем, клянусь, уже просто — зефиром, с чего начал.

Кто объяснит порывы откровенности — искренности, внезапного доверия к существу, само имя которого, казалось, лишено костей, а фигура вихляется, как надутая воздухом. Но сей бродяга так подкупающе свистел носом, что я сказал все.

Фью загудел: «Ах так? Клянусь насморком! Клянусь розой ветров! Везде быть? Все видеть? Из шага в шаг? Все города и дома? Все войны и пески? Забрать глобус в живот? Ой-ой-ой-ой! Фью-фью! Это я видел! Я один, фью! И никто больше! Слушай: клянусь братом. С тех пор, как существует что-нибудь, что можно видеть глазами, — я уже везде был. И путешествовал без передышки. Заметь, что я никогда не дышу в себя, как это делаете вы раз двадцать в минуту. Я не люблю этого. Хочешь знать, что я видел? Как раз все то, что ты не видел, и то, что ты. Что англичане? Дети они. Возьми проволоку и уложи в спираль вокруг пестрого шара от полюса до полюса, оборот к обороту — это я там был! Везде был! Помнишь, когда еще не было ничего, кроме чего-то такого живого, скользкого и воды? И страшнейших болот, где, скажем, тогдашняя осока толщиной в мачту. Ну, все равно. Я путешествовал на триремах, галиотах, клиперах, фрегатах и джонках. Короче говоря, на каком месте ты ни развернешь книгу истории...

— Жизненный эликсир, — сказал я, — ты пил жизненный эликсир?

— Я ничего не пью. И ты не пей. Вредно! Клянусь сирокко! Пей только мое дыхание. Слушай меня. Я врать не буду. Хочешь? Хочешь пить дыхание? Моё! Моё! Клянусь ураганом!

Мы в это время подошли к набережной, где немедленно, на разрез течению, бросился по воде овал стремительной ряби, а плохо закрепленные паруса барок, выстрелив, как бумажные хлопушки, выпятились и уперлись в воздух. Крутая волна пошла валять лодки с борта на борт.

— Да, выпить бы чего... — пробормотал я.

В тот же момент пахнуло нам в лицо с юга. Станный, резкий и яркий, как блеск молнии, аромат коснулся моего сердца; но ветер ударил с запада, дыша кардифом и железом; ветер повернул ко мне свое северное лицо, облив свежестью громадного голубого льда, в свете небесной разноцветной игры; наконец подобный медлительному и

глухому удару там-тама восточный порыв хлынул в лицо сном и сладким оцепенением.

Вдруг вода успокоилась, облака разошлись, паруса свисли. Я оглянулся: никого не было. Только на горизонте нечто, подобное прихотливому облаку, быстро двигалось среди белых, ленивых туч с вытянутым вперед обрывком тумана, который, при некотором усилии воображения, можно было счесть похожим на чью-то бороду.

Ах, обман! Ах, мерзостный, все высмыгавший, все видевший пересмешник! О, жажда, ненасытная жажда видеть и пережить все, страсть, побивающая всех других добрых чертей этого рода! Ветер, ветер! С тобой всегда грусть и тоска. Ведь слышит он меня и стучится в трубу, где звонко чихает в сажу, выпевая рапсодию.

Шалун! Я затопил печку, а он выкинул дым.

ГЕНИАЛЬНЫЙ ИГРОК

I

Воспой, о муза, человека четвертого измерения — зеленого стола — так как именно в картах или, вернее, нераскрытых доныне законах их комбинаций, заключена таинственная философская сфера — вещественное и невещественное, практическое и умозрительное, физическое и геометрическое, — предел всем человеческим мерам, за которым всякий расчет столь неясен, что самый острый ум в соединении с отточенной интуицией является картонным мечом. Исход сражения предрешен. Острый ум гибнет, и только дурак, по безобидной терминологии «добрых людей», является в игре карт надежно вооруженным чем-то таким, что позволяет ему, с завязанными глазами, уверенно идти там, где нет ни входов, ни выходов.

Однако был человек, решивший объемистую эту задачу путем своеобразного расчета, секрет которого унес с собой в мрак могилы, а умер он потому, что встретил могущественное препятствие, помешавшее ему воспользоваться плодами невероятных своих трудов.

В 1914 году Ньюйоркский клуб «Санта Лючия» только что открыл свои роскошные помещения для бесчисленных аргонатов, собирающих где не теряли и жнущих где не посеяли. Потомство Джека Гэмлина восседало под звуки очаровательного оркестра среди столь художественной обстановки, полной утонченного замысла картин, статуй и gobelенов, что только рыжая душа янки могла остаться нечувствительной к окружающему ее великолепию, сосредоточив

весь жар свой на числе очков. Приличие не нарушалось. Дьявольский узор чувств был безупречно прикрыт лоском; играла музыка, и освежающее веяние серебристых фонтанов придавало происходящему магическую прелесть «Летней фантазии» Энсуорта, разыгрываемой в четыре руки.

Вдруг раздался крик.

Взгляды всех обратились к столу, где молодой человек с бледным лицом, стройный, красивый, хорошо одетый, с яростью, но сохраняя достоинство в движениях и в выражении лица, рвался из рук двух сильных крупье, схвативших его за кисти,— одна разжалась, и на стол, сверкая, вместе с золотом просыпалась колода карт. Крупье поспешно собрали ее.

Подобные происшествия отличаются тем, что для освещения их случай посылает обыкновенно человека, обладающего даром слова. Такой человек уже был тут, он стоял, ждал и выполнил свое предназначение коротким рассказом:

— Как только он сел, я почувствовал содрогание,— предчувствие охватило меня. Действительно, менее чем в полчаса мне пришлось расстаться с двадцатью тысячами долларов, ни разу не взяв при этом. Не менее, если не более, пострадали Грант, Аймер, Грантом. Еще ранее удался Джекобс, присвистнув, с бледным лицом. Короче говоря, молодой человек держал банк, всех бил и никому не давал. Я не помню такого счастья. Он готовился тасовать третью талию, но так неловко подменил колоду, что был немедленно схвачен. Теперь я, Грант, Аймер, Грантом и Джекобс отправились в кабинет директора клуба получить проигранное обратно.

И он ушел, Грант, Аймер, Грантом и Джекобс последовали за ним, сопровождаемые толпой дам, улыбающихся, воздушных, прекрасных — и совершенно невозможных в игре, так как они сварливы и жадны.

II

Дела подобного рода разбирались в «Санта Лючия» без свидетелей; оттуда иногда доносились вопли и проклятия избиваемых артистов темной игры; и ничто не указывало на тихий исход казуса; однако арестованный моло-

дой человек, будучи введен в кабинет, потребовал во имя истины, которую он решился открыть,— совершенного удаления всех посторонних, а также жертв своих замечательных упражнений.

Лакеи, уже засучившие рукава, вышли, покашливая неодобрительно; двери были плотно закрыты, преступная колода водружена на столе, и воинственно дышащие четыре директора, один другого мясистее, апоплексичнее и массивнее, стали вокруг избалованного непроницаемым ромбом.

Лицо уличенного нервно подергивалось; но ни стыда, ни растерянности, ни малодушия не было заметно в полных решительного волнения прекрасных чертах его; ничто в нем не указывало мошенника, напротив, казалось, этому лицу суждены великие дела и ослепительная судьба.

— Я сказал, что дам объяснения, и даю их,— заговорил он высокомерно,— я скажу,— что, но оставляю при себе — как к. Меня зовут Иоаким Гнейс. Мой дедушка был игрок, мать и отец — тоже. С одиннадцати лет мною овладела идея беспроектной колоды. Она обратилась в страсть, в манию, в помешательство. Я изучил все шулерские приемы и все системы, составители которых с радугой в голове не знают, где приклонить голову. Но я хотел честной игры.

Постоянное размышление об одном и том же с настойчивостью исключительной привело к тому, что я мог уже обходиться для своих опытов без карт. На улице, дома, в лесу или вагоне — меня окружали все пятьдесят две карты хороводом условных призраков, которые я переставлял и соединял в уме как хотел.

Так прошло восемь лет. Чувствуя приближение кризиса — решения невероятной задачи, преследуемой мной, я удалился в заброшенный дом, где почти без сна и еды семь дней созерцал движение знаков карт. Как Бах увидел свое произведение, заснув в церкви, собранием архитектурных форм несравненной красоты и точности, так вдруг увидел я свою комбинацию. Это произошло внезапно. В бесплотной толпе карт, окружавшей меня, пять карт выделились, сгруппировались особым, образом и поместились в остальной колоде таким образом, что сомнений более не было. Я нашел.

Суть моего изобретения такова. Вот моя колода карт — без крапа, без фальсификации; одним словом — колода честных людей. Я примешиваю ее к талии. После этого

тысяча человек могут тасовать талию и снимать как хотят,— я даже не трону ее. Но у меня всегда при сдаче будет очков больше, чем у остальных игроков.

Что же я делаю для этого?

Я беру из этой колоды шесть карт; каких — я не скажу вам. Пять я смешиваю в известной последовательности, вкладывая в любое место колоды. Шестую карту кладу предпоследней снизу. Затем эта колода, в числе произвольного количества колод, может быть растасована как угодно — я всегда выиграю. Меня погубила неловкость. Но шулером назвать меня вы не можете.

III

Пораженные директоры, с целью проверить слова Гнейса, пригласили экспертов, опытных игроков во все игры, людей, судьба которых переливала всеми цветами спектра звезды, именуемой — Счастье Игрока. Десять раз перемешивали они колоду, сложенную тайно от них по своему способу Гнейсом, и не случилось ни разу, чтобы карты, выпавшие ему на сдаче, проиграли. У него всегда было больше очков.

Взгляд презрительного, глубокого сожаления, брошенный на молодого изобретателя игроком Бутсом, заставил Гнейса вспыхнуть и побледнеть. Он встал, Бутс вежливо удержал его.

— Ум, направленный к пошлости,— кратко сказал он,— талант хама, гений идиотизма. Вы...

Но Гнейс бросился на него. Схватка, предупрежденная присутствующими, еще горела в лицах противников. Гнейс тяжело дышал, Бутс пристально смотрел на него, сжав свои старые, тонкие губы.

— Я с намерением оскорбил вас,— холодно сказал он.— В вашем лице я встречаю гнусный маразм, отсутствие воображения и плоский расчет. Игра прекрасна только тогда, когда она полна пленительной неизвестности. И жизнь — тоже. То и другое вы определили бухгалтерским расчетом. Поэтому, то есть для вящего удовлетворения вашего, я предлагаю решить наш спор вашей колодой; мы сыграем вдвоем.

Гнейс рассмеялся.

Были стасованы и сданы карты; перед тем колода, сложенная им особо, была пущена в талию. «Кто проиграл, тот стреляется,— сказал Бутс,— у кого меньше очков, тот умер».

— Семь,— сказал, перевернув карты, спокойный Гнейс.

— Девять,— возразил Бутс.

Гнейс подержал карты еще с минуту, побелел, схватился за воротник и упал мертвым. Его сердце не перенесло удара.

— Так бывает,— сказал в конце всей этой сцены Бутс потрясенным свидетелям,— по-видимому, его открытие только иногда — редко, может быть, раз в десять лет — подвержено некоторому отклонению. Но в общем — система не имеет себе равной. Он проиграл.

СЛОВООХОТЛИВЫЙ ДОВОЙ

Я стоял у окна, насвистывая песенку
об Анне...

Х. Хорнунг

I

Домовой, страдающий зубной болью,— не кажется ли это клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками? Но это так, это было,— маленький, грустный домовой сидел у холодной плиты, давно забывшей огонь. Мерно покачивая нечесаной головой, держался он за обвязанную щеку, стонал — жалостно, как ребенок, и в его мутных, красных глазах билось страдание.

Лил дождь. Я вошел в этот заброшенный дом переждать непогоду и увидел его, забывшего, что надо исчезнуть...

— Теперь все равно,— сказал он голосом, напоминающим голос попугая, когда птица в ударе,— все равно, тебе никто не поверит, что ты видел меня.

Сделав, на всякий случай, из пальцев рога улитки, то есть «джеттатуру», я ответил:

— Не бойся. Не получишь ты от меня ни выстрела серебряной монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст.

— И-ох. Как, несмотря на то, трудно уйти отсюда,— возразил маленький домовый.— Вот послушай. Я расскажу, так и быть. Все равно, у меня болят зубы. Когда говоришь — легче. Значительно легче... ох. Мой милый, это был один час, и из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему. Мои-то, мои,—он плаксиво вздохнул.— Мои-то, ну,— одним словом,— наши,— давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, как ушли отсюда, а я не могу, так как должен понять.

Оглянись — дыры в потолке и стенах, но представь теперь, что все светится чистой медной посудой, занавеси белые и прозрачны, а цветов внутри дома столько же, сколько вокруг в лесу; пол ярко натерт; плита, на которой ты сидишь, как на холодном, могильном памятнике, красна от огня, и kloкочущий в кастрюлях обед клубит аппетитным паром.

Неподалеку были каменоломни — гранитные ломки. В этом доме жили муж и жена — пара на редкость. Мужа звали Филипп, а жену — Анни. Ей было двадцать, а ему двадцать пять лет. Вот, если тебе это нравится, то она была точно такая,— здесь домовый сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника, из набившейся годами земли и демонстративно преподнес мне.— Мужа я тоже любил, но она больше мне нравилась, так как не была только хозяйкой; для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стучала по большому камню, что на перекрестке, слушая, как он, долго затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене желтого зайчика. Не удивляйся,— в этом есть магия, великое знание прекрасной души, но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки; люди непроницательны.

«Анни! — весело кричал муж, когда приходил к обеду с каменоломни, где служил в конторе,— я не один, со мной мой Ральф». Но шутка эта повторялась так часто, что Анни, улыбаясь, без замешательства сервировала на два прибора. И они встречались так, как будто находили друг друга — она бежала к нему, а он приносил ее на руках.

По вечерам он вынимал письма Ральфа — друга своего, с которым провел часть жизни, до того как женился, и перечитывал вслух, а Анни, склонив голову на руки, прислушивалась к давно знакомым словам о море и блеске чуд-

ных лучей по ту сторону огромной нашей земли, о вулканах и жемчуге, бурях и сражениях в тени огромных лесов. И каждое слово заключало для нее камень, подобный поющему камню на перекрестке, ударив который слышишь протяжный звон.

— «Он скоро придет,— говорил Филипп: — он будет у нас, когда его трехмачтовый «Синдбад» попадет в Грес. Оттуда лишь час по железной дороге и час от станции к нам».

Случалось, что Анни интересовалась чем-нибудь в жизни Ральфа; тогда Филипп принимался с увлечением рассказывать о его отваге, причудах, великодушии и о судьбе, напоминающей сказку: нищета, золотая россыпь, покупка корабля и кружево громких легенд, вытканное из корабельных снастей, морской пены, игры и торговли, опасностей и находок. Вечная игра. Вечное волнение. Вечная музыка берега и моря.

Я не слышал, чтобы они ссорились,— а я все слышу. Я не видел, чтобы. хоть раз холодно взглянули они,— а я все вижу. «Я хочу спать»,— говорила вечером Анни, и он нес ее на кровать, укладывая и завертывая, как ребенка. Засыпая, она говорила: «Филь, кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше? Чье это лицо вижу я в ручье рядом с тобой?» Тревожно отвечал он, заглядывая в полусомкнутые глаза: «Ворона ходит по крыше; ветер шумит в деревьях; камни блестят в ручье,— спи и не ходи босиком».

Затем он присаживался к столу кончать очередной отчет; потом умывался, приготавливал дрова и ложился спать, засыпая сразу, и всегда забывал все, что видел во сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где выют из пыли и лунных лучей феи замечательные ковры.

II

— Ну, слушай... Немного осталось досказать мне о трех людях, поставивших домового в тупик. Был солнечный день полного расцвета земли, когда Филипп, с записной книжкой в руке, отмечал груды гранита, а Анни, возвращаясь от станции, где покупала, остановилась у своего камня и, как всегда, заставила его петь ударом ключа. Это был обломок скалы, вышиною в половину тебя. Если его

ударить, он долго звенит, все тише и тише, но, думая, что он смолк, стоит лишь приложиться ухом — и различишь тогда внутри глыбы его едва слышный голос.

Наши лесные дороги — это сады. Красота их сжимает сердце, цветы и ветви над головой рассматривают сквозь пальцы солнце, меняющее свой свет, так как глаза устают от него и бродят бесцельно; желтый и лиловатый и темно-зеленый свет отражены на белом песке. Холодная вода в такой день лучше всего.

Анни остановилась, слушая, как в самой ее груди поет лес, и стала стучать по камню, улыбаясь, когда новая волна звона осиливала полустихший звук. Так забавлялась она, думая, что ее не видят, но человек вышел из-за поворота дороги и подошел к ней. Шаги его становились все тише, наконец, он остановился; продолжая улыбаться, взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут.

Он был смугл — очень смугл, и море оставило на его лице остроту бегущей волны. Но оно было прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его темные глаза смотрели на Анни, темнея еще больше и ярче; а светлые глаза женщины кротко блеснули.

Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи.

Камень давно стих, а они все еще смотрели, улыбаясь без слов, без звука; тогда он протянул руку, и она — медленно — протянула свою, и руки соединили их. Он взял ее голову — осторожно, так осторожно, что я боялсядохнуть, и поцеловал в губы. Ее глаза закрылись.

Потом они разошлись — и камень по-прежнему разделял их. Увидев Филиппа, подходившего к ним, Анни поспешила к нему: — Вот Ральф; он пришел.

— Пришел, да. — От радости Филипп не мог даже закричать сразу, но наконец бросил вверх шляпу и закричал, обнимая пришельца. — Анни ты уже видел, Ральф. Это она.

Его доброе твердое лицо горело возбуждением встречи.

— Ты поживешь у нас, Ральф; мы все покажем тебе. И поговорим всласть. Вот, друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя.

Анни положила руку на плечо мужа и взглянула на него самым большим, самым теплым и чистым взглядом

своим, затем перевела взгляд на гостя, не изменив выражения, как будто оба равно были близки ей.

— Я вернусь,— сказал Ральф,— Филъ, я перепутал твой адрес и думал, что иду не по той дороге. Потому я не захватил багажа. И я немедленно отправлюсь за ним.

Они условились и расстались. Вот все, охотник, убийца моих друзей, что я знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне.

— Ральф вернулся?

— Его ждали, но он написал со станции, что встретил знакомого, предлагающего немедленно выгодное дело.

— А те?

— Они умерли, умерли давно, лет тридцать тому назад. Холодная вода в жаркий день. Сначала простудилась она. Он шел за ее гробом, полуседой, потом он исчез; передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Но что до этого?.. Зубы болят, и я не могу понять...

— Так и будет,— вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую, невытую лапу.— Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца; домовые — непроницательны.

СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

I

Открытие алмазных россыпей в Кордон-Брюн сопровождалось тягой к цивилизации. Нам единственно интересно открытие блистательного кафе. Среди прочей публики мы отметим здесь три скептических ума,— три художественных натуры,— три погибшие души, несомненно талантливые, но переставшие видеть зерно. Разными путями пришли они к тому, что видели одну шелуху.

Это мировоззрение направило их способности к мистификации, как призванию. Мистификация сделалась их религией. И они достигли в своем роде совершенства. Так например, легенда о бриллианте в тысячу восемьсот каратов, ехидно и тонко обработанная ими меж бокалом шампанского и арией «Жоселена», произвела могучее действие, бросив тысячи проходимцев на поиски чуда к водопаду Альпетри, где, будто, над водой, в скале, сверкало чудовище. И так далее. Стелла Дижон благодаря им получила уверенность, что безнадежно влюбленный в нее (чего не было) Гарри Эванс с отчаяния женился на девице О'Нэйль. Произошла драма, позорный исход которой не сделал никому чести: Эванс стал думать о Стелле и застрелился.

Гарт, Вебер и Консейль забавлялись. Видения, возникающие в рисунке дыма из крепких сигар, определили их лукаво-беззаботную жизнь. Однажды утром сидели они в кафе в удобных качалках, молча и улыбаясь подобно

авгурам; бледные несмотря на зной, приветливые, задумчивые; без сердца и будущего.

Их яхта еще стояла в Кордон-Руж, и они медлили уезжать, смакуя впечатления бриллиантового азарта среди грязи и хищного блеска глаз.

Утренняя жара уже никла в тени бананов; открытые двери кафе «Конго» выказывали за проулком дымные кучи земли с взлетающей над ней киркой; среди насыпей белели пробковые шлемы и рдели соломенные шляпы; буйволы тащили фургон.

Кафе было одной из немногих деревянных построек Кордон-Брюна. Здесь — зеркала, пианино, красного дерева буфет.

Гарт, Вебер и Консейль пили. Вошел Эммануил Стиль.

II

Вошедший резко отличался от трех африканских снобов красотой, силой сложения и детской верой, что никто не захочет причинить ему ничего дурного, сиявшей в его серьезных глазах. У него большие и тяжелые руки, фигура воина, лицо простофили. Он был одет в дешевый бумажный костюм и прекрасные сапоги. Под блузой выпиралась рукоять револьвера. Его шляпа, к широким полям которой на затылок был пришит белый платок, выглядела палаткой, вместившей гиганта. Он мало говорил и прелестно кивал, словно склонял голову вместе со всем миром, внимающим его интересу. Короче говоря, когда он входил, хотелось посторониться.

Консейль, мягко качнув ногой, посмотрел на сухое уклончиво улыбающееся лицо Гарта; Гарт взглянул на мраморное чело и голубые глаза Консейля; затем оба перемигнулись с Вебером, свирепым, желчным и черным; и Вебер, в свою очередь, метнул им из-под очков тончайшую стрелу, после чего все стали переговариваться.

Несколько дней назад Стиль сидел,пил и говорил с ними, и они знали его. Это был разговор внутреннего, сухого хохота, во весь рост, — с немного наивной верой во все, что поражает и приковывает внимание; но Стиль даже не подозревал, что его вышутили.

— Это он, — сказал Консейль.

— Человек из тумана,— вернул Гарт.

— В тумане,— поправил Вебер.

— В поисках таинственного угла.

— Или четвертого измерения.

— Нет; это искатель редкостей,— заявил Гарт.

— Что говорил он тогда о лесе? — спросил Вебер.

Консейль, пародируя Стиля, скороговоркой произнес:

— Этот огромный лес, что тянется в глубь материка на тысячи миль, должен таить копи царя Соломона, сказку Шехерезады и тысячу тысяч вещей, ждущих от-крытия.

— Положим,— сказал Гарт, поливая коньяком муху, уже опьяневшую в лужице пролитого на стол вина,— положим, что он сказал не так. Его мысль неопределенно прозвучала тогда. Но ее суть такова: «в лесном океане этом должен быть центр наибольшего и наипоразительнейшего неизвестного впечатления, некий Гималай впечатлений, рассыпанных непрерывно». И если бы он знал, как разыскать этот з е н и т,— он бы пошел туда.

— Вот странное настроение в Кордон-Брюне,— заметил Консейль,— и богатый материал для игры. Попробуем этого человека.

— Каким образом?

— Я обдумал вещичку, как это мы не раз делали; думаю, что изложу ее довольно устойчиво. От вас требуется лишь говорить «да» на всякий вопросительный взгляд со стороны м а т е р и а л а.

— Хорошо,— сказали Вебер и Гарт.

— Ба! — немедленно воскликнул Консейль.— Стиль! Садитесь к нам.

Стиль, разговаривавший с буфетчиком, обернулся и подошел к компании. Ему подали стул.

III

Вначале разговор носил обычный характер, затем перешел на более интересные вещи.

— Ленивец,— сказал Консейль,— вы, Стиль! Огребли в одной яме несколько тысяч фунтов и успокоились. Продали вы ваши алмазы?

— Давно уже,— спокойно ответил Стиль,— но нет желания предпринимать что-нибудь еще в этом роде. Как новинка прииск мне нравился.

— А теперь?

— Я — новичок в этой стране. Она страшна и прекрасна. Я жду, когда и к чему потянет меня внутри.

— Особый склад вашей природы я заметил по прошлому нашему разговору, — сказал Консейль. — Кстати, на другой день после того мне пришлось говорить с охотником Пелегрином. Он взял много слоновой кости по ту сторону реки, миль за пятьсот отсюда, среди лесов, так пленяющих ваше сердце. Он рассказал мне о любопытном явлении. Среди лесов высится небольшое плато с прелестным человеческим гнездом, встречаемым неожиданно, так как тропическая чаща в роскошной полутьме сзоей неожиданно пресекается высокими бревенчатыми стенами, образующими заднюю сторону зданий, наружные фасады которых выходят в густой внутренний сад, полный цветов. Он пробыл там один день, встретив маленькую колонию уже под вечер. Ему послышался звон гитары. Потрясенный, так как только лес, только один лес мог расстилаться здесь, и во все стороны не было даже негритянской деревни ближе четырнадцати дней пути, Пелегрин двинулся на звук, и ему оказали теплое гостеприимство. Там жили семь семейств, тесно связанные одинаковыми вкусами и любовью к цветущей заброшенности, — большей заброшенности среди почти недоступных недр конечно трудно представить. Интересный контраст с вполне культурным устройством и обстановкой домов представляло занятие этих Робинзонов пустыни — охота; единственно охотой промышляли они, сплавливая добычу на лодках в Танкос, где есть промышленные агенты, и обменивая ее на все нужное, вплоть до электрических лампочек.

Как попали они туда, как подобрались, как устроились? Об этом не узнал Пелегрин. Один день, — он не более, как вспышка магния среди развалин, — поймано и ушло, быть может, существенное. Но труд был велик. Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, — что вам еще?! Кажется, эти люди сошлись п е т ь. И Пелегрин особенно ярко запомнил первое впечатление, подобное глухому рисунку: узкий про-

ход меж бревенчатых стен, слева — маленькая рука, махающая с балкона; впереди — солнце и рай.

Вам случалось, конечно, провести ночь в незнакомой семье. Жизнь, окружающая вас, проходит отрывком, полным очарования, вырванной из неизвестной книги страницей. Мелькнет не появляющееся в вечерней сцене лицо девушки или старухи; особый, о своем, разговор коснется вашего слуха, и вы не поймете его; свои чувства придадите вы явлениям и вещам, о которых знаете лишь, что они приютили вас; вы не вошли в эту жизнь, и потому овеена она странной поэзией. Так было и с Пелегрином.

Стиль внимательно слушал, смотря прямо в глаза Консейля.

— Я вижу все это, — просто сказал он, — это огромно. — Не правда ли?

— Да, — сказал Вебер, — да.

— Да, — подтвердил Гарт.

— Нет слов выразить, что чувствуешь, — задумчиво и взволнованно продолжал Стиль, — но как я был прав! Где живет Пелегрин?

— О, он выехал с караваном в Ого.

Стиль провел пальцем по столу прямую черту, сначала тихо, а затем быстро, как бы смахнул что-то.

— Как называлось то место? — спросил он. — Как его нашел Пелегрин?

— Сердце Пустыни, — сказал Консейль. — Он встретил его по прямой линии между Кордон-Брюн и озером Бан. Я не ошибся, Гарт?

— О, нет.

— Еще подробность, — сказал Вебер, покусывая губы, — Пелегрин упомянул о трамплине, — одностороннем лесистом скате на север, пересекавшем диагональю его путь. Охотник, разыскивая своих, считавших его погибшим, в то время, как он был лишь оглушен падением дерева, шел все время на юг.

— Скат переходит в плато? — Стиль поворачивался всем корпусом к тому, кого спрашивал.

Тогда Вебер сделал несколько топографических указаний, столь точных, что Консейль предостерегающе поглядывал на него, насмиваясь: «Куда торопишься, красотка, еще ведь солнце не взошло»... Однако ничего не случилось.

Стиль выслушал все и несколько раз кивнул своим теплым кивком. Затем он поднялся неожиданно быстро, его взгляд, когда он прощался, напоминал взгляд прощувшегося. Он не замечал, как внимательно схватываются все движения его шестью острыми глазами холодных людей. Впрочем, трудно было решить по его наружности, что он думает,— то был человек сложных движений.

— Откуда,— спросил Консейль Вебера,— откуда у вас эта уверенность в неизвестном, это знание местности.

— Отчет экспедиции Пена. И м о я память.

— Так. Ну, что же теперь?

— Это уж его дело,— сказал смеясь Вебер,— но поскольку я знаю людей... Впрочем, в конце недели мы отплываем.

Свет двери пересекла тень. В двери стоял Стиль.

— Я вернулся, но не войду,— быстро сказал он.— Я прочел порт на корме яхты. Консейль — Мельбурн, а еще...

— Флаг-стрит, 2,— также ответил Консейль.— И...

— Все, благодарю.

Стиль исчез.

— Это, пожалуй, выйдет,— хладнокровно заметил Гарт, когда молчание сказала что-то каждому из них по-особому.— И он н а й д е т вас.

— Что?

— Такие не прощают.

— Ба,— кивнул Консейль.— Жизнь коротка. А свет — велик.

IV

Прошло два года, в течение которых Консейль побывал еще во многих местах, наблюдая разнообразие жизни с вечной попыткой насмешливого вмешательства в ее головокружительный лет; но наконец и это утомило его. Тогда он вернулся в свой дом к едкому наслаждению одиночеством без эстетических судорог дез-Эссента, но с горем холодной пустоты, которого не мог сознать.

Тем временем воскресали и разбивались сердца; гремел мир; и в громе этом выделился звук ровных шагов. Они смолкли у подъезда Консейля; тогда он получил карточку, напоминавшую Кордон-Брюн.

— Я принимаю,— сказал после короткого молчания Консейль, чувствуя среди изысканной неприятности своего

положения живительное и острое любопытство.— Пусть войдет Стиль.

Эта встреча произошла на расстоянии десяти сажен огромной залы, серебряный свет которой остановил, казалось, всей прозрачной массой своей показавшегося на пороге Стиля. Так он стоял несколько времени, приглядываясь к замкнутому лицу хозяина. В это мгновение оба почувствовали, что свидание неизбежно; затем быстро сошлись.

— Кордон-Брюн,— любезно сказал Консейль.— Вы исчезли, и я уехал, не подарив вам гравюры Морада, что собирался сделать. Она в вашем вкусе,— я хочу сказать, что фантастический пейзаж Сатурна, изображенный на ней, навеивает тайны вселенной.

— Да,— Стиль улыбался.— Как видите, я помнил ваш адрес. Я записал его. Я пришел сказать, что был в Сердце Пустыни и получил то же, что Пелегрин, даже больше, так как я живу там.

— Я виноват,— сухо сказал Консейль,— но мои слова — мое дело, и я отвечаю за них. Я к вашим услугам, Стиль.

Смеясь, Стиль взял его бесстрастную руку, поднял ее и хлопнул по ней.

— Да нет же,— вскричал он,— не то. Вы не поняли. Я сделал Сердце Пустыни. Я! Я не нашел его, так как его там, конечно, не было, и понял, что вы шутили. Но шутка была красива. О чем-то таком, бывало, мечтал и я. Да, я всегда любил открытия, трогающие сердце подобно хорошей песне. Меня называли чудачком — все равно. Признаюсь, я смертельно позавидовал Пелегрину, а потому отправился один, чтобы быть в сходном с ним положении. Да, месяц пути показал мне, что этот лес. Голод... и жажда... один; десять дней лихорадки. Палатки у меня не было. Огонь костра казался цветным, как радуга. Из леса выходили белые лошади. Пришел умерший брат и сидел смотря на меня; он все шептал, звал куда-то. Я глотал хину и пил. Все это задержало, конечно. Змея укусила руку; как взорвало меня,— смерть. Я взял себя в руки, прислушиваясь, что скажет тело. Тогда, как собаку, потянуло меня к какой-то траве, и я ел ее; так я спасся, но измошел потом и спал. Везло, так сказать. Все было, как во сне: звери, усталость, голод и тишина; и я убивал зверей.

Но не было ничего на том месте, о котором говорилось тогда; я исследовал все плато, спускающееся к маленькому притоку в том месте, где трамплин расширяется. Конечно, все стало ясно мне. Но там подлинная красота,— есть вещи, о которые слова бьются как град о стекло,— только звенит...

— Дальше,— тихо сказал Консейль.

— Нужно было, чтобы он был там,— кротко продолжал Стиль.— Поэтому я спустился на плоте к форту и заказал с станционером нужное количество людей, а также все материалы, и сделал, как было в вашем рассказе и как мне понравилось. Семь домов. На это ушел год. Затем я пересмотрел тысячи людей, тысячи сердец, разъезжая и разыскивая по многим местам. Конечно, я не мог не найти, раз есть такой я,— это понятно. Так вот, поедemте взглянуть; видимо, у вас дар художественного воображения, и мне хотелось бы знать, так ли вы представляли.

Он выложил все это с ужасающей простотой мальчика, рассказывающего из всемирной истории.

Лицо Консейля порозовело. Давно забытая музыка прозвучала в его душе, и он вышагал неожиданное волнение по диагонали зала, потом остановился, как вкопанный.

— Вы — турбина,— сдавленно сказал он,— вы знаете, что вы — турбина. Это не оскорбление.

— Когда ясно видишь что-нибудь...— начал Стиль.

— Я долго спал,— перебил его сурово Консейль.— Значит... Но как похоже это на гресу! Быть может, надо еще жить, а?

— Советую,— сказал Стиль.

— Но его не было. Не было.

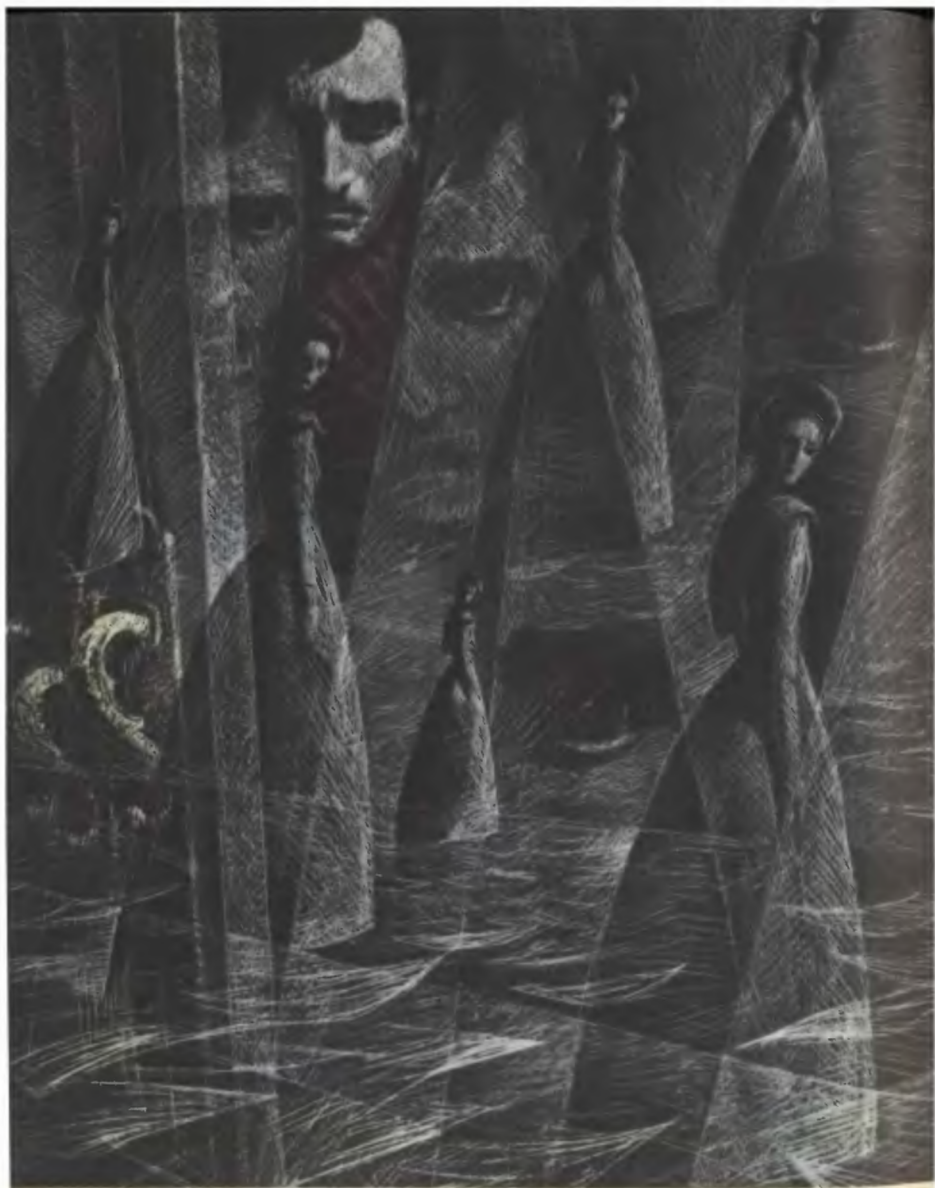
— Был.— Стиль поднял голову без цели произвести впечатление, но от этого жеста оно кинулось и загремело во всех углах.— Он был. Потому, что я его нес в сердце своем.

Из этой встречи и из беседы этой вытекло заключение, сильно напоминающее сухой бред изысканного ума в Кордон-Брюн. Два человека, с глазами, полными оставленного сзади громадного глухого пространства, уперлись в бревенчатую стену, скрытую чащей. Вечерний луч встретил их, и с балкона над природной оранжереей сада прозвучал тихо напевающий голос женщины.

Стиль улыбнулся, и Консейль понял его улыбку.



«КРЫСОЛОВ»



«КРЫСОЛОВ»

ПРИКАЗ ПО АРМИИ

Великая европейская война 1914—1917 г. была прекращена между Фиттибрюном и Виссенбургом обывательницей последнего, девицей Жанной Кароль, девяти лет и трех месяцев. Правда, эта война была прекращена не совсем, не более как, может быть, на один час и только в одном месте,— что до этого? Важно событие.

Часов около пяти пополудни на пыльной дороге, огибавшей лес, носивший местами следы крупной рубки, показались два существа, из которых одно, побольше,— бунтовало и густо ревело, утирая окровавленными руками вспухшие от слез глаза, а другое, поменьше,— настойчиво влекло первое по направлению к крышам деревни. Уцепившись за братнину рубашку, девочка резко дергала ее каждый раз, как только мальчик, вспоминая о мужской самостоятельности, начинал вырываться крича:

— Ступай к черту, Жанна! Не твое дело. Не пойду!

Но он, тем не менее, шел отлично и довольно скоро, сопротивляясь более по привычке, чем серьезно. Ему было 11 лет. Его мужское чувство, источник презрения к «девчонкам», было опрокинуто и уничтожено ударом кулака в нос. Он затеял драку и ретировался с позором. Жанна сердилась, но и жалела его; все произошло на ее глазах.

— Пожалуйста не реви,— говорила она,— нам надо торопиться; дома, наверное, уже беспокоятся, и все по твоей милости. Как хорошо, что я была тут. Уж и измочалили бы тебя.

— Хы...— ревел Жан,— я их сам измочаю; погоди, как встретим в другой раз, я покажу. Хы. Вдвоем каж-

дый может. Нет, ты испробуй один на один, вот сейчас. С грязью смешаю.

— Вот ты бы и не дразнил их.

— Я не дразнил.

— Врешь. Ты же бросал им вдогонку камешки и кричал: «Фиттибрюнский домовый лезет в кашу с головой! Ты головку обсоси, съешь и больше не проси».— А ты же знаешь, что фиттибрюнские на стенку прут, как им сказать это?

— Эх, дура ты, дура! — вскричал Жан.— Что ты смыслишь в наших делах вообще? Девчонка. А это ничего, что они поют: «В Виссенбурге на сосне видит мясо мышь во сне»...

— Ну, поют, а теперь не пели; ты сам раздражил их.

— Все равно; все они жулики.

Этот решительный аргумент приободрил Жана и временно парализовал девочку. Споря, оба разгорячились и остановились.

За их спиной стоял лес; впереди, пониже дороги, пестрела обширная вырубка с кустами и пнями среди стен дров, занимавших большую часть открытой равнины. Дрова эти, составленные тесными линиями четырехугольников, не позволяли ничего видеть далее двадцати шагов.

Уже третий день в окрестности шли бои; иногда дым на горизонте указывал пожар далекой деревни. Непрерывно падали за горизонтом тяжелые пушечные удары; и тогда, казалось, к ногам, остановясь, подкатывается чуть слышный толчок.

— Тебе когда-нибудь здорово попадет с твоим языком,— сказала девочка.— Что? Из носа-то что течет? Небось, не сливки.

— Кровь,— сказал Жан, рассматривая запачканные пальцы.— Ничего. Мы, мужчины, должны приучаться сражаться. А вы будете шить и плакать.

— Видать, что сражался. Глаз-то какой толстый стал.

— А наплевать. Все надо терпеть. Зато как вырасту и поступлю в солдаты, станут говорить: «Эге, Жан Кароль будет генералом».

— Это ты-то?

— А что же? Вон сколько дров! Смотри. Столько солдат на свете и еще больше. Все они могут стать генералами и отвоевать знамя. А тебе нечего делать у нас.

Жанна задумалась. Машинально держась за рукав

мальчика, смотрела она на раскинутые по вырубке стены дров, представляя, что все это босоногие Жаны с раскрашенными носами. В ее маленькой душе жила отвага ее знаменитой тетки, но отвага, направленная к поучению и примирению. Ее глазки блеснули.

— И я бы вас встретила,— вскричала она.— Уж я бы вас отчитала. Вот, Жан, если все эти дрова станут солдатами и закричат на меня, я им скажу: «Ступайте домой, солдаты. Отдаю вам приказ по всей армии: драться нехорошо. У нас курицу сегодня зарезали, вот так и вас всех зарежут. И постреляют. У-у! Пошли, пошли. Разойдитесь. Наплачешься с вами, как вас побьют. Мы тоже скоро уедем; уж по деревне все отцы говорят, что здесь нельзя жить. Чего дома не сидите? Чего пришли? Раздумайте-ка воевать. Чтобы и духу вашего не было. А то устанете и к обеду опоздаете».

Она воодушевилась, проголосив эту тираду стремительным и сердитым звонком, но тут же соскочила с пня, на который встала ради величия, и спряталась за Жанна, успевшего только закричать: «Ай!» Над поленницами взлетели сотни фуражек, и вся засада французов, выступив из-за прикрытия, где отлежала бока, поджидая делавший обход германский эскадрон, с хохотом повалила к девочке.

Судьбе угодно было показать и второй конец этого эпизода. Еще Жанна сидела на плече рослого пехотинца, который, вертясь волчком, звал всех идти полюбоваться «на исчадие антимилитаризма, опасное, как змея» — как, градом прошумев в лесу, выкатился конный отряд.

Неожиданность, венчаемая малюткой, видимой подобно знамени всем, произвела мгновенное действие холостого выстрела. Положение было странное и глупое. Щелкнули затворы драгун, но дула опустились; француз стал вертеть над головой носовой платок.

— Дальше, дальше, боши! — вскричала засада.— Мы обедаем. Читаем «Берлинер Тагеблат».

И понемногу завязался разговор. Он кончился благополучно, как обычно кончаются подобные случаи непредвиденного помешательства, и стычки не произошло. Детей вывели на дорогу, приказали им идти домой. Жан злился.

— Дура, ты все спутала,— говорил он.— Вот попало бы драгунам на орехи.

— Ну, иди же, иди,— хмуро сказала девочка.

ГЛАДИАТОРЫ

Повторяю,— я ничего не выдумываю. После долгого периода, после несказанных нравственных мучений, после молчания, вынужденного рядом тягчайших обстоятельств, я получил возможность открыть кое-что, но еще далеко не все, об Авеле Хоггее, человеке, придумавшем и выполнившем столь затейливые и грандиозные преступления,— единственно удовольствия и забавы ради,— что, когда будут они описаны все, многими овладеет тяжесть, отчаяние и ярость бессилия.

Наступил вечер, когда вилла Хоггея «Гауризанкар» наметила огненный контур свой в холмистом склоне садов. Здание было иллюминировано. Казалось, ожидается съезд половины города, между тем подобные вечера редко посещались более чем шестью лицами, не считая меня. Никто посторонний, подозрительный, ненадежный не мог посетить их, тем более оргию того рода, какая предполагалась теперь. Но шесть человек, подобных самому Авелю, участвовали в его затеях почти всегда, хотя не могли тратить так много денег, как он, особенно на покупку людей.

«Пусть будет сегодня Рим»,— сказал жене Хоггей, когда я рассматривал мраморные колонны, увитые розами, и, бросая взгляд на огромные столы, чувствовал все ничтожество современного желудка перед изобилием, точно повторяющим безумие древних обжор. Разумеется, это

была более декорация, чем ужин — едва ли тысячную часть всего могли съесть Хоггей и его гости, — но он хотел полного впечатления... «Рим», — повторял он своим тихим, не знающим возражений голосом, и точно — воскресший Рим глянул вокруг нас.

Единственно, что нарушало иллюзию, — это костюмы. Сесть в триклиниуме во фраке, не делаясь нимало комичным, — так поступить мог только Хоггей. Он презирал покупаемое, презирал Рим. Стерс высчитал, что обратив состояние Хоггея в алмазы, можно было бы нагрузить ими броненосец. Такие вещи делают фрак величественным. Его друзья, его неизменные спутники, имена которых шуршаг сухо, как банковые билеты: Гюйс, Аспер, Стерс, Ассандрей, Айнсер и Фрид, — отсвечивали меньшим могуществом, но в тон тех групп алмазов, которыми мог бы обернуться Хоггей. Естественно, что тога, туника, сандалии могли и не быть. Над белыми вырезами фраков поворачивались желтые сухие глаза владык.

Воспоминание сохранило мне смуглые руки рабынь, блеск золота и вихри розовых лепестков, слоем которых был покрыт пол, когда рой молодых девушек, вскидывая тимпаны, озарил грубое пьянство трепетом и мельканием танцев. Я погрузился в дикий узор чувств, напоминающий бессмысленные и тщетные заклинания. Яркость красок была по глазам. Музыка, подтачивая волю, уносила ее с дымом курений в ослепительное Ничто.

В то время, как пьянство и античный разврат (когда он не был античен?) развязывали языки, Хоггей молчал; лишь три раза сказал он кому-то «нет». Так сонно, что я подумал самое худшее о его настроении.

Но не успел я обратиться к нему по своей обязанности врача с соответствующим вопросом, как он, хрустнув пальцами, крикнул мне: «Фергюсон, ступайте к бойцам, осмотрите и выведите. Вино не действует на меня!»

Повинуясь приказанию, я отправился к гладиаторам. То были два молодых атлета, купленные Хоггеем для смертельной борьбы. Я застал их вполне готовыми, в тихой беседе; крепко пожав друг другу руки, они взяли оружие и сошли вниз.

Я знал условия. Оставшийся живым получал 500 ты-

сая, вдвое большую сумму получала семья убитого. Так или иначе, они жертвовали собой ради своих близких. У меня не было мужества посмотреть им в глаза. Конечно, все сложные объяснения по поводу т р у п а были уже придуманы; недосмотр покрывался, как всегда, золотом.

Да простит мне читатель эту сухость, это отвращение к подробностям, я только прибавлю, что их тренировал Больс.

Временно умолк говор, когда два стальных мужских тела, блестя бронзой вооружения, звонко сошли по лучезарной, полной цветов лестнице к взорам гостей. «Подождите, мы заключим пари»,— сказал Гюйс. Немедленно были заключены пари. Сам Хоггей, которому было все равно—выиграть или проиграть, покрыл кляксами миллионный чек. Наконец подал он знак.

Я был близко, так близко к сражающимся, что слышал перебой их дыхания. Они разошлись, сошлись; перед метнувшимися вверх щитами звякнули их мечи. Все чаще встречались клинки; в свете люстр, отброшенные его заревом, трепетали светлые дуги. Но оба были искусны. Ни один удар не обнаруживал растерянности или трусливой поспешности; казалось, они фехтуют. Лишь особый трепет рокового усилия, заключенный в каждом ударе, показывал, что борьба не шуточная.

Если еще был у зрителей остаток пьяной флегмы, то он исчез, уступив кровожадному азарту. Все повскакали. Некоторые подошли совсем близко, криками и жестами ободряя самоубийц. Бой затянулся, искусство соперников, очевидно, становилось меж ними и заветной наградой. Тем временем поощрения приняли оскорбительный характер ударов хлыста. «К делу!—ревел Хоггей,—убей его! Я плачу только за короткие удовольствия!»—«Коровы!»—орал Фрид.—«Это драка пьяных!»—взвывал Аспер.—«Ударьте их в зад!»—«Суньте им в нос огня!» Такие и им подобные восклицания повторялись хором. Раздался треск, лопнул один щит, и гладиатор сбросил его.—«Проткни мясо!»—сказал Хоггей.

Вдруг разом опустились мечи, последнее восклицание вызвало и опередило развязку. «Ральф,—сказал старший боец младшему.—Ты слышал! Я теперь действи-

тельно не владею собой. Я продал жизнь, но не продавал чести, следуй за мной!» И их мечи свистнули по толпе. Отступив за колонну, я видел, как Хоггей рухнул с рассеченной головой. Разразилось исступление, наполнившее зал кровью и трупами. Меньше всех растерялся Ассандрей, лишенный нервов. Он стрелял на расстоянии четырех шагов. Нападающие им были убиты, но из зрителей уцелело лишь трое.

Уэльслей был мертв. Ральф, испуская последнее дыхание, приподнялся и плюнул Ассандрею в лицо:

— Виват, Цезарь! Умирующие приветствуют тебя!

Он п р о х р и п е л это, затем испустил дух.

ЛОШАДИНАЯ ГОЛОВА

Он умер от злости...

Шатобриан.

I

Приехав на разработку Пульта, Фицрой застал некоторых лиц в трауре. Молоденькая жена Добба Конхита, ее мать и «местный житель», как он рекомендовал себя сам, бродячий Диоген этих мест, охотник Энох Твиль, изменились, как бывает после болезни. Они научились улыбаться и говорить громко.

Багровый Пульт, сидя в душной палатке, продолжал пить, но поверх грязного полотняного рукава его блузы был нашит креп. Сквозь пьянство светилось удручение. «Вы знаете, что произошло здесь?!— встретил он Фицроя, поддевая циркулем кусок копченого языка: — Добб упал в пропасть».

Казалось, он продолжает разговор, начавшийся только что. Беспорядок временного жилища Пульта ничем не отличался от состояния, в каком покинул палатку Фицрой одиннадцать дней назад; среди чертежей, свесившихся со стола завитками старой виньетки, стояла та же бутылка малинового стекла и та же алюминиевая тарелка, с единственной разницей, что тогда на ней были остывшие макароны. Смотри на нее, Фицрой поймал мысль: «Хочу ли, чтобы те макароны были теперь?». Это равнялось веселому и живому Доббу. Но он еще не

разобрался в себе и почему-то откладывал разбираться.

Перед тем, как заглянуть в остановившееся лицо вдовы, Фицрой знал уже все от служащих. «Как громом поразило меня»,— сказал он Пульту,— солгал и знал, что солгал. «Да, подумайте! — закричал Пульт,— кроме того, что жалко,— Добб был моей правой рукой».

— Прекрасный, энергичный работник! — с жаром солгал Фицрой еще раз и стал противен себе. — «И не все ли равно тебе теперь,— подумал он,— не я же столкнул его. Я только хотел, чтобы он умер. Но мое право думать, что я хочу». — И он сказал почти правду: — Добб умер. Смерть эта ужасна. Но я устал думать о ней.

— Как?! — переспросил Пульт. — Выпейте, вы что-то путаете, это прояснит ваши мозги.

— Вы знаете, что может случиться при местной жаре от чрезмерного употребления спирта?

— Да, жила в мозгу. А что?

— Мокрое полотенце,— сурово ответил Фицрой,— купанье и молоко.

Пульт вытаращил глаза, приснул и расхохотался. Все затряслось под его локтем.

— Дикий, безобразный шутник! — сказал он, вытирая усы кистью. — Я пью, но... Мы живем раз. Вы отправитесь на А31. Хина и лекарь там.

Фицрой опустил глаза. Перед ним встала Конхита прежних дней. Он не мог уйти от нее и от еще чего-то, принявшего неопределенную форму Лошадиной Головы.

— Только три дня, Пульт,— сдержанно заговорил он. — В конце концов при вашей ужасной манере дробить горы самому, почти не сходя с места...

— Впрочем,— рассеянно перебил Пульт,— побудьте пока с Доббами. Им о ч е н ь тяжело.

— И мне тоже,— сказал, выходя, Фицрой. Теперь он не лгал. Он не лгал и себе, когда, ведя в поводу лошадь, особенным, верхним взглядом рассматривал строго и грустно обширную долину с насыпями карьеров, столбами шахт и линиями канав. Работы, начатые по оригинальному плану Пульта одиннадцать дней назад, вызвали бы у него привычную мысль о могуществе человеческого ума; теперь эти следы стали на диком пейзаже казаться царапинами, сделанными тупым ножом по дубовой доске. Он заметил также, что не хочет

есть, хотя поел лишь рано утром. Жар солнечных лучей раздражал его, как прикосновение колючего и липкого меха.

Он правильно сцепил мысли, надеясь вызвать наконец чувства мести и торжества. «Добб умер, так поступил бы я с ним, если бы не боялся суда. И я смотрел бы сверху, как исчезает с криком в пустоте это бодрое, любимое тело. Я все равно что видел. Вот мое черное счастье; его цвет будет носить Конхита. Я зол, зол, зол; его смерть сладка».

Слова эти, эти мысли мешались с кроткими словами любви. Он не понимал, как ласка, которой было полно его существо, и светлая грусть о недоступной душе, и мольба к ней — могут вместить зло. Он думал и не испытывал торжества.

II

Войдя в свое помещение, Фицрой понял, что среди этой полупоходной обстановки, оставшейся совершенно нетронутой, тоже исчезло навсегда нечто, — как будто умерла часть прежнего впечатления. Скоро он понял, что умерло: «приход Добба», — Добб более не придет сюда. Он не придет также к жене и матери. Первый раз в жизни он чувствовал, как много исчезает вокруг с исчезновением человека, составлявшего часть жизни, хотя бы и ненавистную часть. Думая о Доббе, он видел безмолвную пустоту везде, где в его мысли мог жить и быть Добб: в горах, шахтах, перед собой и всюду, о чем он думал, как о месте, связанном с фигурой приятеля.

Зная, что никто не увидит его, и если увидит, то никогда не постигнет той смеси презрения и вызова по отношению к самому себе, — не ощутит пружины движения, заставившего подойти к зеркалу, — Фицрой остановился перед стеклом и быстро заглянул в собственные глаза. Даже видя лицо, ему было трудно поместить внутренний мир свой в черты зеркального двойника, — черты были красивы и грустны. Бледность и загар смешались в этом лице с ясностью прозрачных сумерек; выражение не было ни подлым, ни хитрым, лишь в глазах тронулось и исчезло нечто подобное мгновенно вильнувшему хвосту лисы. «Это мое лицо. Я зол. Я жесток. Я рад».

— Мой рад, масса,— сказал негр, внося кофейник.— Твой приехал, не захворал.

— Рад? — переспросил Фицрой, хмурясь и вглядываясь в него.

— Очень рада, был хорошо здоров.

— Ты врешь, черная собака,— сказал Фицрой, вдруг посинея от злобы и тоски.

Негр, съевшись, отступил. Его жалобно оскаленный рот и сморщенные от страха глаза еще более обозлили Фицроя.

— Лжешь,— повторил он.— Ты был бы рад, если бы я валялся в пыли и гнили.

— Уфф! — сказал негр, пятась.— Масса больной. Твой пьет кофей, горячий; хороша будет.

Фицрой рассеянно отвернулся. «Все мы говорим так»,— пробормотал он. Затем прошло несколько минут в тупом и горьком недоумении перед лицом жизни, которую он любил так нежно и тяжело. Кофе, как показалось ему, отзывался железом. Он нехотя выпил полстакана, затем отправился к вдове Добба.

У колодца ему пересек дорогу Энох Твиль, махая рукой. Он бежал, но перейдя в шаг и поздоровавшись, дышал не чаще, чем мы, когда встаем со стула. От легкой фигуры старика веяло сродством с движением и горами. Седые волосы, подстриженные на его крутом лбу, окружали ввалившееся, с острым носом, лицо косматым четырехугольником, прищуренные желтые глаза блестели шестьдесятю годами солнца и ветра. Он был в темном жилете поверх красной блузы и острокопечной шапке из рыжей белки. Догнав Фицроя, Твиль остановился и, прижав локтем ружье, с которым не расставался, стал закуривать папиросу. Взгляд его исподлобья не покидал глаз Фицроя.

— Вернулись?— сказал он.— Да, было дело. Все знаете? Это произошло на том месте тропы, на повороте, как раз против Головы. Накануне я выследил медведя, но пройти можно было только тропой. Конечно, ходили не раз. Я отстал. Как он вскрикнул,— было уже поздно, хотя я все понял. Потом я осмотрел место. Потоки нанесли щебня, и он скользнул по нему, как на коньках. Еще при мне упало несколько крупинок песку, а внизу было еще тише, чем всегда. Не сразу я пошел назад. А самое страшное,— что он здесь только что был.

— Был? — повторил Фицрой.

— Да. Он стоял и писал карандашом на скале. Но об этом не надо говорить ей. Она не могла пойти туда смотреть вниз, но если сказать — может пойти, и тогда он умрет для нее второй раз.

— О! — Фицрой улыбнулся. — Что же написал Добб?

— Ничего такого. На него, должно быть, нашло. Я не был женат, но могу понять это. Так, — различные нежности.

— Это похоже на него, — сказал Фицрой, вспомнив стихи Добба и выражение его лица, когда он произносил: «Конхита». — Я иду к нему... к ним.

— Я любил парня. — Твиль стал возить шапку на голове, кусая усы. — У него был такой вид, как будто он здесь прожил сто лет. Ну... и песни, — поет, бывало... Прощайте.

Твиль коротко давнул холодную руку Фицроя горячей, старой рукой, и его согнутая упруго спина стала удаляться. Фицрой смотрел вслед; впервые сладкая, терпкая острота тайной усмешки вызвала у него полный вздох. «Все вы любили его, и я тоже, и может быть больше вас. По крайней мере, я не переставал думать о нем. — Он посмотрел еще глубже в себя: И вот, — нет тебя, милая влюбленная суета, легкое и горячее дыхание с глаза на глаз, улыбка по моему адресу... а она должна была быть». — Вскипев, он сжал кулаки, но радовался приливу злобы, так как с ней ему было легче войти к Конхите.

Но лишь он увидел ее, все лучшее его души тронулось и потемнело сочувствием, хотя тут же мгновенно растаял весь рисунок эгоистического расчета на действие времени и силу собственного своего чувства. Войдя в эти стены, он дышал горем, напоминающим их, но не мог говорить просто, не думая о словах. Невольно — и неудачно — подбиралась они мертвой схемой, их тон был глух и неясен.

Фицрой представил трагедию в угнетающе-театральном духе, но на деле все произошло просто, как сама смерть. Обстановка не изменилась, лишь перед фотографией Добба стояли пунцовые лесные цветы; в их отсвете, при опущенных занавесках окон, лицо Добба казалось розовым.

— Мать спит. Она стала слаба, бредит. Будем говорить тихо. — Прямой взгляд молодой женщины был суров, как после примирения, когда улеглось не все и есть еще о чем горько и трудно сказать.

Всматриваясь в нее, он старался понять ее состояние.

Всегда она производила на него впечатление того отчасти умирительного свойства, когда думаешь, что в обиде или горе такая шаловливо-хорошенькая женщина непременно обхватит руками первого попавшегося, плача и жалуясь на его груди как ребенок. Случись это теперь, он все простил бы ей и ему. Но было ясно, что они неизмеримо дальше друг от друга, чем в день, когда, выслушав его до половины, Конхита сжала руку Фицройа, быстро сказав: «У меня только одно сердце. За него уцепился ваш друг Добб. Но будь у меня второе сердце, я, может быть, отдала бы его вам».

Она была в черном платье. Счастливое лицо, о котором он тосковал, исчезло; то лицо, какое увидел он теперь, было отуманено потрясением и жутко, до холода в душе, напряжено силой не испытанного никогда горя. Во время разговора она нервно проводила по лицу рукой или, бессознательно захватив пальцами край узкого рукава, стискивала его зябким движением. В потемневших глазах не было ни слез, ни опухлости, но взгляд дрожал, непрерывно пересекаясь одной мыслью. Эта мысль тотчас передалась Фицройе уходящей в глухой туман чертой падающего тела.

Он не мог просто сидеть и молчать с нею; это было возможно лишь другу или приятелю Добба. Он был тайный враг. Поэтому он заговорил:

— Ужасно! Ужасно, Конхита, вот все, что я могу вам сказать.

Она несколько оживилась, поверив его искренности, так как нуждалась в ней, хотя продолжала пристально и ревниво всматриваться в замкнутое лицо.

— Да. На днях мы уезжаем. Я начала бы укладываться теперь, но мне жаль маму. До сих пор она ничего не ест и очень слаба.

— Можно ли говорить об этом?

— Вам нужно.

— Я буду слушать вас. Вы ходили туда?

— Я не в силах. А вы знаете, — она нагнулась к нему, странно блеснув глазами, — если думать только о нем и не дышать, может быть, можно было бы на миг увидеть его; потом — все равно.

— Там тьма, глухая тьма! — вскрикнул Фицрой. — Выбросьте это из головы!

— Быть может, есть иной свет, Фицрой. Мы никогда не узнаем. На прошлой неделе, в пятницу, пришел Твиль.

Когда только я догадалась по его лицу, — он сказал прямо в чем дело.

— Ужас, — сказал Фицрой. — Если бы вы знали, как мне вас жаль.

— Я все хожу и думаю. Но нечего и не о чем думать. Его нет. Странно, не правда ли?

— Крепитесь, Конхита. — Он искал горячих, бурных и твердых слов, но не нашел их. — Постепенно это пройдет, станет легче.

— Ну, нет. И вы знаете, что так говорить жестоко.

Он смолк, осваиваясь со смыслом ее слов, тронувших злорадные голоса, и не мог удержаться, чтобы не приоткрыть далеким, неизобличенным намеком истину своих чувств.

— Жестоко, — подтвердил он, — и правильно. Все приходит, все гаснет в собственной своей тени.

— Вероятно, вы правы, но я сейчас не хочу думать об этом; думать так.

— Простите меня, — покорно сказал Фицрой.

Ее волнение улеглось. Подумав и кусая платочек, она взяла из ящика письменного стола черепаховый портсигар и, скрыв его в пригоршне, протянула, тихо улыбаясь, Фицроу.

— Вам это будет о ч е н ь приятно, — прошептала она, — берите, это от него на память, и думайте о нем хорошо. И ради бога не теряйте.

Приподняв руку, Фицрой отпрянул всем существом, не примиримо волнуясь, — столько наивной беспощадности было в этом, так трогательно выраженном подношении, что резкая боль, сжав его сердце, одолела сдержанность, и он возмутился. Право самозащиты было неоспоримо. И он не хотел лгать так громко, как надо было солгать сейчас. Эти протянутые в горе руки отнимали у него единственное черное утешение, они посягали на тайны его сердца, стремясь исказить их.

— Но... — Фицрой напряженно улыбнулся, — я не знаю... Вы можете пожалеть.

— Это вам, — сказала она, не понимая его колебания.

Тогда он решительно положил руку на портсигар и на ее пальцы, сжав все в затрепетавший комочек, и тихонько оттолкнул, передавая взглядом, что думал. С медленно поднимающимся удовольствием полного отчаяния увидел он беззащитно побледневшее лицо.

— Что значит... это? — Вырвав руки, Конхита отвела их и спрятала за спиной. — Говорите.

— Я не возьму подарка, — сказал Фицрой, радуясь, что перешагнул в пустоту. — Я не могу взять. Вы не имеете права ни предлагать, ни настаивать.

— О! я не настаиваю. Могу ли я вслух понять выражение вашего лица?

— Да, и я не спрячу его.

— Тогда... вы обманули Добба. Вы — враг.

— Я — враг, — сказал как в тумане Фицрой, — враг, и всегда буду врагом памяти этого человека. Но я не враг вам.

— Еще удар. — Она смотрела на него без гнева, сдвинув брови и постукивая носком ботинка. — Слава богу, удар этот, — ничто в сравнении с тем ударом.

Фицрой взял фуражку.

— Мне ничего не осталось, — задумчиво проговорил он, — я не знаю, жалею ли я вас в эту минуту. Не надо было дарить. Тогда я ничего не сказал бы вам. Может быть, вы поймете меня, так как сам себя я понимаю довольно плохо. Проще всего — поставить себя на мое место. Знайте, что и мне не сладко. Однако простите. Вместо разговора о вас произошел разговор обо мне. Я не хотел этого.

— Низкая, низкая ненависть! — крупные, тяжелые слезы скользнули по вздрагивающему лицу Конхиты. — Фицрой, не смейте ненавидеть его!

— Я ненавижу, — грустно, сильно и глубоко сказал Фицрой, открывая дверь, — но так же я могу и любить. Мир его праху! Я сказал искренно. Пожелайте, — о! пожелайте и вы, Конхита, — мира ненависти моей.

Горько махнув рукой, она бросилась в кресло и прижалась лицом к подушке, делая знак уйти.

Фицрой вышел, осторожно прикрыв дверь.

III

Не думая о направлении, он шел в сторону от барачков, изредка снимая фуражку и вытирая платком обильный прохладный пот. Он чувствовал себя так, как будто не дышал несколько дней, борясь с наполнившим грудь песком. Весь только что окончившийся разговор представлялся ему сплошным криком, эхо которого еще гудело в ушах. Он

был потрясенно тих, как после спасения. К отвратительно-му впечатлению собственных слов примешивалось удовлетворяющее сознание п р а в д ы, хотя бы брошенной в иступлении.

Подойдя к опушке леса, зеленым дымом охватывавшей низы гор, Фицрой увидел кроткие тени лесных лужаек, и в мирной чистоте этого отдаления от людей, как над ручьем, сторонними глазами увидел свое внутреннее лицо, каким открыл его несколько минут назад помертвевшей от боли и горя женщине,— как будто занес нож. Больше, чем стыд, свернуло шею его волнению. Сстиснув зубы, он закрыл глаза и мысленно ударил себя по щеке. Разумеется, ни о каком уважении с ее стороны более не могло быть речи,— и он не мог, теперь уже никогда, видеть ее. Но в тумане изнуряющего стыда раздавленный голос шептал все нежные слова, какими до сих пор он наполнял свою жизнь, не смея вслух произнести их. Некогда он честно боролся, намечая все фазы успокоения; смерть, жертву, путешествие, но твердая рука истинного его чувства к Доббу, временно онемев, снова вела свою острую, черную линию. Яд начал кипеть с первого дня. Он часто придумывал, как тяжелее и мучительнее надо было бы умереть этому человеку, чтобы утолить безысходное ожидание грома, способного наконец разорвать оцепенение злой и тоскующей любви, ставшей болезнью.

Обдумывая странное подозрение, мелькнувшее среди чувств, переживаемых им далеко не в первый раз, Фицрой отнесся к нему с вниманием удивления,— почти испуга, хотя, едва стих толчок, продолжал думать о том же совершенно спокойно, как думает о незамеченной ступеньке человек, оступаясь во тьме и идя далее. Вначале он счел это любопытство сопоставлением,— не больше. Ни опровергнуть, ни проверить и доказать связь меж его настроением и гибелью Добба не было никаких средств, однако неустрашимое совпадение поворачивалось перед ним всеми сторонами своими, и он мог придавать ему любой смысл.— «А если? — сказал Фицрой.— Станный мир — мысль, и велика сила ее. Тогда... Все равно,— мысленно я убивал его. Это одно и то же».

Здесь он почувствовал ветер в спину и обернулся. Поляна шла вниз; снизу, через склон леса, ярко развertyвалась долина с ее насыпями, палатками и строениями; вился дым труб. Это была картина мысли Пульта: он сам,

Фицрой, служил там потому, что так думал Пульт. На почти вневременное мгновение ему стало ясно нечто решающее все задачи задач, затем это прошло, обернувшись гулким сердцебиением. До этого не было в нем полной уверенности, что он придет к пропасти, но теперь идти туда стало необходимостью. Он даже хотел этого,—завершить круг. Тут его настроение немного улучшилось, тем более что показались уже невысокие скалистые гряды, обросшие кедром; через них, влево, лежал лесистый проход к тропе, вьющейся над самым обрывом.

Солнце, едва перейдя зенит, жгло ноги сквозь кожу сапог. Скалы, вершины гор, далекие плоскогорья, залитые туманом и светом, на фоне самых колоссальных масс, слитых с небом стеной неподвижного лилового дыма, напоминали облачную страну. Здесь было на что взглянуть,—что могло бы сделать счастливым даже человека без ног и рук, но эта ослепительная океаноподобность мира была теперь вне Фицроя. Она отделялась от него ясным сознанием, что между ней и потерянной навсегда женщиной исчезла связь. Только через нее мог идти сливающий все в одно свет. Фицрой смотрел, как смотрят на сломанные часы. Белые, как сталь в лунном свете, хребты горной цепи были неудачной ловушкой его душе — второй сорт, червивое яблоко, рай для бедных. Он подошел к отдельной скале, по узкому, неизвестно на чем удержавшемуся обвалу которой тянулся род неровной террасы, осыпанной глыбами. Справа, в расселину, бывшую одной из сравнительно неглубоких пустот, расширявшихся постепенно, по мере того как все ближе подступали они к пропасти «Лошадиная Голова», сыпался, пыля серебром, отвесный ключ. Он напоминал воду, падающую из крана, отвесного где-то в скале,—то стремясь, то останавливаясь неподвижной светлой чертой, смотря по тому, падал ли вместе с ним взгляд, или удерживался на одной точке его падения, он однозвучно шумел внизу, и, заглянув туда, Фицрой почти с облегчением увидел вполне доступную для ловкого лагуна тенисто освещенную глубину ста — ста двадцати футов, с веером пены среди черных и зеленых камней.

На том месте путь огибал скалы с их внутренней стороны, оставляя меж человеком и звеньями небольших пропастей стену гранитных махин, почти лишенных растительности. Ящерицы и пауки сновали в камнях, среди непод-

вижной духоты красноватых колодцев и призрачных лестниц косых теней, соединяющих верхние края стен с полным шороха шагов низом; под сапогами Фицроя сухо трещал щебень; это безжизненное яркое место тревожило, как раскаленная печь. Наконец, он увидел справа неровно раздернутое пространство, пересеченное туманными обליками высот, и вышел на край.

IV

Он был здесь два раза — раньше — для нового впечатления, от которого осталось у него несколько одиноких мыслей, — он не сумел бы их выразить. Твиль говорил, что здесь нельзя долго смотреть вниз без риска отползти прочь на четвереньках, так как начинало тошнить. Но Фицрой побывал первый и второй раз в этом особенно не располагающем к гипнотической впечатлительности вялом и безжизненном настроении, когда душа, подобно водяному шарик, катающемуся по раскаленному добела железу, — двигается, не испаряясь. К тому же подготовленный человек многое переносит иначе. Но все-таки тогда он как бы постоил перед направленным дулом.

Смотря вперед, можно было вначале подумать, что стоишь на краю озера с неверными отражениями берегов, искаженных и мрачных благодаря прозрачной тьме неподвижной воды. Но едва взгляд погрузился в обманчивую поверхность провала, противоположный край которого явил бы движущуюся по нему фигуру всадника мельканием неразлично малого смешанного пятна, как горизонтальная перспектива мгновенно утратив для пристукнутого внимания всякое значение и размеры, сплывала облачной тенью, оставляя с глазу на глаз бездну и изменившееся лицо смотрящего.

На том месте, где остановился Фицрой, очерк пропасти достигал полутора миль в длину и около полумили в ширину. Ее стены со всех сторон и во всех направлениях были совершенно отвесны, касаясь в неосвещенной глубине огромной, как ночная равнина, тени, скрывающей вертикальное пространство неуследимого протяжения. Этот подземный мрак был как бы отражением черного неба, какое видят аэронавты, подымаясь на удушливую высоту воздушных границ. Всматриваясь до боли в глазах, можно

было различать степень его спущения лишь по соседним изгибам отвеса, где исчезающие вниз стены, уходя от лучей, мерцали все тусклее и глуше, пока угрюмые сумерки не останавливали исследования раскинутым в страшной глубине мраком.

Столетия опасных передвижений, утрамбовав и сравняв обрывки естественного карниза, тянувшегося по левой стороне скал, образовали узкую тропу, оступившись по которой шага на два в сторону пропасти человек мог только пожелать иметь крылья. Ступив на эту тропу, Фицрой невольно стал дышать глубже и медленнее, как это делаем мы при встречном ветре,—ощущение своего тела достигло силы самовнушения; бессознательно его плечо все время касалось скалы, и он особым усилием отталкивал непрекращающееся впечатление тихого, как бег маятника, позыва взглянуть вниз. К тому времени его нервы были напряжены, как в крупной игре.

Он медленно обошел выступ, впадину и стал приближаться к щели, за аркой которой тропа тянулась еще не более как на триста футов, круто заворачивая в ущелье. До сих пор дорога Фицроя была лишена каких бы то ни было указаний; здесь их не могло и быть, ибо тропа пока что являла прихотливую, но вполне устойчивую поверхность. На всякий случай он тщательно осматривал скалы, но не открыл нигде надписи, о которой говорил Твиль.

Она остановила его, когда он прошел щель.

V

Отбрасывая камни ногой, чтобы не скользнуть самому по этому вылощенному как шлак ветрами и дождем выпуклому карнизу, Фицрой прочел мелкую строку последних слов Добба жене: «Стою здесь и думаю о теб...». «О тебе»,— машинально договорил Фицрой.

Этой строкой было сказано об ужасном исчезновении все — и так полно, как не мог бы полнее передать чувства свои,— той минуты,— сам Добб, будь Фицрой тогда с ним. Погибший остановился, захваченный острой глубиной впечатления; сияющий горный мир хлынул в него всей силой собственного его счастья, и он захотел весело воскликнуть, один, той, которая не могла слышать его, но всегда была с ним. Он написал это в порыве, похожем на мальчишеский

крик в лесу — бессмысленный, но понятный, как наивно блуждающая улыбка.

— Значит карандаш и пустота были рядом; так тесно, так неразрывно сплетены были они, что ты не успел узнать этого, — сказал Фицрой, оборачиваясь и упираясь спиной в скалу. Странная отчетливость представлений не покидала его. Он видел нажатый сапогом камень и легкое движение согнутого колена, отчего камень двинулся, отталкиваемый прянувшей взад ногой. Мгновенный удар крови в сердце и голову стер все мысли, кроме вихря, сопровождающего падение, — вихрь и крик, цепляясь за безумный след свой вверху, несли еще некоторое время иллюзию кошмара, пока обратным ударом вернувшееся сознание, мгновенно осветив все, все поняв и истребив тут же, в муке невыразимой, не перешло тайную границу молчания. И этим все кончилось.

Фицрой неподвижно стоял, смотря вниз и нервно касаясь жутким лучом души — мрака, безмолвно рассматривавшего его из пучины сплошным зрачком.

Он никогда ранее не смотрел так долго и тяжело в эту колоссальную трубу, поперечный разрез которой вдались смыкался высокой скалой, имевшей условное сходство с головой лошади, закинутой к небу. В ней, как в облачных фантомах, было неясное и подавляющее торжество слепой формы, живущей тенью чувств наших, бездыханно и поразительно, как мавзолей. Соответственно настроив внимание, можно было счесть соседние углы скал согнутыми передними ногами гигантского коня, вставшего на дыбы и задом оседающего в пустоту пропасти.

Не без усилия перестав рассматривать заставляющую замирать тьму внизу, Фицрой поднял тяжелый, как шест, взятый рукой за конец, взгляд на эту ясно обрисованную расстоянием каменную фигуру, перехватив ее застывшее фантастическое падение в тот момент, когда представил и продолжил его. Тогда все двинулось вокруг него плавным толчком, равным движению пристани и берега при отвале парохода, — горный горизонт начал оседать вниз. В груди Фицроя стало поворачиваться железо, давя и сося. Страх, конвульсивно охватив его ноги, висел на них, скрывая лицо. Теперь твердая поверхность земли была для Фицроя лишь тонкой корой льда, простертого живописным покровом над черным ничем. Он чувствовал, что если пойдет, его ноги будут странно и бессвязно плясать, и что Твиль сказал

правду о четвереньках. Он ужаснулся, вдохнул как бы сухой снег, мгновенно пересекавший дыхание, и, догадавшись, закрыл глаза. Бывшееся, казалось, у самого горла сердце вернулось на свое место, стуча так нехорошо, что он прижал руку к груди: «Засмейся, Фицрой!»

Но для торжества у него не было уже сил. Он попытался вызвать его, сцепив зубы, коротким ругательством и не испытал ничего, кроме смутного удивления. По-прежнему, как врезалось в мозг, Добб срывался и летел перед ним вниз, но это видение возникало и проходило вне мстительного очарования, каким жил Фицрой до сего дня. Он открыл глаза с чувством набегающего пространства и, вяло спасаясь, оглянулся на строку Добба. Теперь уже не стоило возвращаться в каменную пустоту будущего. Но это проходило без мысли, без отчетливого сознания. Чувство непобедимой равнодушной пустоты в себе, других и внизу явилось ему с ясностью сделанного рукой знака, и он перешагнул к незнающей колебания, вдруг опустившей все повода и тяги холодной улыбке голого «все равно».

Рассеянно смочив языком такой же карандаш, каким писал Добб, Фицрой, тоскливо улыбаясь, приписал в слове «тебе» последнюю, перехваченную смертью букву и вывел внизу: «Думаю и люблю. И умираю — потому что носил Зло».

Затем не более, как с чувством полета, рванувшего его силой оступившегося навсегда тела, он отделился от скалы и стал вязнуть в мгновенно проносящейся пустоте, — к мраку, начавшему беспощадно уходить вниз, скрывая все глубже истинное свое лицо. Фицроя било и трепало кинувшимся к нему воздухом. «А если не будет конца?» — От этой мысли он умер, и его тело достигло неизвестной нам последней границы, где нет никогда дна и где его ожидал Добб.

КРЫСОЛОВ

На лоне вод стоит Шильон,
Там, в подземельи, семь колонн
Покрыты мрачным мохом лет...

I

Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, — дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лонно присяжных документалистов, без чего пытливым читатель нашего времени наверное будет расспрашивать в редакциях — я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был Сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу потому, что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг — последнее, что у меня было.

Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах. Мне не везло. Я бродил более двух часов, встретив только трех человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги, но и те нашли цену пяти фунтов хлеба непомерно высокой. Между тем, начинало темнеть, — обстоятельство менее всего благоприятное для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене.

Справа от меня стояла старуха в бурнuse и старой черной шляпе с стеклярусом. Механически тряся головой, она

протягивала узловатыми пальцами пару детских чепцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я,— книги. Ее маленькие, вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка — не в пример тем обрезанным по колено вертявым юбчонкам, какие стали носить тогда даже старухи,— ее суконный жакет, старенькие теплые перчатки с голыми подушечками посматривающих из дырок пальцев, а также манера, с какой она взглядывала на прохожих,— без улыбки и зазываний, иногда задумчиво опуская длинные ресницы свои к книгам, и как она их держала, и как побряхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо, отходил, словно изумясь чему-то и суя в рот «семечки»,— все это мне чрезвычайно понравилось, и как будто на рынке стало даже теплее.

Мы интересуемся теми, кто отвечает нашему представлению о человеке в известном положении, поэтому я спросил девушку, хорошо ли идет ее маленькая торговля. Слегка кашлянув, она повернула голову, повела на меня внимательными серо-синими глазами и сказала: «Так же, как и у вас».

Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть понятой, затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее «Дон-Кихота»; и тогда она несколько оживилась.

— Никто не знает, что я ношу продавать книги,— сказала она, доверчиво показывая мне фальшивую бумажку, всученную меж другими осмотрительным гражданином, и рассеянно ею помахивая,— то есть, я не краду их, но беру с полок, когда отец спит. Мать умирала... мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба, и дров, и керосина. Вы понимаете? Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю. И я похаживаю, понашиваю тихонько. Жаль книг, но что делать? Слава богу, их много. И у вас много?

— Н-нет,— сказал я сквозь дрожь (уже тогда я был простужен и немного хрипел),— не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть.

Она взглянула на меня с наивным вниманием,— так, набившись в избу, смотрят деревенские ребяташки на рас-

пивающего чай проезжего чиновника,— и, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как и на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц, я их потерял, не пришив других, так как давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему.

— Вы простудитесь,— сказала она, машинально зашпывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая.— Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин.

Она взяла книги подмышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, поэтому, доставая нужное с тем загадочным, отсутствующим выражением лица, какое бывает у женщин, когда они возятся на себе с булавкой, девушка положила книги на тумбу, совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой.

— Телячьи нежности,— сказала, проходя мимо, грузная баба.

— Ну вот.— Девушка критически посмотрела на свою работу и хмыкнула.— Все. Идите гулять.

Я рассмеялся и удивился. Не много я встречал такой простоты. Мы ей или не верим или ее не видим; видим же, увы, только когда нам плохо.

Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя.

— Сказать недолго,— ответила она, с жалостью смотря на меня,— только зачем? Не стоит. Впрочем, запишите наш телефон; может быть, я попрошу вас продать книги.

Я записал, с улыбкой поглядывая на ее указательный палец, которым, сжав остальные в кулак, водила она по воздуху, учительским тоном выговаривая цифру за цифрой. Затем нас обступила и разъединила побежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги, когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка, а книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой, в круглых очках. Он дал мало, но

я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл.

II

Вначале отнесся я к этому с легкой оторопью всякой малой потери. Еще не утоленный голод заслонял впечатление. Задумчиво варил я картофель в комнате с загнившим окном, политым сыростью. У меня была маленькая железная печка. Дрова... в те времена многие ходили на чердаки, — я тоже ходил, гуляя в косо́й полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки. Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы и нес это ночью к себе в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, выпускающий запоздавшего посетителя. За стеной комнаты жила прачка; я целыми днями прислушивался к сильному движению ее рук в корыте, производившему звук мерного жевания лошади. Там же отстукивала, часто глубокой ночью — как сошедшие с ума часы — швейная машина. Голый стол, голая кровать, табурет, чашка без блюдца, сковородка и чайник, в котором я варил свой картофель, — довольно этих напоминаний. Дух быта часто отворачивается от зеркала, усердно подставляемого ему безукоризненно грамотными людьми, сквернословящими по новой орфографии с таким же успехом, с каким проделывали они это по старой.

Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного, она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезавают свой след, если не было ничего лишнего. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок, — это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление.

Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца.

III

При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока. Но, как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. Между тем, втайне я ожидал, не покажется ли среди их мелькающих как в банном пару лиц лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть не кто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов, в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза! Когда она даже не появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцами в коробке булавку. К утру скончалось пять человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью, после чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах, спустя три месяца после заболевания; я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел.

Теперь, может быть, уместно будет привести кое-что о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу. Я делаю это не потому, что интересуюсь запечатлеть свои черты на страницах книги, а из соображений наглядности. «Он смугл,— пишет Репин,— с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом». Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни,— она происходила от печаль-

ного ощущения, редко даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе,— я обыкновенно сидел в стороне.

Три недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых,— путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющейся за тепло, близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом, как кипят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле и как воруют деревянные балки из разрушенных зданий. Но все — и многое, и гораздо более этого — уже описано разорвавшими свежинку перьями на мелкие части; мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня — то, что произошло со мной.

IV

К концу третьей недели я заболел острой бессонницей. Как это началось, сказать трудно, я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча повела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу Мойки и развлекаясь зрелищем рыбной ловли — мужик с сеткой на длинном шесте степенно обходил гранит, иногда опуская свой снаряд в воду и вытаскивая горсть мелкой рыбешки,— я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке; человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным. Я не сразу узнал его: ни фартука, ни ситцевой рубахи турецкого рисунка, ни бороды и усов; одет был лавочник в строгие изделия военной складки, начисто выбрит и напоминал собой англичанина, однако с ярославским оттенком. Хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет, поэтому предложил пустующие палаты Центрального Банка, где двести шестьдесят комнат стоят как вода в пруде, тихи и пусты.

— Ватикан,— сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру.— Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию?

— Эх! — только и сказал экс-лавочник,— дом этот недалеко; идите и посмотрите.

Он завел меня в большой двор, перегороженный арками других дворов, огляделся и, так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью; в нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа: потянув ручку, встряхнуть и нажать вверх, тогда обе половинки разошлись, так как не было шпингалетов.

— Ключ есть,— сказал лавочник,— только не у меня. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот никому вы не говорите, а запереть можно как изнутри, так и снаружи, стоит только прихлопнуть. Понадобится вам выйти — сначала оглянитесь по лестнице. Для этого есть окошечко (действительно на высоте лица в стене около двери чернел вас-ис-дас с разбитым стеклом). Я с вами не пойду. Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться; знайте только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня три; как только разыщу угол — оповещу вас немедленно. Вследствие этого — извините за щекотливость, есть-пить каждому надо — соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств.

Он распластал жирный кошель, сунул в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций, повторил наставление и ушел, а я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас,—воспоминаниями звуков жизни,—уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить.

Я проходил из дверей в двери высоких больших комнат с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни

двери, как видел уже впереди и по сторонам другие, ведущие в тусклый свет далее с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. В некоторых помещениях прямо от двери надо было уже ступить по ее зыбкомухламу, достигающему высоты колен.

Бумага во всех видах, всех назначений и цветов распространяла здесь вездесущее смешение свое воистину стихийным размахом. Она осыпями взмывалась у стен, висела на подоконниках, с паркета в паркет переходили ее белые разливы, струясь из распахнутых шкафов, наполняя углы, местами образуя барьеры и взрыхленные поля. Блокноты, бланки, грассбухи, ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный и рукописный текст — содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами, — взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали как возле самых ушей, — так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли; окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал, но его размеры, благодаря частой и утомительной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и дверями, казались путями ходьбы многих дней, — чувство, обратное тому, с каким мы произносим: «Малая улица» или «Малая площадь». Едва начав обход, уже сравнил я это место с лабиринтом. Все было однообразно — вороха хлама, пустота там и здесь, означенная окнами или дверью, и ожидание многих иных дверей, лишенных толпы. Так мог бы, если бы мог, двигаться человек внутри зеркального отражения, когда два зеркала повторяют до отупения охваченное ими пространство, и недоствало только собственного лица, выглядывающего из двери как в раме.

Не более двадцати помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться: пласт извести на полу; там — сломанное бюро; вырванная и приставленная к стене дверная доска; подоконник, заваленный лиловыми чернильницами: проволочная корзина; кипы отслужившего клякс-папира; камин; кое-где

шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться: оглядываясь, с удивлением замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был, устанавливая ошибку только рядом других предметов. Иногда попадался стальной денежный шкаф с отвернутой тяжелой дверцей, как у пустой печи; телефонный аппарат, казавшийся среди опустошения почтовым ящиком или грибом на березе, переносная лестница; я нашел даже черную болванку для шляп, неизвестно как и когда включившую себя в инвентарь.

Уже сумерки коснулись глубины зал с белеющей по их далям бумагой, смежности и коридоры слились с мглой и мутный свет ромбами перекошил паркет в дверях, но прилегающие к окнам стены сияли еще кое-где напряженным блеском заката. Память о том, что, проходя, я оставлял позади, свертывалась, как молоко, едва новые входы вставали перед глазами, и я, в основе, только помнил и знал, что иду сквозь строй стен по мусору и бумаге. В одном месте пришлось мне лезть вверх и месить кучи скользких под ногой папок; шум, как в кустах. Шагая, оглядываясь я с трепетом, — так вязок, неотделен от меня был в тишине этой самонадеянный звук, что я как бы волочил на ногах связки сухих метел, прислушиваясь, не зацепит ли чей-то чужой слух это хождение. Вначале я шагал по нервному веществу банка, топча черное зерно цифр с чувством нарушения связи оркестровых нот, слышимых от Аляски до Ниагары. Я не искал сравнений: они, вызванные незабываемым зрелищем, появлялись и исчезали, как цепь дымных фигур. Мне казалось, что я иду по дну аквариума, из которого выпущена вода, или среди льдов, или же — что было всего отчетливее и мрачнее — брожу в прошлых столетиях, обернувшись нынешним днем. Я прошел внутренний коридор, такой извилисто длинный, что по нему можно было бы кататься на велосипеде. В его конце была лестница, я поднялся в следующий этаж и спустился по другой лестнице, миновав средней величины залу с полом, уставленным арматурой. Здесь виднелись стеклянные матовые шары, абажуры тюльпанами и колоколами, эмеевидные бронзовые люстры, свертки проводов, кучи фаянса и меди.

Следующий запутанный переход вывел меня к архиву, где в темной тесноте полок, параллельно пересе-

кавших пространство, соединяя пол с потолком, проход был немислим. Месиво копировальных книг вздымалось выше груди; даже осмотреться я не мог с должным вниманием — так густо смешалось все.

Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Перила алебастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четырехугольником; едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв лицо, — так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величинной в игральную карту. Могла здесь танцевать тысяча человек. Посредине стоял фонтан, и его маски, с насмешливо или трагически раскрытыми ртами, казались кучей голов. Примыкая к колоннам, ареной развертывался барьер сплошного прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами касс и бухгалтерий. Сломанные перегородки, обрушенные кабины, сдвинутые к стенам столы были здесь едва приметны по причине величинны зала. С некоторым трудом взгляд набирал предметы равного всему остальному безжизненного опустошения. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями, — передо мной развертывался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Ее колорит естественно переводил впечатление к внушению, подобно музыкальному внушению оригинального мотива. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Веяние неслыханной дерзости тянулось из дверей в двери — стихийного, неодолимого сокрушения, повернувшегося так же легко, как плющится под ногой яичная скорлупа. Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притягивая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, какие толкают смотреть в пропасть. Казалось, одна подобная эху мысль охватывает здесь собой все формы и звоном в ушах следует неотступно, — мысль, напоминающая девиз:

«Сделано — и молчит».

Наконец, я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. В одной из кухонь я утолил жажду, повернув кран. К моему удивлению, вода, хотя слабо, но заструилась, и этот незначительный живой знак посвоему ободрил меня. Затем я стал выбирать комнату. Это заняло еще несколько минут, пока я не наткнулся на кабинет с одной дверью, камином и телефоном. Мебель почти отсутствовала; единственное, на что можно было лечь или сесть, это — скальпированный диван без ножек; обрывки срезанной кожи, пружины и волос торчали со всех сторон. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф: он был заперт. Я выкурил папиросу — другую, пока не привел себя к относительному равновесию, и занялся устройством ночлега.

Давно уже я не знал счастья усталости — глубокого и спокойного сна. Пока светил день, я думал о наступлении ночи с осторожностью человека, несущего полный воды сосуд, стараясь не раздражаться, почти уверенный, что на этот раз изнурение победит тягостную бодрость сознания. Но, едва наступал вечер, страх не уснуть овладевал мной с силой навязчивой мысли, и я томился, призывая наступление ночи, чтобы узнать, засну ли я наконец. Однако чем ближе к полуночи, тем явственнее убеждали меня чувства в их неестественной обостренности; тревожное оживление, подобное блеску магния среди тьмы, скручивало мою нервную силу в гулкую при малейшем впечатлении тугую струну, и я как бы просыпался от дня к ночи, с ее долгим путем внутри беспокойного сердца. Усталость рассеивалась, в глазах колело, как от сухого песка; начало любой мысли немедленно развивалось во всей сложности ее отражений, и предстоящие долгие бездеятельные часы, полные воспоминаний, уже возмущали бессильно, как обязательная и бесплодная работа, которой не избежать. Как только мог, я призывал сон. К утру, с телом как бы налитым горячей водой, я всасывал обманчивое присутствие сна искусственной зевотой, но, лишь закрывал глаза, испытывал то же, что испытываем мы, закрывая без нужды глаза днем, — бессмысленность этого положения. Я испытал все средства:

рассматривание точек стены, счет, неподвижность, повторение одной фразы,— и безуспешно.

У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Хотя тускло, но я озарил им холодную высоту помещения, после чего, заложив ямы дивана бумагой, изголовье нагромоздил из книг. Пальто служило мне одеялом. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. К тому же по летнему времени было здесь не довольно тепло. Во всяком случае, я придумал занятие и был рад. Вскоре пачки счетов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой блестящей лужей.

Но бесплодно тайно горел этот случайный огонь. Он не озарял привычных предметов, рассматривая которые в фантастическом отсвете красных и золотых углей, сходим мы к внутреннему теплу и свету души. Он был неуютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были бы равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая, в кровать. Кроме того, я хотел есть и, чтобы заглушить голод, часто курил.

Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришлось на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? Печальный опыт с отгоревшими электрическими лампочками, которых я нашел кучу в одном из таких же шкафов, заставил подозревать, что шкаф заперт без всякого намерения, лишь потому, что хозяйственно повернулся ключ. И, тем не менее, я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, заставляющий всегда думать по трафарету, свойственному только ему,— так же, как вызывает он голодную слюну при виде еды. Для развлечения я прошел несколько ближайших от меня комнат, но, шаря там при свете огарка, не нашел даже обломка сухаря и вернулся, все более привлекаемый шкафом. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер

ли кто-нибудь из них в этом шкафу каравай хлеба, а может быть, чайник, чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте; довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь, а на съестное, что ни говори буква закона,— теперь — теперь я имел право.

Света огарком, я не торопился, однако, подвергать критике это рассуждение, чтобы не лишиться случайно моральной точки опоры. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее конец в скважину, против замка и, нажав, потянул прочь. Зашелка, прозвенев, отскочила, шкаф, туго скрипя, раскрылся — и я отступил, так как увидел необычайное. Я отшвырнул линейку резким движением, я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой.

VI

Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенно, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я увидел склад ценной провизии—шесть полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью,—отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр.

Прежде всего я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительных глаз; я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах. Молчание служило сигналом.

Я начал осмотр сверху. Верх, то есть пятая и шестая полки, заняты были четырьмя большими корзинами, откуда, едва я пошевелил их, выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса с визгом, вызывающим тошноту. Я судорожно отдернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще двух гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь,—не посыплется ли дождь этих извилистых мрачных телец, мелькая хвостами. Но крысы, если там

было несколько штук, ушли, должно быть, задами шкафа в щели стены — шкаф стоял тихо.

Естественно, я удивлялся этому способу хранить съестные запасы в месте, где мыши (*Murinae*) и крысы (*Mus decum apus*) должны были чувствовать себя дома. Но мой восторг опередил всякие размышления; они едва просачивались, как в плотине вода, сквозь этот апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, низменны, что аппетит равняет амфибию с человеком. В минуты, подобные пережитым мной, все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом сокровищ, тем более, что каждая корзина представляла ассортимент однородных, но вкупе разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры, коллекция сыров — от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой; ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирало горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл восемь голов сахара, ящик с чаем; дубовый с медными обручами бочонок, полный кофе; корзины с печеньем, торты и сухари. Две нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина в порядке и тесноте сложенных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов.

Следовало если не торопиться, то, во всяком случае, начать есть, так как, понятно, сокровище, имея свежий вид обдуманного запаса, не могло быть брошено кем-то ради желания доставить случайному посетителю этих мест удовольствие огромной находки. Днем ли или ночью, но мог явиться человек с криком и поднятыми руками, если только не чем-нибудь худшим, вроде ножа. Все говорило за темную остроту случая. Многого следовало опасаться мне в этих пространствах, так как я подошел к неизвестному. Между тем голод заговорил на своем языке, и я, прикрыв шкаф, уселся на остатках дивана, окружив себя кусками, положенными вместо тарелок на большие листы бумаги. Я ел самое существенное, то есть, сухари, ветчину, яйца и сыр, заедая это печеньем и запи-

вая портвейном, с чувством чуда при каждом глотке. Вначале я не мог справиться с ознобом и нервным тяжелым смехом, но, когда несколько успокоился, несколько свыкся с обладанием этими вкусными вещами, не более как пятнадцать минут назад витавшими в облаках, то овладел и движениями и мыслями. Сытость наступила скоро, гораздо скорее, чем я думал, когда начинал есть, вследствие волнения, утомительного даже для аппетита. Однако я был слишком истощен, чтобы перейти к резиньяции, и насыщение усладило меня вполне, без той сонливой мозговой одури, которая сопутствует ежедневному поглощению обильных блюд. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер х о р о ш.

Между тем, как я ни напрягался в догадках, они, естественно, царапали, подобно тупому ножу, лишь поверхность события, оставляя его суть скрытой непосвященному взору. Расхаживая в спящих громадах банка, я, быть может, довольно верно понял, чем связан мой лавочник с этим писчебумажным клондайком: отсюда можно было вывезти и унести сотни возов обертки, столь ценимой торговцами в целях обвеса; кроме того, электрические шнуры, мелкая арматура составили бы не одну пачку ассигнаций; не без причины были вырваны здесь шнуры и щепселя почти всюду, где я осматривал стены. Поэтому я не делал лавочника собственником тайной провизии; он, вероятно, пользовался ею в другом месте. Но дальше этого я не ступил шага, все мои дальнейшие размышления были безличны, как при всякой находке. Что ее некоторое время никто не трогал, доказывали следы крыс; их зубы оставили на окороках и сырах обширные ямы.

Насытившись, я принялся тщательно исследовать шкаф, заметив много такого, что я пропустил в минуты открытия. Среди корзин лежали пачки ножей, вилок и салфеток; за головами сахара прятался серебряный самовар; в одном ящике стелкивалось, звеня, множество бокалов, рюмок и узорных стаканов. По-видимому, здесь собиралось общество, преследующее гульливые или конспиративные цели, в расчете изоляции и секрета, может быть, могущественная организация с ведома и при участии домашних комитетов. В таком случае я должен был держаться настороже. Как мог, я тщательно прибрал шкаф, рас-

считывая, что незначительное количество уничтоженного мною на ужин едва ли будет замечено. Однако (не считая виноватым себя в этом) я взял кое-что вместе с еще одной бутылкой вина, завернул плотным пакетом и спрятал под грудой бумаг в извилине коридора.

Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую душистую папиросу из волокнистого табака с длинным мундштуком,— единственная находка, которой я вполне отдал честь, набив дивными папиросами все карманы. Я был в состоянии упойтельной, музыкальной тревоги, с мнением о себе, как о человеке, которого ожидает цепь громких невероятий. Среди такого блистательного смятения я вспомнил девушку в сером платке, застегнувшую мой воротник английской булавкой,— мог ли я забыть это движение? Она была единственный человек, о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесполезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув, след, подобный полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть самая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием. Но я не знал, где она, я не мог позвонить ей. Даже благодеяние памяти, вскрикну она забытым мной номером, не могло помочь здесь при множестве телефонов, к одному из которых невольно обращались мои глаза: они не действовали, не могли действовать по очевидным причинам. Однако я смотрел на аппарат с некоторым пытливым сомнением, в котором разумная мысль не принимала никакого участия. Я тянулся к нему с чувством игры. Желание совершить глупость не отпускало меня и, как всякий ночной вздор, украсилось эфемеридами бессонной фантазии. Я внушил себе, что должен припомнить номер, если приму физическое положение разговора по телефону. Кроме того, эти загадочные стенные грибы с каучуковым ртом и металлическим ухом я издавна рассматривал, как предметы, разъясненные не вполне,— род суеверия, наваянного, между многим другим, «Атмосферой» Фламариона, с его рассказом о молнии. Я очень

советую всем перечитать эту книгу и задуматься еще раз над странностями электрической грозы; особенно над действиями шаровидной молнии, вешающей, например, на вбитый ею же в стену нож сковородку или башмак, или перелицовывающей черепичную крышу так, что черепицы укладываются в обратном порядке с точностью чертежа, не говоря уже о фотографиях на теле убитых молнией, фотографиях обстановки, в которой произошло несчастье. Они всегда синеватого цвета, подобно старинным дагерротипам. «Киловатты» и «амперы» мало говорят мне. В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия, без той странной истомы, заволокутости сознания, какие сопутствуют большинству производимых нами абсурдов. Итак, я объясняю это теперь, тогда же был лишь подобен железу перед магнитом.

Я снял трубку. Более чем была на самом деле холодной показалась она мне, немая, перед равнодушной стеной. Я поднес ее к уху не с большим ожиданием, чем сломанные часы, и надавил кнопку. Был ли то звон в голове или звуковое воспоминание, но, вздрогнув, я услышал жужжание мухи, ту, подобную гудению насекомого, вибрацию проводов, какая при этих условиях являлась тем самым абсурдом, к которому я стремился.

Разборчивое усилие понять, как червь точит даже мрамор скульптуры, лишая силы все впечатления с скрытым источником. Старания понять непонятное не было в числе моих добродетелей. Но я проверил себя. Отняв трубку, я воспроизвел этот характерный шум в воображении, получив его вторично лишь когда снова стал слушать по трубке. Шум не скакал, не обрывался, не ослабевал, не усиливался; в трубке, как должно, гудело невидимое пространство, ожидая контакта. Мною овладели смутные представления, странные, как странен был этот гул провода, действующего в мертвом доме. Я видел узлы спутанных проводов, порванных шквалом и дающих соединение в неуследимых точках своего хаоса; снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам; магнетические вспышки трамвайных линий; ткань и сердце материи в виде острых углов футуристического рисунка. Такие мысли-видения не превышали длительностью толчка сердца, вставшего на дыбы; оно билось, выстукивая на непередаваемом языке ошущения ночных сил.

Тогда из-за стен встал ясно, как молодая луна, образ той девушки. Мог ли я думать, что впечатление окажется таким живучим и стойким? Сто сил человеческих пряло и гудело во мне, когда, воззрясь на стертый номер аппарата, я вел память сквозь выюгу цифр, тщетно пытаясь установить, какое соединение их напомнит утраченное число. Лукавая, неверная память! Она клянется не забыть ни чисел, ни дней, ни подробностей, ни дорогого лица и взглядом невинности отвечает сомнению. Но наступил срок, и легковёрный видит, что заключил сделку с бесстыдной обезьяной, отдающей за горсть орехов бриллиантовый перстень. Неполны, смутны черты вспоминаемого лица, из числа выпадает цифра; обстоятельства смешиваются, и тщетно сжимает голову человек, мучаясь скользким воспоминанием. Но, если бы мы помнили, если бы могли вспомнить все, — какой рассудок выдержит безнаказанно целую жизнь в едином моменте, особенно воспоминания чувств?

Я бессмысленно твердил цифры, шевеля губами, чтобы нащупать их достоверность. Наконец мелькнул ряд, сродный впечатлению забытого номера: 107-21. — «Сто семь двадцать один», — проговорил я, прислушиваясь, но не знал точно, не ошибаюсь ли вновь. Внезапное сомнение ослепило меня, когда я нажимал кнопку вторично, но уже было поздно — жужжание полилось гулом, что-то звякнув, изменилось в телефонной дали, и прямо в кожу щеки усталый женский контрольный сухо сказал: «Станция». «Станция!..» — нетерпеливо повторил он, но и тогда я заговорил не сразу, — так холодно сжалось горло, — потому что в глубине сердца я все еще только играл.

Как бы то ни было, раз я заклил и вызвал духов, — отнести их к «Атмосфере» или к «Килоуаттам» общества 86 года, — я говорил, и мне отвечали. Колеса испорченных часов начали поворачивать шестерню. Над моим ухом двинулись стальные лучи стрел. Кто бы ни толкнул маятник, механизм начал мерно отстукивать. «Сто семь двадцать один», — сказал я глухо, смотря на догорающую среди хлама свечу. — «На группу А», — раздался недовольный ответ, и гул прихлопнуло далеким движением усталой руки.

Мне было умышленно жарко в эти минуты. Я нажимал именно кнопку с литерой А; следовательно, не

только действовал телефон, но еще подтверждал эту удивительную реальность тем, что были спутаны провода,—подробность замечательная для нетерпеливой души. Стремясь соединить А, я нажал Б. Тогда в вой пущенного гулять тока ворвались, как из внезапно открытой двери, резкие голоса, напоминающие болтовню граммофонной трубы,—неведомые оратели, бьющиеся в моей руке, сжимающей резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей, выбежавших на улицу. Смешанные фразы напоминали концерт грачей — «А-ла-ла-ла-ла!» — вопило неведомое существо на фоне баритона чьей-то рассудительно-медлительной речи, разделенной паузами и знаками препинания с медоточивой экспрессией. — «Я не могу дать»... — «Если увидите»... — «Когда-нибудь»... — «Я говорю, что»... — «Вы слушаете»... — «Размером тридцать и пять»... — «Отбой»... — «Автомобиль выслан»... — «Ничего не понимаю»... — «Повесьте трубку»... В этот рыночный транс слабо, как пение комара, ползли стоны, далекий плач, хохот, рыдания, скрипичные такты, перебор неторопливых шагов, шорох и шепот. Где, на каких улицах звучали эти слова забот, окриков, внушений и жалоб? Наконец, звякнуло деловое движение, голоса пропали, и в гул провода вошел тот же голос, сказав: «Группа Б».

— «А»! Дайте «А», — сказал я, — перепутаны провода.

После молчания, во время которого гул два раза стихал, новый голос оповестил певуче и тише: «Группа А». — «Сто семь двадцать один», — отчеканил я, как можно разборчивее.

— Сто восемь ноль один, — внимательным тоном безучастно повторила телефонистка, и я едва удержал готовую отлететь губительную поправку, — эта ошибка с несомненностью устанавливала забытый номер, — едва услышав, я признал, вспомнил его, как припоминаем мы встречное лицо.

— Да, да, — сказал я в чрезвычайном волнении, бегущем по высоте, по краю головокружительного обрыва. — Да, именно так, — сто восемь ноль один.

Тут все замерло во мне и вокруг. Звук передачи стеснил сердце подступом холодной волны; я даже не слышал обычного «звоню» или «соединила», — я не помню, что было сказано. Я слушал птиц, льющих неотразимые трели. Изнемогая, я прислонился к стене. Тогда, после

паузы, равной ожесточению, свежий, как свежий воздух, рассудительный голосок осторожно сказал:

— Это я пробую. Говорю в недействующий телефон, потому что ты слышал, как прозвенело? Кто у телефона? — сказала она, видимо, не ожидая ответа, на всякий случай, тоном легкомысленной строгости.

Почти крича, я сказал:

— Я тот, который говорил с вами на рынке и ушел с английской булавкой. Я продавал книги. Вспомните, прошу вас. Я не знаю имени, — подтвердите, что это вы.

— Чудеса, — ответил, кашлянув, голос в раздумьи. — Пойдите, не вешайте трубку. Я соображаю. Старик, видел ли ты что-нибудь подобное?

Последнее было обращено не ко мне. Ей невнятно отвечал мужской голос, по-видимому, из другой комнаты.

— Я встречу припоминаю, — снова обратилась она к моему уху. — Но я не помню, о какой булавке вы говорили. Ах, да! Я не знала, что у вас такая крепкая память. Но странно мне говорить с вами — наш телефон выключен. Что же произошло? Откуда вы говорите?

— Хорошо ли вы слышите? — ответил я, уклоняясь назвать место, где находился, как будто не понял вопроса, и, получив утверждение, продолжал: — Я не знаю; долог ли будет разговор наш. Есть причины, по которым я не останавливаюсь более на этом. Я не знаю, как и вы, многих вещей. Поэтому сообщите, не откладывая, ваш адрес, я не знаю его.

Некоторое время ток ровно жужжал, как будто мои последние слова нарушили передачу. Снова глухой стеной легла даль, — отвратительное чувство досады и стыдливой тоски едва не смутило меня пуститься в сложные неуместные рассуждения о свойстве разговоров по телефону, не допускающему свободного выражения оттенков самых естественных, простых чувств. В некоторых случаях лицо и слова неразделимы. Это самое, может быть, обдумывала и она, пока длилось молчание, после чего я услышал:

— Зачем? Ну, хорошо. Итак, запишите, — не без лукавства сказала она это «запишите», — запишите мой адрес: 5-я линия, 97, кв. 11. Только зачем, зачем понадобился вам мой адрес? Я, откровенно скажу, не понимаю. Вечером я бываю дома...

Голос продолжал неторопливо звучать, но вдруг раздался тихо и глухо, как в ящике. Я слышал, что она говорит, по-видимому, что-то рассказывая, но не различал слов. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрапыванию дождя,— наконец едва слышное толканье тока дало понять, что действие прекратилось. Связь исчезла, аппарат тупо молчал. Передо мной были стена, ящик и трубка. По стеклу выстукивал ночной дождь. Я нажал кнопку, она брякнула и остановилась. Резонатор умер. Очарование отошло.

Но я слышал, я говорил, что было, того не могло не быть. Впечатления этих минут сошли и ушли вихрем, его отзвуками я был еще полон и сел, сразу устав, как от восхождения по крутой лестнице. Между тем я был еще в начале событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов.

VII

Еще очень далеко от меня — не в самом ли начале сделанного мною пути? — а может быть, с другой стороны, на значительном расстоянии первого уловления звука, слышались неведомые шаги. Как можно было установить, шел кто-то один, ступая проворно и легко, знакомой дорогой среди тьмы и, возможно, освещая путь ручным фонарем или свечой. Однако мысленно я видел его спешащим осторожно, во тьме; он шел, присматриваясь и оглядываясь. Не знаю, почему я вообразил это. Я сидел в оцепенении и смятении, как бы схваченный издали концами гигантских щипцов. Я налился ожиданием до боли в висках, я был в тревоге, отнимающей всякую возможность противодействия. Я был бы спокоен, во всяком случае, начал бы успокаиваться, если бы шаги удалялись, но я слышал их все яснее, все ближе к себе, теряясь в соображениях относительно цели этого пытающего слух томительного, долгого перехода по опустевшему зданию. Уже предчувствие, что не удастся избежать встречи, отвратительно коснулось моего сознания; я встал, сел снова, не зная, что делать. Мой пульс точно следовал отчетливости или перерыву шагов, но, осилив наконец мрачную тупость тела, сердце пошло стучать полным ударом, так что я чувствовал свое состояние в каждом его толчке. Мои намерения смешались; я колебался, потушить свечу или оставить ее

гореть, причем не разумные мотивы, а вообще возможность произвести какое-либо действие казалась мне удачно придуманным средством избежать опасной встречи. Я не сомневался, что встреча эта опасна или тревожна. Я нащупал покой среди нежилых стен и жаждал удержать ночную иллюзию. Одно время я выходил за дверь, стараясь ступать неслышно, с целью посмотреть, в какой из прилегающих комнат могу спрятаться, как будто та комната, где я сидел, заслоняя спиной огарок, была уже намечена к посещению и кто-то знал, что я нахожусь в ней. Я оставил это, сообразив, что, делая переходы, поступлю, как игрок в рулетку, который, переменяв номер, видит с досадой, что проиграл только потому, что изменил покинутой цифре. Благоразумнее всего следовало мне сидеть и ждать, потушив огонь. Так я и поступил и стал ожидать во тьме.

Между тем не было уже никакого сомнения, что расстояние между мной и неизвестным пришельцем сокращается с каждым ударом пульса. Он шел теперь не далее, как за пять или шесть стен от меня, перебегая от дверей к двери с спокойной быстротой легкого тела. Я сжался, прикованный его шагами к налетающему как автомобиль моменту взаимного взгляда — глаза в глаза, и я молил бога, чтобы то не были зрачки с бешеной полосой белка над их внутренним блеском. Я уже не ожидал, я знал, что увижу его; инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тысяче слепым лицом в острие страха. Призраки вошли в тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты, сумеречного фантома, и, страшнее всего, ужаснее падения с высоты, ожидал, что у самой двери шаги смолкнут, что никого не окажется и что это отсутствие кого бы то ни было заденет по лицу воздушным толчком. Представить такого же, как я, человека не было уже времени. Встреча неслась; скрыться я никуда не мог. Вдруг шаги смолкли, остановились так близко от двери, и так долго я ничего не слышал, кроме возни мышей, бегающих в грудах бумаги, что едва уже сдерживал крик. Мне показалось: некто, согнувшись, крадется неслышно через дверь с целью схватить. Оторопь безумного восклицания, огласившего тьму, бросила меня вихрем вперед с протянутыми руками, — я отшатнулся, закрывая лицо. Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало светло, как днем. Я получил род нервного сотрясения, но, едва задержавшись, тотчас прошел вперед. Тогда за бли-

жайшей стеной женский голос сказал: «Идите сюда». Затем прозвучал тихий, задорный смех.

При всем моем изумлении я не ожидал такого конца пытки, только что выдержанной мной в течение, может быть, часа. «Кто зовет?» — тихо спросил я, осторожно приближаясь к двери, за которой таким красивым и нежным голосом обнаружила свое присутствие неизвестная женщина. Внимая ей, я представлял ее внешность, отвечающей удивительности слуха, и с доверием ступил дальше, прислушиваясь к повторению слов: «Идите, идите сюда». Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая и каждый раз получая в ответ неизменно из-за стены соседнего помещения: «Идите, о, идите скорей!» — я осмотрел пять или шесть комнат, заметив в одной из них в зеркале самого себя, внимательно переводящего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантиях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты, и только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо. Но я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволившей бы убежать самым проворным существам этого дома. Устав и опасаясь при том волнении, какое переполняло меня, чего-нибудь действительно грозного среди безмолвно озаренных пустот, я наконец резко сказал:

— Покажитесь, или я не пойду дальше. Кто вы и зачем зовете меня?

Прежде, чем мне ответили, эхо скомкало мое восклицание смутным и глухим гулом. Заботливая тревога слышалась в словах таинственной женщины, когда беспокойно окликнула она меня из неведомого угла: «Спешите, не останавливаясь; идите, идите, не возражая». Казалось, рядом со мной были произнесены эти слова, быстрые как плеск, и звонкие в своем полупшепоте, как если бы прозвучали над ухом, но тщетно спешил я в нетерпеливом порыве из дверей в двери, распахивая их или огибая сложный проход, чтобы взглянуть где-то врасплох на ускользающее движение женщины, — везде встречал я лишь пустоту, двери и свет. Так продолжалось это, напоминая игру в прятки, и несколько раз уже с досадой вздохнул я, не зная, идти далее или остановиться, остановиться решительно,

пока не увижу, с кем говорю так тшкетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня; все задушевнее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди, за новой стеной:

— Сюда, скорее ко мне!

Как ни был я чуток к оттенкам голосов вообще — и особенно в этих обстоятельствах величайшего напряжения, — я не уловил в зовах, в настойчивых подзываниях неслышно убегающей женщины ни издевательства, ни притворства; хотя вела она себя более, чем изумительно, у меня не было пока причин думать о зловещем или вообще дурном, так как я не знал вызвавших ее поведение обстоятельств. Скорее можно было подозревать настойчивое желание сообщить или показать что-то наспех, крайне дорожа временем. Если я ошибался, попадая не в ту комнату, откуда спешило ко мне вместе с шорохом и частым дыханием очередное музыкальное восклицание, меня направляли, указывая дорогу вкрадчивым и мягким «Сюда!». Я зашел уже слишком далеко для того, чтобы повернуть назад. Я был тревожно увлечен неизвестностью, стремясь почти бегом среди обширных паркетов, с глазами, устремленными по направлению голоса.

— Я здесь, — сказал, наконец, голос тоном конца истории. Это было на перекрестке коридора и лестницы, идущей несколькими ступенями в другой коридор, расположенный выше.

— Хорошо, но это последний раз, — предупредил я.

Она ждала меня в начале коридора, направо, где менее блестел свет; я слышал ее дыхание и, пройдя лестницу, с гневом осмотрел полутьму. Конечно, она снова обманула меня. Обе стены коридора были завалены кипами книг, оставляя узкий проход. При одной лампе, слабо озарявшей лишь лестницу и начало пути, я мог на расстоянии не рассмотреть человека.

— Где же вы? — всматриваясь, заговорил я. — Остановитесь, вы так спешите. Идите сюда.

— Я не могу, — тихо ответил голос. — Но разве вы не видите? Я здесь. Я устала и села. Подойдите ко мне.

Действительно я слышал ее совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце светлым пятном двери. Спотыкаясь о книги, я поскользнулся, зашатался и, падая, опрокинул шаткую кипу гроссбухов. Она рухнула глубоко вниз. Падая на руки, я ушел

ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда, на невольный мой вскрик, вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю. Если изумление страха в этот момент отстраняло догадку, то смех, веселый холодный смешок по ту сторону ловушки немедленно объяснил мою роль. Смех удалялся, затихая с жестокой интонацией, и я более не слышал его.

Я не вскочил, не отполз с шумом, лишним в предполагаемом падении моем; поняв штуку, я даже не пошевелился, предоставляя чужому впечатлению отстояться в желательном для него смысле. Однако следовало заглянуть на уготованное мне ложе. Пока не было никаких признаков наблюдения, и я, с великой осторожностью, зажегши спичку, увидел четырехугольный люк проломанного насквозь пола. Свет не озарял низа, но, припоминая паузу, разделяющую толчок от гула удара книг, я определил приблизительно высоту падения в двенадцать метров. Следовательно, пол нижнего этажа был разрушен симметрично к верхней дыре, образуя двойной пролет. Я кому-то мешал. Это я мог понять, имея веские доказательства, но я не понимал, как могла бы самая воздушная женщина перелезть через обширный люк, стены которого не имели никакого бордюра, позволяющего воспользоваться им для перехода; ширина достигала шести аршин.

Выждав, когда происшествие утратило свою опасную свежесть, я переполз назад, к месту, где достигающий издалека свет позволял различать стены, и встал. Я не смел возвращаться к озаренным пространствам. Но я был теперь не в состоянии также покинуть сцену, на которой едва не разыграл финал пятого акта. Я коснулся вещей довольно серьезных, чтобы попытаться идти далее. Не зная, с чего начать, я осторожно ступал по обратному направлению, иногда прячась за выступами стены, чтобы проверить безлюдие. В одном из таких выступов находилась водопроводная раковина; из крана капала вода; здесь же висело полотенце с сырыми следами только что вытертых рук. Полотенце еще шевелилось; здесь отошел некто, может быть, на расстоянии десяти шагов от меня, оставшись незамечен, как и я им, силой случайности. Не следовало более искушать эти места. Оцепенев от напряжения, вызванного видом едва не на моих глазах тронутого полотенца, я наконец отступил, сдерживая дыхание, и с облегчением

увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой. Хотя с трудом, но ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушел в эту лазейку, как в стену, попав в озаренный тихий и безлюдный проход, очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал, прислонясь к стене, в нишу заколоченной двери.

Никакой звук, никакое доступное чувствам явление не ускользнуло бы от меня в эти минуты, так был я внутренне заострен, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но, казалось, умерла жизнь на земле, — такая тишина смотрела в глаза неподвижным светом белого глухого прохода. По-видимому, все живое ушло отсюда или же притаилось. Я начал изнемогать, тянуться с нетерпением отчаяния к какому бы то ни было шуму, но вон из оцепенелого света, сжимающего сердце молчанием. Вдруг звуков появилось более чем достаточно в смысле успокоения — если назвать таким словом «покой в бурях», — множество шагов раздавалось за стеной, глубоко внизу. Я различал голоса, восклицания. К этим звукам начинающегося неведомого оживления присоединился звук настраиваемых инструментов; резко пильнула скрипка; виолончель, флейта и контрабас протянули вразброд несколько тактов, заглушаемых передвижением мебели.

Среди ночи — я не знал, который теперь час — это проявление жизни в глубине трех этажей после уже испытанного мною над люком звучало для меня новой угрозой. Наверное, расхаживая неутомимо, я отыскал бы выход из этого бесконечного дома, но не теперь, когда я не знал, что может ожидать меня за ближайшей дверью. Я мог знать свое положение, только определив, что происходит внизу. Тщательно прислушиваясь, я установил расстояние между собой и звуками. Оно было довольно велико, имея направление через противоположную стену вниз.

Я стоял так долго в своей дверной нише, что наконец осмелился выйти, с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанной стеклом; оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница, из тех, что употребляются малярами при болезни потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к

отверстия. Как ни было запылено стекло с обеих сторон, протерев его ладонью, сколько и как мог, я получил возможность смотреть, но все же как бы сквозь дым. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась: я смотрел в тот самый центральный зал банка, где был вечером, но не мог видеть его внизу, окошечко это выходило на хоры. Совсем близко нависал пространный лепной потолок; балюстрада, являясь по этой стороне прямо перед глазами, скрывала глубину зала, лишь далекие колонны противоположной стороны виднелись менее, чем наполовину. По всему протяжению хор не было ни души, меж тем как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвигание стульев, неразборчивые отрывки бесед, спокойный гул нижних дверей. Уверенно звенела посуда; кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации, — да, это был банкет, бал, собрание, гости, юбилей — что угодно, но не прежняя холодная и громадная пустота с застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке.

Почти уверенный, что никто не придет сюда, в закоулок, имеющий отношение скорее к чердакам, чем к магистрали нижнего перехода, я осмелился удалить стекло. Его рама, удерживаемая двумя согнутыми гвоздями, слабо шаталась. Я отвернул гвозди и выставил заграждение. Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо; пока я осваивался с его характером, музыка начала играть кафешантанную пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл «под сурдинку», как бы по приказанию. Однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественное усилие и долетая к моему убежищу в оболочке своего смысла. Насколько я мог понять, интерес различных групп зала вертелся около подозрительных сделок, хотя и без точной для меня связи разговора вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные — жестокий визг; увесистый деловой хохот перемешивался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камелий. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней; иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое

преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками и того оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики.

Настала пауза; несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загрели предупреждения и приглашения слушать. В то время чья-то речь уже тихо текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, покапывающими периодами.

— Привет Избавителю! — ревом возгласил хор.—
Смерть Крысолову!

— Смерть! — мрачно прозвенели женские голоса. Отзвуки прошли долгим воем и стихли. Не знаю почему, хотя я был устрaшенно захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади; но только глубоко вздохнул — никто не стоял за мной. У меня было еще время сообразить, как скрыться: за углом поворота явственно прошли, без подозрения о моем присутствии, двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. Его линия остановилась по пути сюда этих людей на неизвестном для меня вопросе, получившем теперь ответ. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание.

— Он умрет, — сказал неизвестный, — но не сразу. Вот адрес: пятая линия, девяносто семь, квартира одиннадцать. С ним его дочь. Это будет великое дело Освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает Освободителю, Крысолов мертв, и мы увидим его пустые глаза!

VIII

Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз, — бежать, скрыться и лететь вестни-

ком на 5-ю линию. При всяком самом разумном сомнении цифры и название улицы не могли бы сообщить мне, есть ли в квартире этой еще другая семья,— довольно, что я думал о той и что она была там. В таком уstraшенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз; лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас; музыка мгновенно умолкла, и крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству, где, не помня как, ударился я грудью в ту дверь, которой проник сюда. С силой необъяснимой я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение! Начинаясь рассвет с его первой мутью, указывающий пространство дверей; я мог мчаться до потери дыхания. Но инстинктивно я искал ходов не книзу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынныe переходы. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон, тем более, что за мной гнались,— я слышал торопливые переходы сзади и спереди,— этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Он раздавался с неправильностью уличного движения, иногда так близко, что я отскакивал за дверь, или же ровно следовал в стороне, как бы обещающая ежесекундно обрушиться мне наперерез. Я ослабевал, отупел от страха и непрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несся среди мансард. Последняя лестница, замеченная мною, упиралась в потолок квадратной дырой, я проскочил по ней вверх с чувством занесенного над спиной удара,— так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака, немедленно обрушив на люк все, что смутно белело по сторонам; это оказалось грудой оконных рам, двинуть которую с размаха могла лишь сила отчаяния. Они легли, застряв вдоль и поперек, непроходимой чащею своих переплетов. Сделав это, я побегал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты стен среди ям и труб, как в лесу. Наконец, я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая, смутная тень; из труб не шел дым, прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной тру-

бы. Она шаталась; ее скрепы трещали, когда я начал спускаться; на высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержавшись за перехват. Наконец, ноги нащупали тротуар; я поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным; поэтому, как только передохнул, пустился бегом.

IX

Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет семи, с личиком, побледневшим от слез; тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече, я нагнулся к нему, спросив: «Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?»

Он, всхлипывая, молчал, смотря исподлобья и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало, его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности, я не мог бросить ребенка, тем более, что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Глядя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился; он мог только поникать головой и плакать. «Дружок,— сказал я, решишь постучать куда-нибудь в дом, чтобы подобрали ребенка,— посиди здесь, я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму». Но, к моему удивлению, он крепко уцепился за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое; он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я, с внезапным подозрением, рванул прочь руку. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. «Эй ты! — закричал я, стремясь освободить руку.— Брось держать!» И я оттолкнул его. Не плача уже и также молча, оставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз; затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел.— «Кто ты?» — угрожающе закричал я. Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом, но я еще смотрел некоторое время по тому направлению, с чувством укушенного, затем опомнился и побежал с быстротой догоняющего трамвай. Дыхание сорвалось. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал

снова, и, вновь задохнувшись, несясь безумным шагом, резким, как бег.

Я уже был на Конногвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.

— Но ведь это вы! — сказала она. — Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны!

Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, с светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва, — милее было бы мне прийти к ней, т у д а.

— Слушайте, — сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз, — я спешу к вам. Еще не поздно...

Она перебила, отводя меня в сторону за рукав.

— Сейчас рано, — значительно сказала она, — или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знайте: я вас люблю.

Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты, — нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся, и, сам страшно смеясь, я погрозил пальцем.

— Нет, ты не обманешь меня, — сказал я, — она там. Она теперь спит, и я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была.

Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминающая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что

я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади. На мосту стояли рогатки. Вдали, у противоположной стороны набережной, дымил черный буксир, натягивая канат барки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить щелью, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был сторожами отчаянным бранным криком, но, лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели воды, я был уже далеко от них, я бежал, пока не достиг ворот.

Х

Тогда или, вернее, спустя некоторое время, наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшее и помраченное действие. Прежде всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь, с рукой простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто; ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь. Это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке, едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Повинуясь ее полному беспокойству жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я силился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость, я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате, как, словно угадывая мое движение, девушка повернула голову хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее назвал кто-то, вышедший отсюда, сказав: «Должна быть совершенная тишина». Спал я или был только рассеян? Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что пола моего пальто разорвана. Но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет; кровь хлынула к голове: раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик. «Хальт!» — крикнул кто-то за дверью. Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая попо-

лам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался.

Тогда, вырванная ударом и криком из воистину страшного состояния, моя память перешла темный обрыв. Немедленно я схватил и удержал многое. Чувства заговорили. Внутреннее видение обратилось к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новой опасности, как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь — разговор долгий и тревожный, причем женский и мужской голоса спорили, впустить ли меня, — я забыл бесповоротно. Он был восстановлен впоследствии.

Все эти еще не вполне смыкающиеся черты возникли с быстротой взгляда в окно. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку жéлудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий.

Он сказал:

— Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу. Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе, он иногда заносится пароходами. «Свободный ход», о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опыта с ловушками различных систем; два последние дня ход этот, действительно, был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса: «Кладовая крысиного короля», книга, представляющая собой отменную редкость. Она издана в Германии четыреста лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремене, как еретик. Ваш рассказ...

Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Я спросил:

— Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода эта опасность, так как я не совсем понимаю ее?

— Меры? — сказала Сузи. — О каких мерах вы говорите?

— Опасность... — начал старик, но остановился, взглянув на дочь. — Я не понимаю.

Произошло легкое замешательство. Все трое мы обменялись взглядом ожидания.

— Я говорю,— начал я неуверенно,— что вам следует остережся. Кажется, я уже говорил это, но, простите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке.

Девушка посмотрела на отца, затем на меня и улыбнулась с недоумением: «Как это может быть?»

— Он устал, Сузи,— сказал старик.— Я знаю, что такое бессонница. Все было сказано; и были приняты меры. Если я назову эту крысу,— он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника,— словом «Освободитель», вы будете уже кое-что знать.

— Это шутка,— возразил я,— и шутка, конечно, отвечающая занятию Крысолова.— Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано:

«КРЫСОЛОВ»

Истребление крыс и мышей.

О. Иенсен.

Телеф. 1-08-01.

Я видел ее у входа.

— Вы шутите, так как не думаю, чтобы э т о т «Освободитель» принес вам столько хлопот.

— Он не шутит,— сказала Сузи,— он знает.

Я сравнивал эти два взгляда, которым отвечал в тот момент улыбкой тщетных догадок,— взгляд юности, полный неподдельного убеждения, и взгляд старых, но ясных глаз, выражающих колебание, продолжать ли разговор так, как он начался.

— Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус.— Крысолов вышел и принес старую книгу в кожаном переплете, с красным обрезом.— Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься, как угодно.

...«Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь, как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза и движения подобные человеческим и даже не уступающие человеку,— как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им.

Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей».

— Но довольно читать,— сказал Крысолов,— и вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. Вы были окружены крысами.

Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими соображениями, нашло верный приют. Тем временем мебельные чехлы стали блестяще усиливающимся по окну светом, и первые голоса улицы прозвучали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом. «Сузи, что с ним?»— раздался громкий вопрос. Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно, я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос: «Он спит»,—слова, с которыми я проснулся после тридцати несуществовавших часов. Меня перенесли в тесную соседнюю комнату, на настоящую кровать, после чего я узнал, что «для мужчины был очень легко». Меня пожалели; комната соседней квартиры оказалась на тот же, другой день, в моем полном распоряжении. Дальнейшее не учитывается. Но от меня зависит, чтобы оно стало таким, как в момент ощущения на голове теплой руки. Я должен завоевать доверие...

И более — ни слова об этом.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ. (*Роман.*) Впервые — в журнале «Новый мир», №№ 8—11, 1925. Для отдельного издания («Золотая цепь». Харьков, «Пролетарий», 1926) Грин значительно переработал роман.

Печатается по этому изданию, т. к. в издании «Мысли» много опечаток и искажений.

Швартовы — трос или канат, которым корабль крепится к пирсу, пристани, другому кораблю.

Кливер — косой треугольный парус на носу корабля.

Брамсель — самый верхний парус.

Бейдевинд (круто к ветру) — курс парусного судна против ветра

Румпель — часть рулевого устройства судна в виде рычага, посредством которого поворачивают руль.

Сумасшедший Фридрих. — Имеется в виду Ницше (1844—1900), реакционный немецкий философ.

Гандшпуг — деревянный или железный рычаг для подъема и передвижения тяжестей на корабле.

Галс — положение судна относительно ветра.

Грот — нижний большой парус на второй от носа мачте.

Рифы — завязки на парусах, с помощью которых уменьшают площадь паруса.

Брассы — снасти, привязываемые к реям для вращения их в горизонтальной плоскости.

СЛЕПОЙ ДЕЯ КАНЕТ. Впервые — в газете «Вечерние известия» (Москва) от 2 марта 1916.

Печатается по этому изданию.

ОГОНЬ И ВОДА. Впервые — под названием «Невозможное — но случилось» — в «Синем журнале» № 9, 1916.

Печатается по сборнику «Огонь и вода». М., 1930.

ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ. Впервые — в журнале «Огонек» № 16, 1916.

ОТШЕЛЬНИК ВИНОГРАДНОГО ПИКА. Впервые — в газете «Биржевые ведомости» (утр. вып.) от 2(15) мая 1916.

Печатается по этому изданию.

*...скорбь о равнодушной природе, которая, когда меня не станет,
«будет играть»...* — перефразировка строфы из Пушкина:

«И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять».

ТАИНСТВЕННАЯ ПЛАСТИНКА. Впервые — в газете «Петроградский листок» от 24 июля 1916.

КАК Я УМИРАЛ НА ЭКРАНЕ. Впервые — в газете «Петроградский листок» от 9 и 10 августа 1916.

В журнале «20-й век» после слов: «Я встал и зажег огонь» — следовало: «— Должно быть, тетка Вируда привела наших детей,— сказала, просыпаясь, жена.— Они-то поели у нее как всегда... Вот нам бы чего-нибудь...»

ОТРАВЛЕННЫЙ ОСТРОВ. Впервые — под названием «Сказка далекого океана» — в журнале «Огонек» № 36, 1916. В дальнейшем Грин переработал рассказ.

Печатается по книге «Огонь и вода».

В журнале, в IV главе, после слов: «...сжигают легкие десяткам тысяч солдат» — следовало: «Мы узнали, что моря засеяны минами, а равнины — трупами. Мы узнали еще, что подводные лодки топят пассажирские суда».

НАКАЗАНИЕ. Впервые — в литературном приложении № 100 к газете «Петроградский листок» от 15 декабря 1916.

Представляет собой значительно переработанную редакцию рассказа «Каюков», написанного в 1908 г.

Печатается по газетной публикации.

ВОКРУГ СВЕТА. Впервые — в газете «Русская воля» от 31 декабря 1916.

Печатается по сборнику «Вокруг света». М. «Библиотека «Огонек» № 362, 1928.

Уистити — южноамериканская обезьяна рода игрунок.

ВРАГИ. Впервые — в журнале «Огонек» № 14, 1917.

Печатается по книге «Огонь и вода».

Кювье, Жорж (1769—1832) — выдающийся французский естествоиспытатель.

УЗНИК «КРЕСТОВ». Впервые — в журнале «20-й век» № 17, 1917.

Печатается по этому изданию.

«Кресты» — тюрьма в Петрограде.

СОЗДАНИЕ АСПЕРА. Впервые — в журнале «Огонек» № 25, 1917.

Печатается по книге «Огонь и вода».

Картуш — знаменитый парижский разбойник.

Рокамболь — герой многотомного романа Понсона дю Террайля.

Фра-Диаволо (прозвище Михаила Пецца) — известный разбойник.

БОРЬБА СО СМЕРТЬЮ. Впервые — в «Свободном журнале» № 2, 1918. Печатался также под названием «Вырванное жало».

КЛУБНЫЙ АРАП. Впервые — в журнале «Огонек» № 1, 1918.

Печатается по этому изданию.

«Макао» — азартная игра в карты или кости, основанная на совпадении или несовпадении числа очков у играющих.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТПАВШЕГО ЛИСТА. Впервые — в журнале «Огонек» № 3, 1918.

Печатается по этому изданию.

СИЛА НЕПОСТИЖИМОГО. Впервые — в журнале «Огонек» № 8, 1918.

Печатается по этому изданию.

ВПЕРЕД И НАЗАД. (*Феерический рассказ.*) Впервые — в газете «Честное слово» от 1 и 2 августа 1918.

Печатается по этому изданию.

КОРАБЛИ В ЛИССЕ. Впервые — в книге «Белый огонь», Пг., изд-во «Полярная звезда», 1922. Печатался также под названием «Битт-Бой, приносящий счастье».

Рассказ датируется по воспоминаниям Н. Н. Грин 1918 годом.

ИСТРЕБИТЕЛЬ. Впервые — в журнале «Пламя» № 60, 1919.

Печатается по книге «Огонь и вода».

В журнале, в последнем абзаце, после слов: «Не знаю» — следовало: «Быть может, безумные ангелы, потеряв веру в слишком го-

лубое, слишком чистое небо, опустились из облаков к диким формам земным, чтобы соединить хаос своей души с тьмой ужасных явлений».

ГРИФ. Впервые — в журнале «Красный милиционер» № 1, 1921.
Печатается по этому изданию.

Оранжад — прохладительный напиток из апельсинового сока и содовой воды.

БЕЛЫЙ ОГОНЬ. Впервые — в одноименной книге.
Печатается по книге «Огонь и вода».

КАНАТ. Впервые — в книге «Белый огонь».
Печатается по сборнику «На облачном берегу». М.-Л., ГИЗ, 1925.

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ОТЦА И МАЛЕНЬКОЙ ДОЧЕРИ. Впервые — в «Красной газете» (веч. вып.) от 30 декабря 1922.

Печатается по этому изданию.

УБИЙСТВО В КУНСТ-ФИШЕ. Впервые — в «Красной газете» (веч. вып.) от 15 января 1923.

Печатается по книге «Огонь и вода».

ПРОПАВШЕЕ СОЛНЦЕ. Впервые — в «Красной газете» (веч. вып.) от 29 января 1923.

Печатается по книге «Сердце пустыни». М.-Л., ЗиФ, 1924.

ПУТЕШЕСТВЕННИК УЫ-ФЬЮ-ЭОЙ. Впервые — в «Красной газете» (веч. вып.) от 31 января 1923.

Мистраль — холодный северный или северо-восточный ветер.

Аквилон — холодный ветер.

Триремы — древнеримские военные корабли.

Галиот — парусное плоскодонное судно.

Клипер — быстроходное парусное судно.

Сирокко — знойный ветер.

ГЕНИАЛЬНЫЙ ИГРОК. Впервые — в «Красной газете» (веч. вып.) от 8 марта 1923.

СЛОВООХОТЛИВЫЙ ДОМОВОЙ. Впервые — в «Литературном листке» «Красной газеты» от 29 марта 1923.

СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ. Впервые — в журнале «Красная нива» № 14, 1923.

...улыбаясь подобно авгурам... *Авгуры* — жрецы Древнего Рима. «Улыбаются подобно авгурам» — так обычно говорят о людях, сознательно обманывающих или вводящих в заблуждение других.

ПРИКАЗ ПО АРМИИ. Впервые — в журнале «Красная панорама» № 1, 1923.

Печатается по книге «История одного убийства». М.-Л., ЗиФ, 1927.

Знаменитая тезка — Жанна д'Арк (1412—1431) — орлеанская дева, героиня французского народа, освободительница Орлеана и Реймса в Столетней войне.

ГЛАДИАТОРЫ. Впервые — в журнале «Петроград» № 1, 1923.

Триклиний — у древних римлян обеденный стол, окруженный тремя ложами, а также помещение, в котором он находился.

Тимпан — древний ударный музыкальный инструмент, род литавры.

ЛОШАДИНАЯ ГОЛОВА. Впервые — в журнале «Красная нива» № 18, 1923.

КРЫСОЛОВ. Впервые — в журнале «Россия» № 3(12), 1924. Печатается по одноименной книге. М., «Библиотека «Огонек» № 50, 1927.

Э. Арнольди в воспоминаниях «Беллетрист Грин» рассказывает о возникновении замысла рассказа «Крысолов». Э. Арнольди поделился с Грином любопытной историей, участником которой был хорошо знакомый Арнольди человек.

«Я заметил, — пишет Арнольди, — что вызвал оживленное внимание Грина.

— Знаешь, мне понравился бездействующий телефон, зазвонивший в пустой квартире! — сказал он, когда я закончил. — Я об этом напишу рассказ.

Через некоторое время Грин как-то мимоходом сказал мне:

— Рассказ о телефоне в пустой квартире я уже пишу!

Никаких подробностей к этому он не добавил. Я счел неудобным расспрашивать, хотя меня очень интересовало, что получится из рассказанного мною происшествия. Я представлял себе, что Грин обратит зазвонивший телефон в какую-нибудь кульминацию психологического конфликта.

Довольно долго я ничего не слышал о готовящемся рассказе. Потом Грин вдруг поведал мне:

— С рассказом о телефоне в пустой квартире получается что-то совсем другое... Но бездействующий телефон все-таки будет звонить!» («Звезда» № 12, 1963).

Случай с зазвонившим телефоном действительно вошел в рассказ, но фон рассказа переместился. О нем (фоне) рассказывает Вс. Рождественский:

«В то время (1920—1921 гг.— В. С.) было плоховато не только с едой, но и с пищей для «буржуйки» — приходилось довольствоваться щепками и бревнышками, приносимыми с улицы, с окраин города, где еще существовали недоломанные заборы. Выдавались, правда, дрова, но не столь уж часто и не в достаточном количестве. Большим подспорьем служили нам толстые, облаченные в толстые переплеты конторские книги, которые в изобилии валялись в обширных сводчатых комнатах и переходах пустого банка, находившегося в нижнем этаже нашего огромного дома. Путешествия в этот лабиринт всеми покинутых, заколоченных снаружи помещений были всегда окружены таинственностью и совершались обычно в глубоких сумерках. Грин любил быть предводителем подобных вылазок. Мы долго бродили при свете захваченного нами огарка, поскальзываясь на грудах наваленного всюду бумажного хлама, подбирая все годное и для топки и для писания. Помещение казалось огромным, и в нем легко было заблудиться. Не без труда мы потом выбирались наружу. Когда я читаю один из лучших рассказов А. С. Грина, «Крысолов», мне всегда вспоминается этот опустевший лабиринт коридоров и переходов в тусклом мерцающем свете огарка, среди груд наваленной кучами бумаги, опрокинутых шкафов, сдвинутых в сторону прилавков. И я поражаюсь при этом точности гриновского, на этот раз вполне реалистического описания». (Сборник «Воспоминания об А. С. Грине». Рукопись.)

Владимир С ан д л е р

СОДЕРЖАНИЕ

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ. <i>Роман</i>	3
--------------------------------------	---

РАССКАЗЫ 1916—1923

Слепой Дей Канет	126
Огонь и вода	129
Черный алмаз	136
Отшельник Виноградного Пика	144
Таинственная пластинка	149
Как я умирал на экране	154
Отравленный остров	159
Наказание	174
Вокруг света	179
Враги	190
Узник «Крестов»	195
Создание Аспера	198
Борьба со смертью	206
Клубный арап	212
Преступление отпавшего листа	224
Сила непостижимого	229
Вперед и назад. <i>Феерический рассказ</i>	236
Корабли в Лиссе	243
Истребитель	262
Гриф	269
Белый огонь	275
Канат	282
Новогодний праздник отца и маленькой до- чери	298

Убийство в Кунст-Фише	304
Пропавшее солнце	309
Путешественник Уы-Фью-Эой	315
Гениальный игрок	319
Словоохотливый домовой	324
Сердце пустыни	329
Приказ по армии	337
Гладиаторы	340
Лошадиная голова	344
Крысолов	358
Примечания	393

А. С. Грин.

Собрание сочинений в 6 томах.

Том IV.

Подготовка текста

Вл. Сандлера,

Оформление художника

Е. Казакова.

Технический редактор

А. Шагарина.

Подп. к печ. 4/XI 1965. Тираж 463 000 экз. Изд. № 2076. Зак. 2644.
 Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 125 + 4 вкл. иллюстраций.
 Условных печ. л. 20,91 Уч.-изд. л. 21,64
 Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
 Москва, А-47, улица «Правды», 24.

